THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

Class D 640
Book .B9
Slavic Division

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00018336276

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

Ч. I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

D640
.V5974
1928
ch.1

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

Po sledam voiny

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ
1914—1917

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

THE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

D640
.V89

D640
.V5974
Copy 2
Vol. 1

Государственное
Издательство
типография
ПЕЧАТНЫЙ
ДВОР
Ленинград
Гатчинская 26

LIBRARY OF CONGRESS
RECEIVED
DEC 7 1929
DOCUMENTS DIVISION

Slavic Division

X, 20. Гиз № 28054/л.
Ленинградский Областлит № 17073.
л. Тираж 4.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В бытность мою на царском фронте в 1914 году я в первые пять месяцев войны не разлучался с записной книжечкой, которую держал за голенищем. Накопилось у меня исписанных книжечек несколько. Но все они погибли в декабре того же года. Вырвавшись на две недели домой, я прихватил с собой и мои книжечки. В Финляндии, когда я ехал лесной дорогой в деревню Мустамяки, мой возница, безрукий Давид, вдруг засуетился, стал подхлестывать лошадь и оглядываться.

Сзади где-то фыркали лошади и заливался колокольчик.

— Пиона едет! — заявил безапелляционно Давид.

— Шпион?!

— Пиона! — повторил Давид.

— Гони!.. И сразу сверни во двор к Иорданскому.

Свернули. Колокольчик прозвенел мимо.

Вбежав в дом Иорданского, я моментально все мои записные книжки и письма швырнул в печку. Все сгорело. На следующий день в мою квартиру привалили: жандармский полковник, человек пять охранников и еще какие-то типы. Меня не было дома. Перетряхнули все, забрали все рукописи и письма, вплоть до детских. После такого случая мне не оставалось ничего другого, как раньше истечения срока отпуска подрать на фронт. Я так и сделал. Потом пришлось давать тягу обратно. Но это другое дело. Суть в том, что

я долго-долго не переставал жалеть о гибели моих записок. Были мной записаны изумительные вещи. Свежие записи, на месте. Повторить нельзя.

Один случай из записанных мной особенно врезался мне в память.

Где-то под Краковым читаю я солдату, Николаю Головкину, газету кадетскую, «Речь». Газета, захлебываясь от восторга, описывает патриотическую манифестацию интеллигенции и студентов: с иконами и трехцветными флагами чуть ли не стояли на коленях у Зимнего дворца.

Головкин слушал-слушал, потом сплюнул и изрек:

— По-рож-ж-жняки!!

Охарактеризовать более метко русскую интеллигенцию нельзя было.

А сколько таких метких суждений мною было записано! И все погибло.

Понятно поэтому, с какой жадностью я набросился года четыре назад на походные записки тов. Л. Войтоловского «По следам войны». Они для меня некоторым образом возмещали мою потерю.

Я читал рукопись. Теперь записки в трехтомном издании выходят в печатном виде. Сомневаться в их успехе не приходится ни на минуту. Такой книги (за исключением разве книги С. З. Федорченко «Народ на войне») об империалистической войне у нас еще не было. Ни историку, ни психологу, ни тем более художнику, желающему понять, истолковать, изобразить настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической бойни, нельзя будет миновать записок тов. Войтоловского. Но и каждый читатель, который непосредственно к ним обратится, получит неисчерпаемое удовольствие и неоспоримую пользу.

Чтоб узнать мужика, надо с ним пуд соли съесть и, во всяком случае, не пренебрегать ни одной самомалейшей воз-

можностью, счастливым случаем, узнать его поближе, разгадать его подлинный лик.

Припоминаю случай с В. И. Лениным. Владимир Ильич как-то в 1918 году, беседуя со мной о настроении фронтовиков, полувопросительно сказал:

— Выдержат ли?! . . Не охоч русский человек воевать.

— Не охоч! — сказал я и сослался на известные русские «плачи завоенные, рекрутские и солдатские», собранные в книге Е. В. Барсова «Причитания северного края»:

И еще слушай же, родная моя матушка,
И как война когда ведь есть да сочиняется,
И на войну пойдем, солдатушки несчастные,
И мы горючими слезами обливаемся,
И сговорим да мы бесчастны таковы слова:
«Уж вы ружья, уж вы пушки-то военные,
На двадцать частей пушки разорвитесь-то!»

Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир Ильич книгой Барсова. Взяв ее у меня, долго он ее мне не возвращал. А потом, при встрече, сказал: «Это противовоенное, слезливое, неохочее настроение надо и можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противопоставить новую песню. В привычной, своей, народной форме — новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, «распроклятая злодейка служба царская», а теперь служба рабоче-крестьянскому, советскому государству, — раньше из-под кнута, из-под палки, а теперь сознательно, выполняя революционно-народный долг, — прежде шли воевать за чорт знает что, а теперь за свое и т. д.».

Вот какую идейную базу имела моя фронтовая агитация.

У тов. Войтоловского в его записках правдиво и художественно изображено, как народ воевал «за чорт знает что», и как он ума набирался.

Многое из записок этих может быть использовано и нашими агитаторами.

Следовало бы даже из трех томов выбрать особый сжатый сборничек, который был бы весьма и весьма подходящ для изб-читален.

Да мало ли как мог бы быть использован неисчерпаемый материал, заключенный в этих записках.

Сам я сюжет для моей сказки «Болотная свадьба» взял отсюда. Есть еще в записках сказка «Хут». Гениальнейшее народное символическое изображение мировой войны. Я на него давно нацелился. Материала хватит не на меня одного.

Записки должны быть всесторонне использованы.

Демьян Бедный.

Москва. Кремль.
19 июля 1925 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ ХОЛМА ДО НИСКО

1914 г.

АВГУСТ.

1.

... Мобилизация лихорадочно гудит и заливает воинственным задором вокзалы, улицы, магазины, газетные листы, знакомые и незнакомые лица. Нервы истерически взвинчены, и все кричит о желании воевать. Тротуары, витрины и ослепительно-новенькие офицеры сверкают, звякают шпорами, выставляют напоказ кителя и погоны. Вчерашние неврастеники, судебные следователи и агрономы, адвокаты, бухгалтеры и акцизные пристава, лихо бряцая палашами, кучками бродят по ресторанам, громко обмениваются приветствиями, пересмеиваются с крашеными женщинами и, нажимая рукой на блестящие эфесы, дерзко и уверенно дают понять глазеющей родине, что им ничего не стоит сложить за нее свои бедовые головы...

А я все еще не верю в серьезность войны и, отправляясь сегодня, 7 августа, с головным парком нашей бригады в ковельском направлении, всем и каждому повторяю:

— Это не надолго. Европа не может ввязаться в такую глупую историю... Да и рабочие...

2.

Едем пятью эшелонами. Немного коробит от армейского неглиже. Из окна офицерского вагона я наблюдаю, как гро-

хочущей вереницей катятся длинные эшелоны и уносят к границе обозы, пушки, винтовки, лошадей и тысячи бородатых и безбородых солдат с потными лицами и в расхрястанных рубашках.

Из полутемных теплушек несется звон балалайки, топот камаринского, взрывы хохота, и разжигающей искрой перекатывается из вагона в вагон ядреная солдатская ругань. Встречные эшелоны обмениваются надрывными «ура», и кажется, будто вся Россия шумно и радостно вскипела волнами вооруженных, немытых и распоясанных мужиков и на всех парах несется навстречу безумному водовороту войны. Что же это?.. Подъем? Увлечение? Отвага? Или ребячливая легкомысленная поспешность, не думающая о завтрашнем дне?.. Кажется, именно так.

А может быть как раз это и нужно? Может быть, в страшные минуты истории необходимо слепо итти вперед, без раздумья, без великопостных сомнений, и в слепом упоении своей непобедимою силой рассчитывать только на всемогущество жизни?..

Жадно всматриваюсь в солдатские лица, и чем дальше, тем больше жизнь превращается на моих глазах в уродливый кошмар наяву. Едут, едут без конца сермяжные ратники в скотских вагонах, и серый, потный, крикливый, однообразный поток с головой заливает каждого, кого мобилизация «низвела» до уровня этой массы.

Только вторые сутки как я в дороге, но уже чувствую себя изнуренным не только умственно, но и физически; я стал чужой самому себе и ненужный окружающим. Бесконечно томительно и смятенно, когда закатываются мирные добродетели и рушатся кумиры. То, что вчера еще считалось таким прекрасным и важным, приходится сгрести в узел и задвинуть в забытый угол или же выбросить вон за окно вагона. Солдаты и пушки по-новому перестраивают и совесть,

и логику, и отношение к людям, и сам собой отпадает дорогой и покинутый мир...

...В сумерки, когда нарастает тревога под хаотический грохот поездов, невольно роднишься с теплушками. На глухом полустанке вместе с нами дожидался отправки эшелон кавалерии. Смеркалось. Вдали белели кресты на кладбище. Прямо против меня, у раскрытой настежь теплушки, глухо рыдала баба, провожавшая солдата, и причитала умоляющим голосом:

— На кого покидаешь нас? Кем обуты-одеты будем? Кто нас приютит?..

А из вагона, под стук переступающих кованых ног, лилась и плыла в мутном воздухе и рвала сердце горячая, заунывная песня:

То не тучка к месяцу прижимается,
Слезы льет жена надрывается:
— Ты вернись-вернись, сокол ясный мой,
Я — что травушка, ты — как дуб лясной...
— Брось, жена, рыданье понапрасное.
Ты взойди-взойди, солнце красное,
Кровь-войну пригрей да повысуши,
Про житье солдатское да повыслушай:
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Крест да ладанку на груди несешь.
Не унять в груди рану жгучую,
Не избыть судьбу неминучую.
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна — смерть — страшна война...

Пение кончилось. Стало тихо. Понуро стояли лошади, уткнув морды в кормушки. И с тем же покорным унынием на лицах толпились у вагона солдаты и щеголеватые прапорщики.

— Хорошая песня, — растроганным голосом сказал молоденький офицер.

— Без песни солдату никак нельзя, — хором раздалось

из толпы. И в несколько голосов дружно и весело прокатилось:

— Служба веселый дух любит.

— Песню петь — богу радеть.

— Песня лучше радости греет...

Из вагона, где только-что пели, высунулся бородатый солдат и произнес тоном хозяина отчетливо и наставительно:

— Не от веселья поют. Утерял себя человек, найти не может, вот и хочет криком-песней тоску осилить.

Играющий свет луны, декоративные фразы — точно из лакированной хрестоматии народников. Но от грустно-суровых слов становится легко на душе, и кажется, что эта серая масса и думает, и чувствует, и дышит глубокомыслием, как слова этой старой песни; и что все мы — и офицеры, и солдаты, прикрепленные к грохочущим теплушкам, — несмотря на тоску и озлобленье, хотим поверить в какую-то новую правду, в правду пушек и смерти. И уже долго спустя, когда круглый месяц заглядывает в бегущие со стуком вагоны, я ловлю себя на сосредоточенной мысли.

«Кто знает, не принадлежит ли право на будущее России больше, чем Англии, Франции и немцам?..»

3.

Прямо из вагонов, без передышки, нас двинули дальше. И хотя до места боев еще 64 версты, но в воздухе уже чувствуется настоящая кровь. Путь наш лежит по шоссе: от Холма к Красноставу.

...Жарко. С шумом и грохотом катится живой поток обозной артиллерийской колонны. Густая, раскаленная пыль, похожая на дым, колеблемый ветром, наполняет воздух удушливым зноем. Люди, повозки, лошади, — все утопает в облаках едкой пыли и точно дымится от прикосновения к земле.

Кузнецов, живой, коренастый прапорщик, ведущий ко-

лонну, время от времени кричит хриплым голосом, ударяя стэком по серому голенищу:

— На мостике пòд ноги! Пòд ноги смотри!

Колонна подхватывает крик:

— Пòд ноги смотри! Передавай дальше: пòд ноги...

Но через минуту колонна снова движется молча и апатично, покоряясь тяжелой неизбежности. Облизывая сухие, обожженные губы, ездовые вяло покачиваются в седлах. Глаза их налиты кровью и поминутно слезятся. Навстречу колонне, точно охваченные лихорадочной дрожью, мелькают спугнутые деревни, смятые тяжкими ударами войны. Десятки и сотни мужиков, коров, лошадей; бабы с распущенными волосами, как будто растрепанными ураганом; матери, прижимающие к груди спеленутых младенцев; бездомные собаки; интеллигенты без шапок; евреи в измятых разорванных кафтанах; сидящие на узлах старухи... Все это бежит перед нами жалкой вереницей оторопелых, покорных, беспомощных и враждебно-суровых лиц с выражением ужаса, унижения и дикой усталости в глазах. Никто не знает, куда и от чего бегут эти толпы несчастных, но почему-то все охвачены странным и мстительным озлоблением к бегущим.

— Шпионы! — сквозь зубы с ненавистью бросают офицеры.

— Побежали паны и хаимы! — повторяют за ними и солдаты, не столько из ненависти, сколько подражая начальству.

На биваке за мирным чаепитием идут такие же разговоры о предателях и шпионах.

— Смотрю я, — рассказывает степенный солдат, — енерал на возу сидит. Сам махонькой, руки веревкой скручены, а перед ним блюдце, а по нему, как искры горят: золотых куча. Голова с кулачок, лицо все разбитое, один глаз вытек, а из другого слезы на блюдце капают.

— Кто такой?

— Шпеон. Говорят — за мильон купили!

— За мильон купить можно, — соглашаются слушатели.

— Много между нас народу разного пущено, — ехидно тянет кто-то, вкусно прихлебывая из манерки. — Господа енералы чудесно живут. А на золото — ух как падки.

— Может на ем только хворма енеральская, — примирительно соображает другой, — а человек он может не наш, может жид какой али немец, а через русскую хворму прикрывается.

— Очень просто, — сразу находит отклик и решительную поддержку патриотическая гипотеза.

— На коней! Ез-довые, садись! — раздается зычная команда Кузнецова, и движение продолжается. По дороге встречаем ординарца из штаба корпуса с предписанием остановиться в деревне Малая-Верещи, а ночью двигаться дальше, на Красностав.

4.

Выступили ночью. Идем шагом. Гулко грохочут зарядные ящики, гремя железом. Блещут звезды на темносинем небе. Ловлю на ходу солдатские разговоры. Лиц не вижу, но слышу знакомый голос. Говорит Асеев, старый артиллерист из запаса, резонер, сектант и мечтатель:

— Много человеку простору дадено, грех на бога роптать. Поля, ручейки, скотинка... Звезды в небе, гляди-ко, как вскинулись, как рыбки, плавают... Красота. Душа оторваться не может, только смотри округ себя.

— Смотри, смотри, Асеев, — насмешливо отзываются солдаты, — того и гляди немец из канавы гостинца пошлет.

— А ты не пужайся, не торгуйся со смертью, — беззлобно отвечает Асеев. — Может мы завтра все упокойниками будем. Смерть ровно сон: глаза прикроет — сладкий покой наведет.

5.

Прошли Райовец и Красностав, свернули в пыльные проселки. Потянулась дорога круто в гору, на Избицу и Тарногуры.

— «Шашòй» куда спосóбнее, — ворчат солдаты. — «Шашà» (шоссе) — она легкая.

По дорогам попрежнему толпы убегающих жителей с отупелыми лицами: поляки в маленьких картузах с огромными козырьками, жалкие еврейские семьи в балагулах.

— Вон хаимы детей-то сколько наделали, — смеются солдаты. — Да тощие все, в чем душа держится! Какой из него царю солдат?

— Жидкий народ, недаром жид называется, — каламбурит толстый бригадный сатирик Краснухин.

— А и поляки не лучше; все: тéраз да почéкай.

— Этому нечего смеяться, — вмешивается Асеев, — кто где родился, тот так и говорит. По-нашему сказать — пуля, а по-ихнему — куля. А смерть всем равная от пули, как ни называть.

— Это правильно. Поляки — нужный народ. Поляк, что мужик: крепко в землю врощенный. Пан за землю крепко держится. Ты погляди: капитально живут поляки, отчетливо, домà все хворменные. И лясно́ у них: сорок верст итти можно — не увидят; и земля благует.

6.

Тарногуры — сожженное боями местечко, отравленное гарью, холерой, еврейским страхом и тревожными слухами. В уцелевшей помещичьей усадьбе помещается штаб дивизии. По улицам слоняются чубатые донские казаки и штабная прислуга. Дома битком набиты перепуганными на-смерть евреями. На всех перекрестках зловонные следы холерины. Кругом гремит канонада.

На рассвете примчался ординарец с приказанием двинуться в деревню Верховицу. Итти приказано на-рысях.

— Бой такой — прямо страх; аж земля гуркотит, — сообщил ординарец. И все мгновенно насторожились.

Это было 14 августа. Вышли на заре. Солдаты спокойные и строгие. Только изредка слышится:

— Ну, теперь, братцы, смерть поблизу нас ходит.

В Верховицу пришли к девяти утра. В зеленой ложбине, окаймленной высоким гребнем, уже стоял полупарк 46-й бригады и наш дивизионный лазарет. Гулко бухали пушки, трещали пулеметы и ружейные залпы, и пушисто таяли в воздухе дымки разрывающихся шрапнелей. Развернулись биваком, вскипятили чайники. Задымились походные кухни. Солдаты поминутно взбегали из ложбины на гребень, чтобы посмотреть, куда ложатся снаряды. Понятие об опасности как-то вдруг улетучилось. Все смеялись, острили, дурачились и в блаженном неведении готовы были верить, что на свете есть только веселое небо, поля и возбужденно-грохочущие пушки, голоса которых так хорошо сливаются с нашим приподнятым настроением. Чувство было такое, как будто из ложи наблюдаешь за интересным театральным зрелищем.

Появились раненые с кровавыми пятнами на грязных, измазанных руках и с неподвижно застывшими зрачками. Без особого беспокойства их расспрашивали о бое:

— Далеко отсюда?

— Вон там за мостиком, версты три не буде.

Вдруг тень упала на зеленую ложбину, повеяло смертью, и через деревню со свистом перелетел снаряд, и почти в ту же минуту, корчась от боли, испуганные, с землистыми лицами, появились на гребне десятки раненых. Держась друг за друга, принимая странные позы, спотыкаясь и падая, они медленно двигались на нас, и это шествие было сказочно-страшным. Красными огненными языками болтались обрывки

платья. Мерзко хлюпали сапоги, наполненные кровью, и большие, огромные глаза светились безжизненно и тускло, как догорающие восковые огарки.

Раненых было много — человек до трехсот. Меж ними два офицера.

— Попали под пулеметный огонь, — пояснили нам офицеры. — Австрийцы подняли руки и винтовки дулами опустили. Мы поверили, подошли. А они подпустили близко и давай поливать из пулеметов. Это все, что от полка осталось.

— Какой полк?

— Пултусский.

Мы взяли у наших солдат индивидуальные пакеты, и все вместе — офицеры, солдаты и медицинский персонал — начали наскоро перевязывать раненых. У некоторых кровь сочилась в пяти и больше местах. Монотонно и неохотно, простыми крестьянскими словами, рассказывали раненые о пережитом.

— Много яво, один через один, прямо, как черва, лезут.

— А хорошо дерутся?

— Пока водка в манерке есть — дерется.

Работа кипела. Раненые все прибывали — измученные, серые, покрытые потом и пылью. Мимо нас проезжали пустые передки.

Проносились конные ординарцы. Какой-то артиллерийский офицер, остановив взмыленную лошадь, с изумлением обратился к нам:

— Отчего не уходят парки?

— У нас нет предписаний, — отрапортовал Кузнецов.

— С ума вы сошли? — крикнул офицер. — Какое там, к чорту, предписание, когда в двух верстах австрийская артиллерия позицию занимает. — И злобно добавил: — Теперь все равно не уйдете, захватят...

Махнул безнадежно рукой и ускакал.

В ослепительный солнечный день эти слова прозвучали зловещим приговором.

Раненые мгновенно исчезли. Мы бросились к лошадям. Парк давно стоял наготове. Люди были все на местах. И не успели раздаться слова команды, как лошади лихо рванули в гору.

Впереди шел 46-й полупарк, сзади нас — дивизионный лазарет.

Внезапно что-то прозвучало над нами громко и певуче, как мотор.

«Аэроплан» — мелькнуло у меня в голове. Но тут же раздался свистящий металлический визг, и кто-то крикнул:

— Стреляют!

— Господи! — закрестились солдаты и, не дожидаясь команды, ездовые яростно стегнули по лошадям и свирепо заорали:

— Рысью! Рысью!..

Лошади неслись вскачь. Каждый новый разрыв усиливал общее смятение. Глаза были жадно устремлены вперед, где синел спасительный лес, и казалось, что бешено мчащиеся «выноса» мучительно вяло одолевают пространство.

— Скорей, скорей! — инстинктивно шептали губы. И вдруг задние ящики врезались дышлами в спину передним, и вся колонна остановилась.

— Чего стали? — загремели разъяренные голоса.

— В полупарке лошадь убило. Выпрягают.

Было около шести часов вечера, когда мы подошли к Тарногурам. Штаб дивизии уходил. Командир парка пошел с донесением в штаб и через три минуты вышел оттуда с трясущимися губами.

— Плохо, — шепнул он офицерам, — нас обходят с обоих флангов. Приказано без промедления отступать к Холму.

Не отдыхая, мы двинулись дальше. Но, пройдя версты четыре, за Избицей мы вынуждены были остановиться, так

как все шоссе на протяжении многих верст и вправо и влево было запружено отходящими войсками.

7.

... Не знаю, когда это началось: вчера, неделю, месяц тому назад... Изо всех сил стараюсь взглянуть хладнокровно на то, что происходит кругом, но ничего не понимаю. Клокочущая лавина из конских и человеческих тел, из двуколок, ящиков и повозок залила все дороги. Нет больше ни рядов, ни офицеров, ни команды, ни связи. Артиллерия смешалась с пехотой, население с войском. Без цели, без смысла мечутся долгополые евреи, грохочущие крестьянские фурманки, голосят и рыдают бабы, с дико горящими глазами бредут без конца солдаты. О чем они думают? . .

Людской поток все вздувается. Люди и лошади сбиваются в плотные кучи. Задние ряды, вовлекаясь в панический поток, бешено напирают, захлестывают передних и оглашают воздух неистовой бранью.

Наступила душная безлунная ночь. В темноте, прорезанной пожаром и кострами, металось темное и слепое безумие. Люди, лошади, пушки бесформенно расплывались. Скомканное пространство превратилось в сумрачный, многоголосый хаос. Точно из какой-то черной глубины порывисто устремились на землю миллионы лязгов и топотов, и от этого грохота и крика все казалось еще лихорадочней и непонятней.

— Что же это? . . Что же это? — оторопело твердили офицеры. А худенький ветеринарный врач Колядкин, слабый и нервный, отчаянно струсил и, по-детски ломая руки, кричал беспомощным голосом:

— Пропали! Переловят нас, как куропаток. . .

На другое утро, с восходом солнца, мы пришли в Красностав. Все местечко запружено было парками, обозами, лазаретами и пехотой. Не было ни одного свободного дома. Мы

расположились биваком у моста, и тут, неизвестно отчего, быть может, от света, от брызжущего солнца, от беспредельной воздушной синевы, почему-то всеми овладело сладкое опьянение. Как-то сами собой зароились фантастические слухи о львовских удачах, и сам я заодно со всеми поддался волнующему подъему и дерзко окрепшей вере в собственные силы.

Солдаты также были охвачены этим радостным возбуждением. Старый фельдфебель Удовиченко, поглаживая желтые усы, вдохновенно ораторствовал в толпе:

— Скучно здесь. Куды глазами ни гляну, войны, войны настоящей нету. Уйду я на батарею... Эх-х, выехал бы сейчас на позицию и скомандовал бы: первое! второе!.. Как стрельнет — душа радуется: на! получай, проклятый!..

А в другой кучке грязный, обмызганный пехотинец рассказывал с презрительным пафосом:

— Австрияк что? Разве ж это народ? Ничтожный, рыхлый народ, прямо сказать — песок сыпучий. Ты его только шалтани, а уж он бежит, как вода из рукомойника. Ей-богу!..

После недавних страхов мы жадно впитывали эти бодрые речи, и когда, как бы в подтверждение слухов, был неожиданно получен приказ вернуться на старые стоянки в Тарногуры, армия опять несдержанно верила в себя. Передавались самые удивительные вещи. Необыкновенную популярность приобрели казаки, которым приписывали массу блестящих подвигов. Успешно устраняла все препятствия на своем победоносном пути наша артиллерия. И на каждом шагу подвергалась посмеянию неповоротливая австрийская пехота. Но перед самыми Тарногурами, в Избице, нас поразила первая неожиданность: здесь дожидался ординарец с предписанием... отойти к Красноставу. Двое суток, без отдыха, днем и ночью бросали нас вперед и назад между Красноставом и Избицей.

— Да что они смеются над нами? — негодовали офицеры.

Солдаты, не зная ни имени корпусного командира, ни даже того, к какому мы корпусу причислены, с убеждением передавали в своих беседах:

— Вишь ты, какую штуку придумал: командир-то корпусный — немец, на ихнюю сторону передался, вот и гоняют нас до устатку, на истерзание, силу последнюю вымаривают...

К вечеру 16 августа, после четвертого отступления от Избицы, наше изнурительное движение неожиданно приняло характер панического бегства. Трудно сказать, почему и откуда хлынуло это внезапное отчаянье, но что-то зловещее завертелось, завихрилось, как снежный буран. Опять смешались люди, лошади, зарядные ящики, двуколки и трагические фурманки перепуганных жителей. Дисциплины как не бывало. Ни армии, ни командиров. Был сброд усталых и голодных людей, ежеминутно готовых превратиться в дикий панический поток.

Кругом пылали пожары, гремели пушки. Мы не знали, кто справа, кто слева... И когда наступила ночь, в оглушительном гуле безостановочно ползущих обозов вспыхнули мрачные предчувствия. Трудно вырваться из цепких объятий паники в такие минуты. Нервы мучительно напряжены. Кажется, кто-то гонит всю армию навстречу полному истреблению. В темном кругу испуганных и сбитых с толку солдат пышно расцветают нездоровые, нелепые, навязчивые бредни. Все с затаенным ужасом ждут неминуемых, подстерегающих бед. И вдруг свирепо, пронзая темноту, рванулся оглушительный крик:

— Втикайте! Вбывають! Кавалерия сзаду!..

Мгновенно, как смерч, закрутились дикие вопли. В воздухе засвистели кнуты и ругательства, хлесткие, как удар нагайки.

— Р-рысью! — кричали люди обезумевшим голосом.

— Рысью! Передавай дальше! Р-рысью!..

И толпы вооруженных людей, повинуясь безумному при-

казанию, ринулись вперед. Задевая и опрокидывая повозки, бешено мчались в темноте зарядные ящики и двуколки. Слышно было, как трещат и ломаются оглобли, как стонут подмятые под колеса люди.

— Вбивають! Из пулеметов бьють! — ревела обезумевшая толпа. — Рысью! Передавай дальше! Рысью!

Но движение с каждой минутой становилось все затруднительней. Во многих местах образовались людские заторы. С гиком и свистом мчались какие-то кавалерийские части и, врезаясь в гущу обозов, кричали хриплыми голосами:

— Вали, ребята, вали!

Где-то далеко сзади затрещали ружейные выстрелы, заметались озлобленные вопли:

— Чего стали? Чего дорогу загородили? Руби постромки!

И мгновенно по всей толпе покатилось зычными перекатами:

— Постромки!.. Р-руби постромки!

Я сидел на артиллерийском возу, куда забрался еще с вечера, измученный усталостью и бессонницей. Два солдата, бывшие со мной на возу, наскоро пошарили в сене, соскочили наземь и, повозившись с минуту в темноте, вдруг ускакали на лошадях, бросив меня на распряженном возу среди дороги. Боясь оторваться от своей части, я спрыгнул с воза и, наткнувшись на кучу щебня, стремительно скатился в канаву. В канаве было темно, как в погребе. Оглушенный падением, я не мог разобрать, в какую сторону отступают войска. До меня доносился сверху только скрипучий грохот колес и гул тяжелых шагов, похожий на биение гигантского сердца. Выбраться из канавы на дорогу без посторонней помощи не было никакой возможности. И вдруг где-то близко услыхал я голос моего денщика:

— Ваше высокородие, чи вы тут?

— Ты здесь, Коновалов? — обрадовался я.

— А як же. Хибаж я вас покыну? — спокойно ответил

он и помог мне выбраться из канавы. Мы присели на куче щебня, и между нами произошел такой диалог:

— Втикаймо, ваше высокородие, втикаймо!

— Как же мы бросим свою часть?

— А нà що вона нам здалась?

— Ведь мы дезертирами будем.

— Так що ж?

— Если все дезертирами станут, то кто ж будет воевать?

— Хиба ж цэ война?.. Ваше высокородие, втикаймо, бо нас убьють.

Не без труда удалось мне убедить Коновалова, что до смертного часа еще далеко. Натыкаясь на брошенные зарядные ящики и опрокинутые повозки, зорко следя друг за другом, мы долго барахтались в обозном потоке, долго и медленно ныряли по ухабам, провалам и косогорам измочаленного шоссе, и я боюсь, что в эту темную ночь в недовольную голову Коновалова закрались странные мысли.

8.

...За Красноставом паника несколько улеглась. Но выяснилось, что колонны и части перепутались, связи нет, и штаб дивизии затерялся. Потом пошли нелепые слухи, что наша дивизия обречена для чего-то на заклание, что нас умышленно бросили под смертельный удар; и хотя тут же, рядом с нами, тянулись обозы и парки других дивизий, солдаты с тупым равнодушием повторяли эту нелепую сказку.

— Да брешут все, со страху больше болтают, — возражали благоразумные голоса.

Но на скептиков сердито набрасывались:

— А ты уж больно умен! Дурей тебя вся дивизия будет, что ли? Прикрытие есть у нас? Ага! А штабы где? С молитвой по полю бродят. Не, брат: скрозь землю провалились. Давно все в Холме сидят — вот где! — да в фильки дуются, чтобы некому приказывать было. Потому конь околеет,

оглобля треснула — сейчас к ответу пожалуйте! А тут причина другая. Тут много округ народу глядит, а в ответе кто будет? Никто! Никто не видал, никто не слыхал. Ищи-свищи, а доказчиков нету: без покаяния на тот свет...

Офицерство было настроено не более радужно. Для установления связи мне и ветеринарному врачу Колядкину предписано было отправиться в Холм и там заодно подыскать помещение для парка. С трудом продираясь сквозь обозную гущу, мы после томительных 16-часовых безостановочных скитаний, усталые, измученные добрались до Холма.

... Ясное солнечное утро. В городе совершенно спокойно. Мирное население с любопытством осматривает наши запыленные фигуры. Обрывки воспоминаний сбивают и спутывают все представления о жизни, и происходящее кажется непонятной игрою в прятки. Вид спокойных людей и равнодушной будничной жизни раздражает, как грубейшая нелепость и фальшь. Почему-то я вдруг решаю: надо сейчас же запастись перевязочным материалом для части. Являюсь к начальнику санитарной части, генералу Попову. Генерал — сухой, длинный, туберкулезный — почесал за ухом костлявым пальцем и спросил недовольным тоном:

— А свои вы пакеты куда девали?

Я объяснил.

— Как? — вскричал генерал, сердито растягивая каждое слово, — вы отдали пакеты вашей части Пултусскому полку? По какому праву? Это какой дивизии полк? Вашей?

— Никак нет, не нашей.

— Так что ж вы... сюда приехали... благотворительностью заниматься? Разве вы не знаете, что индивидуальный пакет выдается каждому солдату, как винтовка, как шашка, и никто не смеет отнять у нижнего чина его индивидуальный пакет... Не рассуждать! Вас надо отдать под суд.

— ... Но нашим солдатам нужны пакеты.

— Это нас не касается! Приобретайте их за собственный счет. Да-с... И затем, не угодно ли объяснить, почему вы очутились в расположении Пултусского полка?

Я очень обстоятельно, не жалея подробностей и красок, рассказал генералу о встрече с путлуссцами под Верховицей, об обстреле, которому мы подверглись, о долгих шатаниях между Избицей и Красноставом и о последнем паническом отступлении к Холму. Генерал внимательно слушал и вдруг воскликнул с тревогой:

— Значит, что же, по-вашему, наши войска разбиты?

— Не знаю, в каком положении наши войска, но я передаю вам то, чему был лично свидетелем.

— В таком случае потрудитесь доложить обо всем, что вы только-что рассказали, генералу Миллеру. Я его сейчас приглашу.

Вошел молодой, невысокого роста, очень изящный генерал, румяный, плотный, красивый, с большой сияющей плешью и небольшой черной бородкой. Я повторил ему свой рассказ. Генерал Попов нервно дергался и несколько раз прерывал меня сердитыми репликами:

— Понимаете? А они здесь сидят как ни в чем не бывало. Они понятия ни о чем не имеют!

Генерал Миллер все время мягко улыбался и, постукивая холеными пальцами по столу, приговаривал тихим, покойным голосом:

— Так, так, слушаю...

И, когда я кончил, сказал с той же улыбкой:

— Поезжайте в ставку к его высокопревосходительству, генералу Плеве, командующему 5-й армией, и скажите, что вас направил к нему генерал Миллер. Доложите обо всем его высокопревосходительству. Только помягче... понимаете? «б е з п а н и к и»... говорите лучше: сумятица, замешательство... понимаете?..

— Помилуйте,—взмолился я,—я измучен, устал, вторые сутки без сна и пищи...

— Ничего, ничего,— замахал руками Попов.— Я вам приказываю. Немедленно отправляйтесь. И скажите, что вы явились по приказанию генерала Миллера и генерала Попова.

— Слушаю-с.

— Только не вздумайте сидеть в ресторане,— начальственным голосом закричал мне в спину Попов.— Прямо к главнокомандующему. И скажите, что вы от генерала Миллера и генерала Попова.

...На вокзале в ставке меня встретили не особенно дружелюбно и сначала направили в оперативное отделение.

Там на мое заявление, что я должен видеть главнокомандующего Плеве, какой-то щеголеватый капитан небрежно окинул меня взглядом, пожал плечами и молча отвернулся.

Я обратился к писарю, который тихо шепнул мне:

— Вагон впереди поезда.

В вагоне первого класса меня встретил у входа высокий адъютант с холодным бритым лицом и без слов вскинул вопросительно голову. Я процедил сквозь зубы, в душе заранее торжествуя:

— С донесением к главнокомандующему.

Адъютант изумленно переспросил:

— С каким донесением? Откуда?

— С донесением лично главнокомандующему,— отчеканил я.

— Что такое?— уже с раздражением повторил адъютант.— Врач... с донесением... странно...

К нам подошли два других офицера, пронизывая меня недоверчивыми взглядами. Я выдержал паузу и сказал:

— Я, конечно, не стал бы беспокоить главнокомандующего, если бы не получил соответствующего приказания в штабе.

— Главнокомандующий от вас донесения принять не может, — сухо отрезал адъютант.

— В таком случае позвольте узнать вашу фамилию, господин адъютант?

— Зачем?

— Чтобы доложить генералам.

— Каким генералам?

— Генералам, по приказанию которых я явился сюда. Генералу Миллеру и генералу Попову.

Офицеры переглянулись, пожали плечами, и адъютант мягко и вкрадчиво принялся убеждать меня:

— Будьте любезны, объясните, пожалуйста, в чем дело? Согласитесь сами... Мы вас совсем не знаем... Без предписания, по одному словесному заявлению... допустить к главнокомандующему... Его высокопревосходительство сейчас чрезвычайно занят... Будьте любезны, изложите мне для доклада.

Я в третий раз начал рассказывать историю нашего отступления, и в тот момент, когда речь зашла о заторах, дверь одного из купэ неожиданно приоткрылась, и на пороге показался низенький, морщинистый генерал, с большой головой, красными бритыми щеками и заплывшими глазками. Он пожевал губами и сказал недовольным тоном:

— Удивляюсь, что вы рассказываете? Мои адъютанты были на месте и передают, что отход совершается в образцовом порядке. Даже движение автомобилей не встречает препятствий.

— Ваше превосходительство, я проделал весь путь от Избицы...

— Вы были под Избицей? — оборвал меня генерал.

— Так точно. Я прямо оттуда.

— Что вы там делали?

— Я был со своей частью.

— Кто вас сюда направил?

— Генерал Миллер и генерал Попов.

— Генерал Попов?.. Лучше бы он занимался своим делом и наблюдал за тем, чтобы его врачи не болтались по позиции. Говорят, все дороги усеяны бегущими госпиталями.

— Ваше превосходительство! Я не из госпиталя, я врач артиллерийского парка.

— Я не о вас. Продолжайте.

— ...Во многих местах повозки, люди и лошади сцепились колтуном и стоят, загораживая проезд остальным по нескольку часов... Тогда солдаты обрезают постромки...

— Да, я слыхал от адъютантов, что... жидовские фурманки умышленно затрудняют движение, — сердито окрысился генерал и посмотрел на меня злыми глазами.

— Возможно, — улыбнулся я, — но в таком случае польские евреи очень искусно загримированы русскими солдатами.

Генерал передернул плечами, и я продолжал рассказывать. Когда я кончил, генерал обратился ко мне сдержанно:

— Ваша фамилия? Какой части?

Я назвал.

— Благодарю вас...

— Очень вам благодарен, — как эхо, повторил за ним адъютант и добавил официально:

— Я передам начальнику штаба.

9.

Я уснул с мыслью, что надо будет пойти с докладом к Миллеру. Но когда я проснулся, в городе уже не было ни штаба, ни армии, ни ставки.

Город наполовину опустел. Жители поспешно удирали. Мы воспользовались всеобщим бегством и заняли роскошное помещение для парка — в доме главного инженера, на вокзале. Уютный, небольшой особняк, с просторными комнатами, электрическим освещением и дивным фруктовым садом. После десятидневных скитаний по пыльным дорогам,

с ночевками под открытым небом или в грязных халупах мне не хотелось думать ни о приближающихся австрийцах, ни о том, что за городом расставлены пушки, и через несколько часов придется удирать дальше. Я весь ушел в покой и тихие мысли, как будто все кончилось, и события последних дней были каким-то тяжелым вставным эпизодом в моей жизни.

К вечеру подошел весь парк с офицерами.

Мы запаслись провизией и напитками, которые продавались в любой лавчонке, и на заре, в четвертом или пятом часу, неохотно расстались с гостеприимным домиком инженера. Мы отступали дальше по Брест-Литовскому шоссе — на Мацошин — Савин — Влодаву...

Медленно двигается парк по лощине, в дубовом лесу. В душе дремучая тишина. Солдаты тихо беседуют, и видно, как трудно расстаться им со своими крестьянскими думами.

— У нас хозяйство серьезное, больших трудов стоит; только пользы от яво мало. Одни бабы дома остались: мать-старуха, да моя баба, да сестра, а мужа ейного со мною угнали, в один день угнали...

Чем дальше отходим от Холма, тем беззаботнее солдатские лица и веселее природа.

Весело бродит солнце по зеленым холмам и пролескам. Свежий утренний ветер завивает курчавые листочки. Перекликаются птицы звенящими голосами.

— Лясно у них, — лениво переговариваются солдаты.

— Намедни проезжали — козушку дикую видели. Много у них этого зверья в лесу.

— Вон дуб сломило, гляди-ко... Либо грозой сломило?

— Должно грозой...

Какое счастье, что война протекает для меня не в душном окопе, а среди полей и лесов, на прекрасном, вольном просторе. Доколе есть на земле поля, луга и цветы, доколе

раскинуто над нами синее небо, и шумят таинственно-мудро настороженные леса, душа не перестанет грустить и надеяться.

10.

...В Мацошине долгая стоянка. У жителей вытянутые лица, и на каждом шагу осаждают нас тревожно допросами: куда отступаем? Почему? Где неприятель?.. Это злит и волнует. В каждом вопросе слышится издевательство. Недоверчиво заглядываем в потухшие маленькие глазки обывателей. Спокойствие кажется искусственным, печаль — напускной. И если солдаты вдруг принимаются насильничать и придираться к населению, смотришь на все сквозь пальцы, и даже нисколько не коробит. Почему? Не знаю. Успокаиваешь себя скептическим шопотом: какое мне дело?..

Завтра я двинусь дальше и никогда не вернусь сюда.

Ночью нас разбудили и потребовали на совещание к коменданту. В большом помещении, служившем раньше трактиром, собралось несколько офицеров и около десятка врачей. Обозный офицер в чине полковника (должно быть комендант) возбужденно докладывал, что встретил какого-то ординарца, который мчался с экстренным приказанием немедленно очистить Влодаву. Чтобы спастись от неизбежного плена, надо было, по уверениям полковника, уйти из Мацошина сейчас же, не дожидаясь рассвета, так как, по слухам, неприятельская кавалерия засела где-то близко в лесу. Сакраментальное слово «кавалерия» оказало немедленное действие, и всех охватило неукротимое желание бежать, бежать без оглядки. Кто-то попробовал робко возразить, что следовало бы дождаться распоряжения из штаба.

— Штаба нет, — резко оборвал протестанта обозный полковник, — штаб давно окружен!..

— Откуда вы знаете?

— Я говорю со слов ординарца.

— Да что такое ваш штаб? — вмешался пожилой главный врач одного из госпиталей. — Он сам ни чорта не знает, ваш штаб.

— Но ему известны планы, в которые мы с вами не посвящены.

— Нет-с, извините! Я был посвящен в их планы. И вот что из этого вышло. Приказано было моему лазарету расположиться в деревне Высокое, а деревня, видите ли, б у д е т взята нашими войсками через час. Ехать приказано по кратчайшей дороге, на рысях. Хорошо-с. Едем. А в деревне прочно укрепился неприятель. Понятно, — мы утекать. Под выстрелами. Назавтра встречаемся со штабом дивизии в дороге. Адъютант смеется, мерзавец: — Как? Вы живы остались? А мы были уверены, что не уцелеете...

Не прошло и полчаса, как осветились все окна в Мацошине, и по длинной улице большого села потянулись скрипучие обозы, лазареты и парки.

Солдаты были спокойны и, под покровом непроницаемой ночи, чувствуя себя в безопасности от начальства, обменивались шутливыми фразами:

— Одно слово вояки... Навострили лыжи, чтоб до дому ближе...

— Так до самой Курской губернии, до Льговского уезда утекать будем...

Выехали на мягкую дорогу, окаймленную густыми лесами, и сразу стало тихо и жутко, как в страшной сказке. Ночь летела на черном коне... Глубокое молчание леса казалось преисполненным враждебной и загадочной тайны. Повсюду, куда ни глянешь, чувствуешь занесенную над тобой свинцовую лапу войны. От каждого шороха в лесу — несется заразительный шопот:

— Кавалерия!

И страх леденяще-мертвыми пальцами прикасается к сердцу. Чувствуешь себя охваченным судорожным припадком

бессилия и злости. Думаешь о пулях врага, о неприятельских призраках, которые смотрят тысячью глаз из темноты, и в то же время предаешься ироническим размышлениям о братстве народов, о солнечном строительстве жизни, о Польше, о Бельгии, о свободолюбивой Франции и жгучих жерлах тяжелых немецких пушек.

11.

На рассвете нагнал нас Ковкин, ординарец, оставленный при штабе дивизии для связи, и передал предписание вернуться в Холм. Было немного стыдно за свое трусливое бегство, но в то же время от этого распоряжения ключом забила шумная радость.

Пронзительно-громко загремели железными языками повернувшиеся зарядные ящики. Тверже зашагали солдаты. Смело и осанисто сидели в седлах ездовые и офицеры...

В Холме спокойно и людно. Слухи один другого отрадней. Говорят, что штаб нашего корпуса давно в Красностае, а штаб дивизии в Избице; что армия Рузского разбила австрийцев на-голову; что мы приближаемся к Перемышлю. На станции много чистеньких офицеров («пупсиков», как их здесь называют), кичливо разгуливающих по перрону и всем рассказывающих о наших мнимых победах. Но рядом с праздничным ликованием ползут печальные вести. Придавленным шопотом передается из уст в уста, что пруссаки неожиданно бросили на нас огромную армию, что они в два дня придвинули 300 эшелонов и разбили нас вдребезги под Кенигсбергом. Говорят, что убит генерал Самсонов, что в плен захвачено множество штабов, и что на станции Травники (под Люблиным) происходит жестокий бой, от исхода которого зависят наши дальнейшие успехи «на поле битвы».

Газет нет. С запада приходят поезда, переполненные ранеными. У носилок, рядами расставленных на голом полу,

толпятся взволнованные зрители. Слушают огромного капитана с колючими усищами, который орет диким голосом:

— Это чорт знает что! . . Солдаты по шесть дней ничего не ели. Офицерство сырой капустой питалось. А транспорты чорт знает где шатаются. . .

Тут же на вокзальном полу, рядом с ранеными солдатами, сидят семьи беженцев, испуганные и растрепанные еврейки, окруженные выводками детей.

Ужасающий лик войны — с ее нищенством, унижением и безнадежной печалью! . . Печаль и опустошение неотступно следуют по стопам нашей армии. . .

Мы снова заняли квартиру начальника движения на вокзале и с раннего вечера завалились спать.

. . . Утром 23 августа нас разбудила шумная деловая возня: привели австрийский обоз, захваченный гренадерами. Лил дождь, было грязно и ветрено и в воздухе пахло осенним неуютом.

Понуро стояли пленные — целый батальон, с офицерами и полковником во главе; денежный ящик, канцелярия, два воза винтовок и свыше 50 лошадей.

Кучка наших солдат и офицеров, как на ярмарке, окружили пегую, сухую, нервную лошадь, благородную морду на тонкой шее, и убеждали начальника обоза на все лады:

— Подумайте! В походе! Куда вам с ней возиться. На что она вам? Продайте! Вы сто других достанете впереди. . .

Но офицер сердито отмахивался, повторяя в двадцатый раз:

— Не могу, не могу! Я дал честное слово лейтенанту по окончании войны вернуть ему лошадь: это призовая.

— Ну, вот. . . Когда это еще будет, — смеются в толпе.

— Не бес-по-кой-тесь, — отвечает с апломбом офицер, — не дальше, как через три месяца. . . С математической точностью. . . На Рождество все дома будем! . .

Вдоль полотна в теплушках сидят раненые солдаты и мирно беседуют с такими же ранеными австрийцами. Из вагона с белою надписью: «тяжелые» меня окликает взволнованный голос:

— Ваше благородие, прикажите этого австрияка в 3-й класс положить, а то шибко мучается грудью.

И тут же распахивает шинель на австрийце и показывает забинтованную окровавленными тряпками рану.

— Уж не ты ли его ранил? — обращаюсь я с бесстыдным вопросом к солдату.

Солдат смотрит мне прямо в глаза и отвечает сурово:

— Которые мной побиты, те там и остались... На мне греха нет... А и есть, не мне прощенья просить у него... Не мы приказывали... Начальству — тому, вон, пожестче будет.

Прихожу в штаб. Хочу получить австрийскую линейку. Встречаю генерала Попова, который дружелюбно меня приветствует:

— А! Вы опять к нам пожаловали. Опять за пакетами?

— Нет, за лазаретной линейкой.

— Что ж вы и линейку чужой дивизии уступили?

— Никак нет. Наша линейка еще в Киеве.

— Ага! Так пускай командир ваш напишет рапорт генералу Кияновскому.

— И тогда?

— Тогда... лет через пять, быть может, получите, — басисто хохочет генерал.

Тут же стоят офицеры и громко жалуются:

— Наши лошади покалечены, а обменять на австрийских нельзя.

Во дворе из солдатских кучек слышатся раздраженные толки:

У лошадей ни хомутов, ни седел, а все, что взяли в плен, повезут в города, напоказ. Там и сгниет все...

Неподалеку на сборном пункте скопилась масса пленных: пестрые и растрепанные экземпляры многоязычной австрийской империи с огромными трубками в зубах. Маленький юркий санитар с красным крестом на рукаве подносит к глазам моим локоть, шумно выкрикивая: «das rothe Kreuz», и начинает взволнованно доказывать, что по всем конвенциям и законам он захвату в плен не подлежит. Но его сурово перебивает австрийский офицер, процедив сквозь зубы по-немецки:

— Это надо бросить. Из этого ничего не выйдет.

Подошли еще пленные, все — оскорбительно самоуверенные. С небрежной улыбкой на губах они хвастливо рассказывают, что Петроград взят и Варшава также взята пруссаками. А на все наши уверения, что наши давно во Львове, отвечают внушительно и спокойно: es ist unmöglich (это невозможно). Молодой австрийский офицер с белыми усиками и интеллигентным лицом неожиданно обращается ко мне по-русски, без всякого акцента:

— Мы 48 часов во рту глотка не имели, хотим есть и пить. Разрешите нам отправиться в город в сопровождении караульных.

Но на мое ходатайство наш офицер ответил традиционным:

— Не полагается.

Я дал солдату немного денег и велел принести колбасы и хлеба для пленных.

— Только смотри, не надуй, принеси, — сказал я ему.

— Как можно, ваше благородие, тоже и мы понимаем чужое горе, — ответил солдат и умчался, очень довольный поручением.

12.

...Светло и весело на душе. Мягкое осеннее солнце сладко греет. Мы опять продвигаемся по дороге на Красно-

став. Всюду масса телег с бабами и детьми: это беженцы возвращаются по местам. Лица веселые. Старики низко кланяются, угодливо ломят шапки, но в глаза прямо не смотрят.

— Слава богу, — отпускают крепкие шуточки солдаты... — Передом к австрияку — и лошадь бодрей бежит. Сами, небось, дорогу знают.

Рядом со мной шагает Ханов, длинный, сухой и грязный солдат, лет 37, вестовой Колядкина, ветеринарного врача. Шинель на нем не по росту. Из коротких, изъеденных рукавов торчат длинные, корявые, худые кисти, похожие на корни, только-что выкорчеванные из земли.

— Вы бы, Ханов, хоть руки вымыли, — говорю я ему.

— Мы спокон веку коло саду ходим, — скрипучим голосом отвечает Ханов. — Пчеловоды мы и садовники. У нас, в Льговском уезде, все садоводством занимаются.

И задумчиво добавляет:

— Теперь у нас последнее яблоко доходит. Послеспасовка: крепкая, терпкая, как рябина. Боюсь, пропадет без догляду. Кому там хозяйничать? Боюсь...

Ханов — молчаливый, угрюмый мужик, всего на свете боится и никому не верит. Оживляется лишь тогда, когда заговаривает о садоводстве и о шпионах.

— Ваше благородие, двух шпеонов поймали.

— Где?

— Да вот погнали в вольной одеже.

Оказывается: прохожие в штатском.

Увязался как-то за нами четырнадцатилетний мальчишка, Николай. Доброволец, отбившийся от части.

Ханов сейчас с докладом:

— Не иначе, как австрийский шпеончик. Я давно за ним примечаю.

— Почему ж ты думаешь, что шпион?

Ханов качает головой:

— Уж больно смышленый.

В Райовце делаем остановку в доме ксендза.

По дому ходит какой-то молчаливый старик.

Румяная экономка или кухарка, с пышными белыми руками, услужливо суетится, подает, угощает, и не успеешь рта раскрыть, как уже слышится предупредительное:

— Ю ш ь е с т ь...

Яблоки, яйца, хлеб, варенье...

Однако, услуги нами принимаются без особенной благодарности. Вся обстановка почему-то внушает недоверие. И тусклые старомодные портреты. И мертвая тишина. И туго отпирающиеся двери. И то, что в доме ни одного мужчины, кроме безмолвного старика. И то, что брат ксендза уехал в Варшаву, а ксендз пошел «д о д о м у» (в к о с т е л)... Чем ближе к вечеру, тем загадочней кажутся портреты и темные углы и сладкие улыбки экономки.

Ханов, не снимая шинели, бродит по всем помещениям и тешит свою подозрительность угрюмыми выводами:

— Дом большой, а живут как молчальники; и шпеонов прятать сподручно.

— Сподручно? — серьезно переспрашивают офицеры.

— Ваше благородие, — оживляется Ханов, — в каждом доме по тачке... Верно укрепления делали.

В Райовце много лазаретов. С утра везут раненых. Раненые австрийцы лежат рядом с нашими. Голова вчерашнего врага мирно покоится на коленях искалеченного противника. Много солдат, переодетых в австрийские шинели, а на австрийцах русские фуражки. Пленных — больше чем наших. Иные разулись, шагают босиком под охраной десятка бородатых солдат; другие сидят на подводах и усердно нахлестывают лошадей, тогда как мужики и караульные сладко дремлют, передоверив права свои австрийцам.

... От Райовца до Красностава дорога утопает в синих (австрийских) шинелях. Усталые, скучные, с давно не бритыми лицами, они плетутся как скот. В глазах глубокое

равнодушие. Где-то под Высоким наша артиллерия заметила с наблюдательного пункта в придорожной пыли густые австрийские колонны и открыла по ним огонь. Только минут через десять выяснилось, что это — пленные.

В Красностав пришли вечером. Часть городка и мост (недавно достроенный) разбиты снарядами. Дома и деревья обгорели. Мы остановились в бывшей школе. Окон нет, стены прострелены, мебель в обломках. Мрачный сторож на все вопросы отмалчивается. Улицы — в кострах и биваках. Ночь теплая, звездная.

Из маленького домика несутся звуки рояля. Идут туда. Группа подгулявших врачей и прапорщиков устроила пир горой. На столе консервы, закуски, бутылки и самовар. Хлопотливо суетятся солдаты и откуда-то тащат дымящиеся блюда. Кто-то, сидя спиною к публике, энергично барабанит по древней желтой клавиатуре, похожей на старческую челюсть. Тут же гремят посудой, и гудят голоса: хохочут, обмениваются воспоминаниями и тостами.

— Господа, слова! Прошу слова! — кричит захмелевший прапорщик с приятным, круглым лицом, надсаживаясь и стараясь перекричать рояль.

— Война чем хороша? — произносит он не совсем твердо. — Война чем хороша? — отчеканивает он громче, весело сверкая зубами.

— Водкой и сестрами, — прибавляет кто-то.

— Не мешай, Сережка. Ты — циник, — отмахивается оратор и продолжает с подъемом:

— Тем, друзья мои, что в-высокознаменитые л-личности остались там, позади. А здесь — каждый из нас, как портрет в з-золоченной раме.

— Я картина, ты портрет. Ты скотина, а я нет, — с дурашливой скороговоркой вставляет Сережка, но его останавливают оглушительным: тссс!.. И оратор, польщенный вниманием, выкрикивает торжественным голосом:

— Наш великий учитель Наполеон сказал: в ранце у каждого солдата лежит фельдмаршальский жезл.

— Во-от! Это то, что каждый из нас чувствует. Понимаете? Лети, завоевывай свою славу и нагружайся орденами...

— Ну, ты уже порядочно нагрузился, фельдмаршал! — не унимается Сережка, и замечание его покрывается хохотом.

— В-выражаю тебе презрение, — с негодованием бросает оратор и садится.

Сережка, худенький подвижной офицерик с университетским значком, стремительно вскакивает и, прижимая театрально руку, кричит сиплым голосом, видимо кого-то копируя:

— Из переполненной груди молодого и переполненного сердца: за здоровье будущего фельдмаршала! Ур-ра!..

— Владыкину слово! — раздается с противоположного конца, и комната сразу погружается в серьезное молчание. Даже рояль затихает. Поднимается бледный офицер и с видом полкового светила, привыкшего производить впечатление, окидывает взглядом собрание. У него большой загорелый лоб, узенькая бородка и нос, далеко выступающий наружу. Говорит он нарядно, напыщенно и чересчур закругленно — в стиле ученого приват-доцента. Но слово легко повинуется ему, и он откровенно наслаждается стилистическими красотами своей речи.

— Господа! — мягко и вкрадчиво льется его голос. — Вы знаете, что я участвовал в боях под Высоким и Красным, где легло так много наших славных героев.

«Господа! Трудно передать, что творится у меня на душе. Быть может, если бы сердце мое было моложе и горячее, я просто с ума сошел...

«Цвела трава на земле, и небо было голубое, залитое ярким солнцем. А по земному лугу текла потоками алая

кровь, и грудами, высокими пластами громоздились человеческие тела в серых и синих шинелях. . .»

Владыкин сделал плавный жест и, устремив глаза вдаль, продолжал патетическим тоном:

— Вы, писатели и летописцы земли русской, окунайте ваши перья в ручьи человеческой крови, пропитайтесь безумием, которое царило на этой равнине, вдохните пламя, которое изрыгала адская канонада, — и тогда приступайте к своей работе, только тогда вы сможете описать эти ужасные картины. . . Люди, оставшиеся в живых, точно лишались языка и говорили какими-то дикими, хриплыми голосами. Глаза пылали страхом и яростью, и казалось, что в душе их кипит одно желание: кричать, кататься по земле и в яростных воплях проклинать этот страшный кошмар, который называется войной. . .

«Господа! Когда раскатываются орудийные выстрелы и трещат пулеметы, когда идут в наступление цепи серых стрелков и стонут раненые, — все мы должны ревниво хранить в душе и помнить, что для того оторвались мы от наших мирных занятий, для того воюем и убиваем, чтобы убить войну навсегда и уничтожить культ крови! . .

«Вражда не должна нас ослеплять, пусть ничто не помешает нам видеть, что и союзники и враги, все идут к одной, к этой единственной цели. . .

«За эту святую цель — и наша кровь, и наши бокалы!»

Звенят стаканы и рюмки, и мятежные мысли подчеркиваются шумными жестами.

— Кто это? — спрашиваю я у соседей.

— Друг Петрункевича, к.-д., — отвечают мне тихо.

Разгоняя всеобщую торжественность, неожиданно громко врывается голос Сережки:

— Говорю тебе, перестань, бесстыдник! Тут, брат, такие вопросы решаются, о нашей роли в истории говорят, а ты пьян, как дым. Так назюзюкался, что, когда мы в Галицию

придем всемирную историю переделывать, все панские свиньи будут кричат тебе: дзень добрый, Павлик.

— А я утверждаю, что война всегда будет! — настойчиво выкрикивает среди шума чей-то задорный голос.

— Мопс, замолчи! Дай старшим наговориться, — иронически сдерживают товарищи крикуна.

— Война чем хороша? — широко размахивая руками, выскакивает оратор.

— Сестричками.

— Врешь!.. Тем, что д-думать не надо... Идешь как лошадь в упряжке. Делай, что скажут, и никаких гвоздей...

Дом полон народу, точно в эту ночь никто и не думает о ночлеге. Денщики сбиваются с ног, приносят и уносят блюдо за блюдом, равнодушно прислушиваясь к офицерским речам.

В комнате шум и движение, как в трактире. Одни — только-что пришли и закусывают, другие — собираются уходить, наскоро допивают вино и, пристегивая портупеи и сумки, записывают свои имена в какую-то толстую тетрадь. Никто не знает, для чего это делается, но кто-то, незримо управляющий волей всех этих людей, заставляет повиноваться без рассуждений...

Незаметно налаживается хор, и гремит веселая песня. От выпитого ли вина, от речей или от ласковой ночи молодые голоса кажутся такими могучими и задушевными. Изредка заноет ущемленная мысль: неужели это война?.. И сердце тотчас же сладко сжимается от жалости ко всем этим Сережкам, Кешкам и Павликам, которые почему-то кажутся сделанными из такой хрупкой глины... И лишь когда пьяные, усталые лица позолотила заря, все разбрелись в разные стороны, чтобы больше, быть может, никогда не встретиться.

13.

Третьи сутки в походе. Война странно врезалась в мирный быт. Выступаем в такие ясные, погожие утра. Ползет туман над лугами. Красиво блестят озера, и стайками купаются утки в камышах. В чинной задумчивости бродят высокие аисты на лугу. Через дорогу перебегают белочки и шустро карабкаются по соснам. Крестьяне пашут...

Но земля всюду изрыта воронками, и свеже-притоптанные холмики, иногда увитые венками из полевых цветов, говорят о братских могилах, — о следах недавних сражений. Да жирное, черное воронье кружит над полями, да неубранная конская падаль, да сверкающие на солнце обоймы, гильзы и чугунные обломки стаканов... Кой-где торчат обгорелые скелеты домов. Впереди рычит канонада. Навстречу с утра до ночи тянутся бесконечные фуры раненых. У них либо тупые, угрюмые, одеревенелые лица, либо детские, радостно сияющие глаза и до ушей расплывшаяся блаженная улыбка. Первые неохотно вступают в разговор, ответы их односложны и пессимистичны. Все рисуется им в поразительно мрачных красках:

— Усе разбыто... Усі повтікали, сгінули... Він прёть, як скаженный...

От будущего они не ждут ничего утешительного. Но другим раненым все рисуется в розовом свете, и ответы их точно рассчитаны на щелкоперов ура-патриотической прессы. Шумливые, радостные, они бестолково размахивают руками и словоохотливо хвастают:

— Не сдержать ему против нас, не может того быть. И народу в его нехватит! Уж сколько его набили — и слов нет. Да и пужливый он больно. Только страх да плен в уме держит.

— А наши?

— У нашего солдата нрав легкий. Наш солдат в бой идет — радуется. У нашего солдата к бою сердце горит...

Такой отъявленный оптимист спешит поделиться своим

восторгом с первым встречным, старается излить свое воодушевление в потоках словесного героизма. А жадная рать «наших собственных корреспондентов» торопливо внемлет, благонамеренно упивается и строчит и брехуна публикует по двугривенному за строчку... Так создаются незаконнорожденные герои и слагаются мануфактурно-патриотические легенды в газетах.

... Вечером 27 августа пришли в деревню Бзовец, переполненную парками всех родов. Тут же 5-я тяжелая батарея, посланная в подкрепление правого фланга, откуда никак не удается выбить австрийцев. Воздух наполнен ликующим оптимизмом. Цветут и вянут всевозможные слухи. Рассказывают о бегстве австрийцев, о пожарах, о колоссальной добыче, доставшейся нам, но которой мы не воспользовались за недостатком перевязочных средств, и должны были спалить целые горы винтовок, ящиков, бочек и прочей клади. Солдаты, закутанные в австрийские одеяла, пьют чай у костров и лакомятся неприятельскими галетами.

Они болтают на языке, изобилующем бесцеремонными откровенностями и сопровождаемом такой жестикуляцией, от которой слова на губах и пальцах читаются прежде, чем они произнесены, и возбуждают столько беззаботного хохота кругом, как будто чаепитие происходит не на чужой стороне под двухсторонний грохот орудий, а среди деревенского покоя, убаюканного праздничным звоном колоколов.

Ночевал я в хате польского мужика, который докучал мне однообразными жалобами. Растерянный, под всхлипывание баб, рассказывал он, как обирают его солдаты, выкапывают до последней картошку и на горькие сетования, что ему нечем будет прокормиться зимой, пренебрежительно отвечают:

— Поляцка картошка не наша, чорт с ней, а ты хоть сдохни.

С жадностью слушал хозяин мои уверения, что казна заплатит за все убытки. Даже заплаканные бабы, забившиеся в угол, стали прислушиваться к моим обещаниям, которые я раздавал очень щедро, чтобы хоть несколько рассеять молчаливую, скрытную, но грозную враждебность этих людей.

— Дней десять назад, — рассказывали укоризненно бабы, — тут австрияки были; австрияки ничего не тронули, а свои обижают.

Утром, расставаясь с хозяевами, спрашиваю:

— Ну что, наши солдаты не обижали?

— Никак нет, эти добрые, не грабят.

Говорит и сам в землю смотрит, а старая женщина с белыми губами добавила злобно:

— Ты у них в мешках пошукай: сюда ехали, легкие были, а теперь поднять не могут!..

... Влажными клочьями низко висит туман на домах и на ветках. Крестьяне провожают тревожным напутствием.

— Мимо Китова осторожней: на той дороге все обозы обстреливают.

14.

... Мы все еще не воюем. Всё идем, меняем стоянки и хозяев и пробавляемся слухами, разговорами и монотонными приключениями.

До Творичева шли спокойно. По выходе из Творичева подлетел на мокром коне патрульный и с выражением предсмертного ужаса в глазах пролепетал:

— Так что кавалерия движется.

— Какая кавалерия?

— Не могу знать. Только, верно, австрияцкая.

— Откуда же ты знаешь, что австрияцкая.

— Да тут какая-то женщина видела двух австрийцев в лесу.

Моментально слух о кавалерии облетел всю колонну. Произошло замешательство. Людям скомандовали: налево кругом, и выслали конную разведку. Впереди выставили охранение с винтовками. Минут через двадцать разведчики донесли... что это наши казаки.

Погода все чаще сбивается на осень.

Миновали Заклодье-Суховец, большую деревню, разделенную на две половины быстрой и очень рыбной речкой Пор. Здесь простояли около часа, предаваясь ленивой забаве. Солдаты расселись на берегу и, бросая в воду крошки белого хлеба, смотрели, как целые тучи верховодки и пескарей набрасываются на разбухшие комочки и, урвав кусок мякиша, стрелой кидаются в камыши. Тут же стояли крестьяне и рассказывали о страхах, пережитых под обстрелом. Какая-то пожилая крестьянка, окруженная бабами и детьми, рыдая и всхлипывая, жаловалась на австрийцев, которые пришли с обозом на прошлой неделе к ней в дом и потребовали от сына:

— Дай коней и веди нас в Туробин.

Грозили револьвером и шашкой, пришлось повести. А через несколько дней под Тарнополем наши казаки захватили этот обоз, а вместе с ним и сына старухи. Теперь старуха боится, что сына сочтут шпионом и расстреляют.

— И сына убьют, и кони пропали, — громко голосила старуха, и ей подвывали другие бабы. Солдаты тоже выражали сочувствие старухе и любезно утешали ее обещанием разыскать ее коней. А когда мы уходили, старуха кричала нам вслед душераздирающим голосом:

— Ну и люди, накажи их бог! Столько хлеба задарма покрошили, а детям хоть бы шматочек отщипнули.

В Мокре Липе пришли в проливной дождь. Помещений нет. Ткнулись к ксендзу — домик весь переполнен, битком набит. Кое-как примостились обедать у ксендза на веранде. Как только загремели посудой, неведомо откуда вырос ране-

ный прапорщик в плаще. Маленький, серенький, вертлявый. Предпочитает отмалчиваться. Скупо и неохотно рассказывает о каких-то боях, где рота его попала в плен, а сам он ранен навылет в правый бок, но каким-то чудом успел бежать, когда другие сдавались. Говорит, что третьи сутки бродит в лесу без пищи. Однако, вид у него спокойный, и жадности к пище не обнаруживает. На войне «все отбившиеся от части» доверием особым не пользуются, и прапорщик знает это. Это чувствуется в угловатых движениях и неприятной деревянности тела; и глаза его постоянно прячутся за ресницами полуопущенных век.

Улучив минутку, когда прапорщик удалился с веранды, Ханов с конспиративным видом приблизился к столу и мрачно проскрипел:

— Ваше благородие! Прапорщик этот...

— Шпион? — рассмеялся Кузнецов.

— Так точно. На нем шинель австрияцкая. Сейчас подсмотрел.

Оказалось, что под плащом у прапорщика, действительно, синяя шинель. Но он хладнокровно объяснил нам, что свою он во время побега потерял, а ночью, от холода, в лесу укрылся подобранной австрийской, которую и присвоил себе. Чтобы это не бросалось в глаза, он накинул поверх шинели плащ. К вечеру прапорщик исчез, не прощаясь, так же внезапно, как появился.

Ночь провели в палатках. Было темно и пасмурно, и я совсем не заметил, как подошел ко мне Ханов и своим хриплым, скрипучим голосом что-то тревожное и странное рассказывал о прапорщике в австрийской шинели. Я мучительно вслушивался в его скрипучую речь и лишь с трудом улавливал надоедливое и пронзительно-звонкое: пра... пра... И вдруг Ханов замолк, и я проснулся от лихорадочной дрожи, пробегавшей по телу. Едва светало. Хрипло кричало воронье. Черной, тяжелой тучей они неслись туда, где вчера

гремел бой, и деловито выкрикивали свое скучное: кра-кра... Было ясно, что вчерашние позиции очищены, и сегодня нас двинут дальше. Где-то далеко влево уже бухали пушки. Вдруг у самой палатки раздался выстрел. Я вскочил на ноги. Мне показалось, что стреляют оттуда, где ночуют австрийцы. Но девять караульных, выпустив винтовки из рук, мирно храпели на соломе. Рядом с ними, вповалку, лежало человек сорок пленных. От холода все тесно и братски прижались плечом к плечу, и никто о побеге не помышлял. Кто ж это выстрелил? Не вчерашний ли прапорщик забавляется?

...По вязкой, грязной дороге с трудом дотащились до маленькой, жалкой деревушки со странным названием: Завалье-Загробье. Название больше самой деревни — острили солдаты. Заняли домик у дороги. Чистая, беленькая светелка с окнами в палисадник, с поникшими астрами и пионами. Прямо из палисадника виден городок Туробин, сожженный австрийскими снарядами. Городок довольно большой, с костелом и церковью, с двухэтажными каменными домами, от которых сейчас остались обожженные дымоходы и железные стропила балконов. Вдали полукругом раскинулись высокие горы, откуда вчера еще обстреливали Туробин австрийцы.

В деревне пусто и бедно. Улица усеяна гильзами, пустыми обоймами и осколками шрапнели. Луг весь в воронках. Издали гулко доносится привычное буханье канонады. Все привыкли — и солдаты, и жители. Гремят орудия, белеют дымки разрывов, вспыхивают огненные зигзаги орудийных раскатов и зажигают заревом небо, а люди с будничным спокойствием работают, едят, ругаются, шутят. Еще на прошлой неделе я не понимал, для чего солдаты тащут в окопы солому и сено и думают о житейских удобствах, когда через час-другой половина их, быть может, умрет. А теперь я

отлично знаю, что человек не может вечно думать о смерти, и те часы, которые остаются ему для жизни, он хочет прожить как можно легче, удобнее и беззаботней.

Да. Но эти удобства приходится отрывать зубами у населения. Никому нет дела до наших «патриотических» подвигов. Мы два враждующих мира: солдаты и население. Отношение к нам недружелюбное, злое. У жителя, у этой мрачной фигуры с боязливым и беспокойным взглядом, ничего не выпросишь и даже за плату не добьешься. Отчего? Не знаю. Может быть, и им надоело сражаться со своими солдатами на собственной земле? Кланяются с невыносимой приветливостью, но на каждом шагу дают тебе чувствовать, что с тобой воюют. Те, что сантиментально идеализируют войну и витийствуют в газетах о радостных встречах с хлебом-солью, увы, определенно лгут. Из-за каждой картофелины, из-за сбитого солдатами яблочка поднимается убийственный шум, бегут жаловаться командирам, вопят, что их разорили. И нам в укор постоянно ссылаются на гуманность австрийцев, рассказывая, будто те им и поля обрабатывали на своих лошадях, и хлебом своим кормили, и ни одной травинки не тронули; а мы-де все грабим, воруем и разоряем. И какие взгляды при этом бросают в нашу сторону. Кто разберет, что таится за этой ненавистью? . .

Конечно, мало приятного в сменяющихся потоках солдат, когда одна волна насильно вытесняет другую, и все уносит, смывая налаженное годами хозяйство. Но было бы очень рискованно утверждать, что война не приносит «мирному жителю» ничего, кроме разорения. Разве мы не платили за скот, за птицу, за сено, за все корма? А гужевые работы? В теории все это оплачивается и оплачивается совсем не скупо. А мародерская прибыль? Погреба набиты винтовками, подобранными на полях после боя. Солдатские ранцы, шинели, подсумки, сапоги и прочая аммуниция — ведь это все очень ходкий товар во всей прифронтовой полосе.

Кто-то и здесь «кулачит», и тут, на фронте, умеет вымаклачить копеечку на человеческом горе и крови... В каждой деревне десятки мародеров «трупятников», обирающих мертвые солдатские тела, которые потом по суткам валяются неубранными. По ночам по всем дорогам тихонько прокрадываются крестьянские подводы, где под сеном лежит награбленное у мертвых «добро». Понятно, бросая эти крохи, война не спасает всего остального населения от ужасов боевого разгрома.

Когда идет бой, деревня скрывается в погребах и картофельных ямах. Это особые подземелья, вырытые в здешних горах на протяжении многих десятков саженей. В них все заготовлено для долгой осады, начиная от хлеба и воды и кончая оружием. В двух таких ямах солдаты откопали до сорока винтовок с патронами. Очень похоже на то, что при тщательных поисках в этих ямах с картофелем можно обнаружить целые арсеналы.

... Чуть светало. На западе уже гремели пушки. Восток нежно алел, обливаясь теплою кровью. Утренний ветер шелестел в оголенных деревьях, и воронье стаями штук в полтораста неслось на запад.

А светлая осень льнула к умирающей земле. На березках струились и трепетали золотые зазубренные кружочки. Человек восемь крестьян с лопатами и холстами шли в том же направлении, куда летели вороны; шли хоронить убитых. За ними, весело махая хвостом, бежала деревенская Жучка. Я спросил: где рвутся снаряды?

— Там, за горкой, в лесочку, где хоронят...

И пошли дальше спокойно и деловито, вероятно, не думая о смерти.

Сегодня штаб дивизии передвинулся из Туробина дальше. В полдень канонада утихла, и мы в большой компании чу-

жих офицеров осматривали окопы. Маскировка приводила пехотинцев в восторг. Вся передняя насыпь (эскарп) укрыта ветками и травой. Сверху сплошные, крепкие крыши из массивных бревен и досок, сбитых большими гвоздями и плотно утрамбованных глиной. Внутри, в глубине, просторные, четырехярусные окопы, слитые узкими коридорами и рвами в длинные ряды извилистых галлерей, которые тянутся вплоть до самого леса. Поближе к лесу окопы маскированы клевером и гречихой. Местами окопы разворочены, и видны торчащие из них доски, обломки сараев, палисадников и чугунной кладбищенской ограды. Всюду ломаные винтовки, стаканы, окровавленные фуражки на одиноких крестах, австрийские патронташи и гильзы. В некоторых окопах устроены лежанки для перевязок, и сверху даже прибиты куски картона с именами врачей. Большие ржавые пятна и клочья ваты и марли говорят, что работа была большая.

Мы идем по зигзагам окопов, и кто-то задумчиво произносит:

— Пишут, пишут умные книги, а чуть что — полезай в яму и жди в ней погребения как дохлая лошадь.

— Д-да, хитрая штука, — отзывается Кузнецов. — Выходит шайка разбойников, она так и говорит: грабить идем. А идут на грабеж солдаты — тут и умные книги, и отечество, и родина, и проблемы... Видно, под умные слова легче потрошить людей.

— Ну, пошел хлебом-кашей кормить, — лениво отмахивается равнодушный Климович. — Об этом и говорить не надо. Мы же в парке: едим, пьем и никого не хороним.

— Эге! — продолжает иронизировать Кузнецов. — Наша самая поганая служба и есть. Мы — как трактирщики: сами не пьют, а других спаивают. Наш брат, парковый, круглые сутки пудами смертью торгует. Самый вредный народ на

войне. Не подвезет снарядов — и крышка. И воевать больше нельзя.

— Ну, так что ж, что возим? — огрызается Климович, — мы, значит, только ломовики, деревянные батарейцы. Извозчики, а не офицеры. По-вашему и кашевары воюют, и доктора, и обозные, и сестры?

— Не-не, вы косынкой не прикрывайтесь. Небось, сами разницу знаете между ездовым и сестрой? Сапоги и каша одно, а гранаты и шрапнели другое. Спросите-ка интенданта, он вам скажет, в чем приятности больше: в сапогах или гранатах?

— Все это пустяки, — говорит веско пехотный офицер. — Попал в парк — и сиди, да господа-бога за житье благодарствуй. А настоящая-то война только тут, в этих ямах, где вшей пасешь и казенный хлебушко чавкаешь... Штык победу решает...

— А артиллерия, по-вашему, ничего не стоит?

Затем завязалась горячая батальная полемика, полная характерных черточек и батальной бутафории, без которой не обходится ни один разговор между артиллеристами и пехотой. Посыпались жалобы на кавалерию, которая никуда у нас не годится и разведочной службы нести не умеет.

— Австрийская конница — та великолепно ведет разведку, в тыл забирается, всюду рыщет и нюхает, все знает: и расположение наше, и сколько у нас войск, и какие части. А наш Кирилка безграмотный — ну куда он годится? Ни карты, ни компаса не знает, плана нанести не умеет, названья путает...

— А казаки? — заметил кто-то.

— Нашел чем хвастаться. Казаки! Казак — отличный наездник, хорош в атаке, в бою, а в разведку пошлешь его, он по халупам девок щупает...

— Австрийцам легко разведку вести, — заметил с раздражением защитник казаков, — им все евреи помогают.

— Чепуха это все, — вяло возражает Климович. — Напускают на евреев, привыкли все беды на них валить.

Всю ночь шел дождь. Палатки намокли, дороги в лужах. Грязно, холодно, хмуро. Но по всей деревне какое-то странное оживление. Допытываюсь у крестьян, в чем дело. Все в один голос твердят:

— Кажут, хранцуз прусса разбил.

— Кто сказал?

— Туробинский слесарь.

На лицах евреев, пугливо метавшихся по местечку, я читал какую-то жалкую растерянность. Я долго бродил по грязным, полуобгорелым кварталам, наблюдая, как согбенные, старые евреи, покорно уступают дорогу каждому солдату, как заискивающе выслушивают каждый вопрос и вздрагивают от каждого сурового слова. И под конец мне стали чудиться какие-то погромные призраки. Мне казалось, что казаки слишком нагло указывают пальцем на еврейские лавки. Мне вспомнилась ненависть, с которой кругом говорили об евреях. И вдруг я понял страдальческое выражение еврейских лиц. Здесь, на войне, ненавидят только евреев. Начальства боятся, неприятеля убивают, поляков ругают, а евреев преследуют с беспощадной ненавистью. Любое еврейское местечко, в котором расположились солдаты, это — воистину город проклятых. Кто видал эти тощие фигуры, эти приниженные лица, полные ужаса глаза, — тот знает подлинный ад, со всеми его муками.

В тесной конурке нашей стоял дым коромыслом. Играли в карты, бренчали на гитаре, спорили. Мне было все равно. Скинув наскоро платье, я повалился на кровать. Убирая грязные сапоги, Коновалов успел мне сообщить:

— Ваше благородие, увечером завтра, в шестом часу, выступление.

15.

... Вещи были уложены, чай допит. Торопливо отдавались последние приказания: подпруги затянул? Термос в кабуры положил? В эту минуту с сумкой через плечо и в шинели, высоко перетянутой ремешком, ввалился Ханов и мрачно доложил командиру:

— Ваше благородие, жиды из местечка до вас крайность имеют, видеть желают.

— Гони их в шею, — раскричался командир. — Скажи, что выступаем.

— Я им говорил, а они свое ладят: очень дело большое. И рабин с ними.

— Ну, зови их, пускай войдут.

В комнату вошли три древних еврея. Один сухой столетний, трясущийся. Все трое больше похожие на привидения, чем на людей. Белые, в длинных балахонах, они повалились в ноги офицерам, и самый древний с длинной дожелта седой бородой, торопливо зашамкал, что в Туробин вошли казаки и грабят еврейские лавки. Жители умоляют вмешаться и прекратить погром.

Лица у офицеров вытянулись, окаменели. Жестким голосом командир повторил два раза:

— Мы ничего сделать не можем. Вы видите — мы уходим.

— Пане, я вас прошу, вы только выйдить до них, — твердил умоляющим голосом старик.

— У казаков свое начальство. Просите его.

Но старцы не уходили. Перебивая друг друга, волнуясь и через силу, но с твердой верой в правоту своих слов, они бросали в лицо нам тяжелые упреки, горько кричали о жестоких солдатах, о жертвах, о невинных младенцах.

Было невыносимо тяжело смотреть, как эти старцы валялись в ногах и тощими руками удерживали уходящих офицеров.

— Як не вы, то хто же... хто же нас буде ратовать? Наши диты тэж на вòйни бидують. А нас грабують... ваши жолнежи нас грабуютъ...

Офицеры молчат. Три старых еврея, кряхтя, поднимаются с пола и молча уходят.

Как мучительно тихо в комнате! Я вижу в окно трех стариков в развеваемых ветром капотах. Напружив сгорбленные костлявые спины, они плетутся в гору, к Туробину.

В комнате снова суета. Входят, уходят, распоряжаются. Громко разговаривают о фураже, о подковах.

— А не послать ли туда дюжину ездовых с нагайками? — бросает задумчиво Кузнецов.

— Все равно, — отвечает уныло командир, — этих прогоним, через час другие начнут.

Я смотрю на запад, где грохочут орудия.

— На коней! — несется команда адъютанта.

СЕНТЯБРЬ.

1.

...Вторые сутки стоим в помещичьем доме. Мимо нас проходят транспорты и обозы, а мы все стоим. Место унылое, сырое. Деревня бедная, разоренная долгими стоянками австрийцев и наших. Жители забиты, напуганы. Днем рыщут в поле, подбирают гнилую солому из окопов.

С вечера деревня погружается в жуткую тьму. Та-та-та, та-та-та — доносится стрекотанье пулемета. Мокрые луга тяжело дышат туманом. Только над обозною кухней выделяются керосиновые факелы и, то укорачиваясь, то удлиняясь, разбрасывают тревожные искры. Проходит час, два — и тухнут последние признаки жизни.

— Обесчувствели, — говорит Коновалов.

Через весь наш лагерь иду в гости к хозяевам. Иззябшие солдаты спят под возами и в намокших палатках. Лошади, чтобы согреться, прижимаются тесно одна к другой и стоят, понурив большие умные головы, тоже погруженные в печальные думы. Часовые, изнемогая в борьбе со сном, тупо всматриваются в гнилую тьму и, взбадривая спящую мысль, решительно звякают винтовкой. Только из помещичьего дома сквозь закрытую ставню тянется мягкая серебряная полоска, и смутно доносятся медленные, недоговоренные слова.

Вхожу в столовую под радостный лай собак и громкие приветствия хозяев. Хозяева — пожилые, милые люди. Мужу пятьдесят три года, жене — сорок восемь. Со вчерашнего дня я знаю всю их родословную. У пана Компельского три сына. Старший окончил сельскохозяйственный институт и юридический факультет, занимался сельским хозяйством, но имение его (поблизости) сожгли, разорили, и сейчас он уехал в Люблин. Средний кончает академию художеств в Петрограде. Хорошо рисует; специалист-архитектор. Младший — студент-медик в Лозанне. Дочь замужем за московским приват-доцентом.

Дом большой, просторный, уютно обставленный. Типичное польское гнездо. Стены в портретах. Над камином бюсты Мицкевича и Сенкевича. Тут же неизбежный Собесский и Костюшко. У последнего прекрасное лицо, лучше, чем обычно на олеографиях. Широко раскрытые глаза устремлены вперед и точно стараются в скорбях грядущего предугадать судьбу своего народа.

— Работа сына, — не без гордости роняет старик.

Пан Компельский учился в русском университете. Говорит без акцента по-русски. У него веселое лицо и ласковый тон хозяина-хлебосола. Он рассказывает, что дней за восемь до нашего прихода у него стояли австрийские офицеры и хвастали: заставим русских подписать мир в Петербурге.

А через три дня удирали во все лопатки. Он высказывает много соображений об исходе этой войны и ко всему относится с умудренностью человека, для которого все элементы всемирной истории просты и непреложны, как голод, как неизбежность, как смерть.

— Будет — что будет, — повторяет он равнодушно. — У жизни всегда есть свежая бочка хорошей старки.

Оттенок меланхолического остроумия лежит на всем, что говорит этот приятный, умный старик, проведший, должно быть, много часов со своими старинными, переплетенными в толстую телячью кожу, польскими книгами.

Когда я отстаиваю программу союзников, он, как человек давно излечившийся от предрассудков, иронизирует:

— Э, пан доктор, сейчас — как в госпитале: ни погон, ни чинов, все в больничном халате. А как встанут с постели, забудут все обещания и опять вычеркнут эти хорошие слова: равенство, малые народности, возрождение Польши... Будет — что будет, пан доктор.

Мне отведена комната во флигеле, где царствует пахучая тишина старины, и маятник глухими певучими ударами лениво подтачивает время. На всех вещах этой комнаты лежит печать цветистой задумчивости, родственной воззрениям хозяина. Они что-то давно постигли, давно примирились со всеми временными нелепостями жизни, и лежит на них тот же дух остроумия и сдержанной грусти. Особенно занимают меня эти старинные часы, из сокровенной глубины которых с каждым протяжным вздохом маятника седое время задумчиво поддакивает седеющему пану Компельскому:

— Будет — что будет...

В начале шестого часа меня разбудил ординарец Ковкин, который привез предписание от командира бригады: спешно передвинуться в Обшу и присоединиться ко всей бригаде, явившейся недавно из Киева. Путь предстоял далекий —

через Грудку — Горай — Радечин — Абрамовку — Терешполь — Костельную — Луковку — Бабицы и целый ряд фольварков. День стоял ясный. Дорога подсохла. Мы шли по полям недавних боев. Горбатым зигзагом тянулись по равнине окопы — немые свидетели вчерашних трагедий. Но все кругом — и солнце, и люди, и зеленые луговые ковры — радостно улыбалось.

Третий день все идем, идем по грязным дорогам. И в зависимости от того, хлещет ли дождь, светит ли солнце, мы чувствуем себя то пламенными освободителями угнетенных народов, то праздными и жестокими угнетателями. Миновали Фрамполь — грязное еврейское местечко, нищее и голодное, с перепуганными долгополыми евреями и улыбающимися девушками в шелковых ажурных чулках. Одолели песчаные косогоры у Соколовки, зарезали лошадей (у некоторых кровь так и хлещет из ссадин под хомутами), замучили людей и погрузились в скучное безразличие. Мелькают люди, как тени; падают лошади; валяются по дорогам походные кухни, ящики, двуколки. Изредка попадаются выжженные дотла деревни. Но все это не трогает, не волнует. Война совершенно утратила свой патетический смысл и превратилась в серые тяжелые будни. И чем сильнее усталость, тем больше злости и раздражения в солдатах. Выступает наружу неодинаковость этих сотен людей, сгруппированных в одну единицу. «Часть» распадается на части, и целое перестает быть целым. «Чтобы армия могла воевать,— говорят французские полководцы, — у каждого солдата должно быть в желудке по фунту мяса». К этому следует добавить: и по восьми часов крепкого сна перед боем. А мы встаем на заре и до глубокой ночи барахтаемся в непролазной грязи, греемся у костров из деревенских заборов и ночуем в сараях, где тухнут свечи от ветра...

...Идем через Белгорай. Старый, но очень приветливый городок с мощеными улицами и двухэтажными домами. Много лавок и вывесок. Любопытные лица. Толпы детишек бурно выражают свои восторги. Кажется, это первый случай радостной встречи. На перекрестке две старые бабы поднесли нам лукошко незрелых яблок. (Вот и толкуйте, что мир не нуждается в военных героях, и что Цезарь с Наполеоном — только честолюбивые убийцы!)

Странно: солдаты не любят городов и, кажется, смотрят на них, как на прозаическую безвкусицу. В каждом их слове слышится деревенская непримиримость.

— От камня дыхнуть не можно... Защемили камнями землю, позабивали травку и жмутся друг ко дружке как тараканы, — повторяют они с видом людей, убежденных, что истина только в деревне.

Толстой прав безусловно: война чрезвычайно располагает к мысленным диалогам. Каждый из нас, если не склонен к беседам с самим собой в стиле Андрея Болконского, во всяком случае ведет в уме свой дневник.

Иногда мне удается поймать налету загадочную солдатскую фразу:

— Н-не... теперь дураками не будем... винтовок начальству не отдадим...

— Супротив кого война надобна! Для ча весь свет пушками рушить! Больно народу много на земле развелось, бедных людей истребить хотят...

Услышишь мимоходом такую фразу и невольно потянешься к солдатам. Но когда к ним подходишь, они отмалчиваются или, крепко выругавшись, больно настегивают лошадей: Н-но, стерва!.. И еще острее почувствуешь свое одиночество среди этих сотен людей.

Пробовал я навязываться с беседой. Подхожу к рыжеусому номеру и задаю обычный вопрос:

— Какой губернии?

— Курской.

— Женатый?

— А как же.

— Об доме скучаете?

— Кровь-то родная. Троих деток оставил.

— На войну итти не хотелось?

— От войны, как от смерти, не спрячешься. Через всю Россию война раскинулась.

И, стиснув зубы, он сплевывает и спрашивает официальным тоном:

— Дозвольте, ваше благородие, закурить.

Я чувствую себя дурак-дураком и подхожу к другому:

— Земли много? До войны жилось хорошо?

— Наше житье известное: хрестьянское. В бедноте, да в тесноте.

И всюду натыкаешься на это сухое и неприветливое недоверие, на каждом шагу встречаешь явное желание повернуться к тебе спиной. Солдат не враждебен, не зол, а замкнут или глубоко равнодушен к офицеру. Нет в нем любопытства к нашей жизни, и не хочет он, чтобы мы читали в его душе. Шагает он большими шагами, рядом с нами, делает все, что прикажут, услужлив, понятлив, но в глазах ни искорки братского сочувствия. А подслушаешь издали — смеются, хохочут, говорят. И ловишь изредка налету:

— Ой-ой, что буде! Растопили душу крещеную, как жаркую печь, большой покос себе уготовили... Дай только замирения дождаться.

Только Асеев иногда удостаивает меня откровенным словом и поощрительно говорит:

— Ты, ваше благородие, солдат понимать выучись... Ты ему каплю жалости, а он тебе морем любви ответит.

Да Коновалов другой раз скажет многозначительно:

— Мужик усё понимает. Промеж нас тоже есть которые растолкованы...

И невольно вспоминаешь Толстого: как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, весна осталась весною...

2.

...Дождливо, грязно и холодно. Еду в санитарной линейке — стопудовой колымаге, которую с трудом передвигает четверка артиллерийских лошадей. Скрытый полотнищами линейки, я прислушиваюсь к разговору солдат. Тема самая злободневная: замирение.

— А ему ты думаешь сладко? А ему-то, мед, по-твоему, вошь в окопе гонять? — горячится кто-то из спорщиков.

— Не, не скажи. Наше дело куда жестче выходит. Первона-перво немцу все помогают: ему австрияк, ему и турка. Турция, вон, супротив России войну открыла. У немца начальство хитроватее нашего будет. Немцы все башковитые, без помехи работают...

— Ему Турция, а нам Италия помогает. Итальянец почище турка. И австрияку спуску не даст. Австрияк — видишь, какой он есть: шинелишка ветром подбитая, ноги тесьмой замотаны. Разви можно? Такой от холоду сдохнет. Здоровая баба такого раздавит.

— Правильно. Мне жидок один сказывал: замирение скоро. Да ён вишь торгуется. Наше министерство требует всю выплатку (контрибуцию) за два года, а ён хочет рассрочкой — на двадцать лет.

— Ду-урак, ты дурак! Ты думаешь немца кто пересилит? А ни одна нация в свете! Ты не считай, что он теперь отступает. Это он крутит, кровь полирует. У него, окромя как вредного, ничего в голове и нету. Скотину всю свел, корма забрал. Австриец тоже!.. Фуражка ковшом, а глаз лютый. Мне мужики передавали, отходил — грозился: скажите русским, хорошо они угостили нас, но и мы же их угостим, когда к нам придут.

— Чего зря загадывать. Не сгинет русский мужик. И немца как бить — дознаемся, силу его одолеем.

. . . Для войны нужна ненависть, а нашим солдатом владеют какие угодно чувства, но только не ненависть. И вот ее старательно прививают. Дни и ночи толкуют нам о шпионах. Сочиняются всевозможные небылицы, и офицеры соперничают друг с другом в измышлении ужасов предательства. То открыли шпиона-телефониста под половицами в синагоге, то у ксендза на крыше, то наконец в могиле на кладбище. Образовались особые физиономисты, которые узнают в любом обывателе шпиона по голосу, по выражению лица, по отвисшей нижней губе. У этого тусклые глаза и мрачный вид, значит его огорчают наши победы — подозрительный. Тот высказывает чрезмерную радость и хочет втянуть вас в разговор — подозрительный. Иной возбуждает подозрение излишней сдержанностью, иной — предприимчивостью, иной — осмотрительностью, иной — суетливостью, иной молчанием и спокойствием. И достаточно тени подозрения, чтобы сделаться жертвой шпиономании. Жертвой невинной и заранее обреченной. Ибо для этих несчастных установилось особое правосудие — беспощадное, быстрое и непреклонное.

Дня не обходится без хановского «шпеона поймали». И незаметно все превращаются в Хановых, даже наш умный командир. Сегодня в Рожанце разыгралась такая сцена. Мы остановились в училище. В комнате рядом с нашей находился телефон нашего корпуса. Не успели мы расставить кроватей, как в помещение вошел забрызганный и промокший от ливня поручик и прямо направился к телефонисту, засыпая его рядом вопросов:

— Где штаб корпуса? Далеко отсюда? Проволока у дороги проложена? Направо или налево от дороги? . .

— Ишь ты, — всполошился наш командир бригады, — о чем расспрашивает! А говорит с акцентом. Г. поручик! —

крикнул он строгим тоном. — Разве вы не видите, что в помещении находятся старшие офицеры?

— Виноват, г. полковник, я очень тороплюсь и не заметил. Прошу извинить.

— Кто вы такой? О чем расспрашиваете?

— Поручик Церетели. Послан из штаба 17-го корпуса со срочным донесением в штаб 25-го корпуса. Расспрашиваю, как проехать в штаб корпуса.

— Ваши документы?

— У ординарца. Прикажите позвать, г. полковник?

Явился молодой белобрысый солдат и — о ужас! — на первый же заданный командиром вопрос ответил: не могу знать — с каким-то чужеземным акцентом.

— Ты кто такой? — накинулся на него ястребом командир.

Мне самому показалась загадочной вся эта история. В то мгновение я почти не сомневался, что ординарец типичный немец и с любопытством посмотрел на поручика.

Стройная, мужественная фигура; привлекательное матовое лицо грузинского типа; и в глазах, наполненных гневом, достоинством и благородством, веселые огоньки.

— Г. полковник — обратился он к командиру, — прошу вас, меня расспрашивайте. Мой ординарец плохо знает по-русски: он латыш.

— Ах, латыш, — смутился немного командир и погрузился в чтение предписания.

— Вы не родственник Ираклию Церетели? — задал я вопрос поручику.

— Это мой двоюродный брат, — не без гордости ответил грузин.

Через минуту инцидент был исчерпан, и все позабыли о нем. Вечером из бесед с денщиками мы узнали, что на телефоне случилась порча, и повидимому умышленная, так как

проволока оказалась срезанной на протяжении нескольких аршин.

— Вот! — встрепенулся командир. — Недаром мне физиономия этого прохвоста показалась такой подозрительной. Какой он грузин. Это турок. Типичный турок. Я же их во́ как знаю. И голова вся бритая, как у турка. А главный-то, конечно, не он, а тот второй, немец. Понимаете, какие мерзавцы: прямо отсюда в лес поскакали, перерезали проволоку и айда дальше!

— Евгений Николаевич, — пробуют возражать командиру, — ну какой смысл рисковать им двумя офицерами из-за перерезанной проволоки, которую ничего не стоит исправить.

— Здесь проволоку перережут, там парк со снарядами подорвут, там бомбу бросят. Видали, как кобуры у них набиты?

«А лошади какие! Картинка. И посадка не наша. Типичные немцы. Я же их во́ как знаю! Вы понятия не имеете, что это за шпионская нация. Когда строилась крепость Осовец, умер полковник, заведывавший постройкой. Был назначен другой. При вступлении его в должность ему представлялись — сперва все офицеры, а потом пошли штатские. Первого же из них командир спрашивает:

« — Вы кто такой?

« — Главный подрядчик.

« — Ваш паспорт?

« — При себе нет. Сейчас.

«Ушел и был таков. Оказалось: германский подданный.

«А вот вам второй случай. Был назначен к нам в часть, в том же Осовце, некто по фамилии Шварц. Говорит великолепно по-русски. Из приволжских губерний. Человек удивительно способный. Ловкий парень, танцор, рассказчик анекдотов. Мастак на все руки. Устраивается солдатский спектакль — он главный затейщик и актер. Надо декорации

рисовать — Шварц. Даже в офицерском собрании — нехватает любителя: — Шварц. Говорун, патриот до последней пуговки, ведет нравоучительные беседы со всей дивизией. Попадает вскоре Шварц в канцелярию, и оказывается — все у него кипит в руках, все знает, везде необходим. Через месяц Шварц в управлении и, конечно, становится там нужнейшим человеком. В один прекрасный день, когда старший офицер рылся в шкафу, его неожиданно вызвали к инспектору артиллерии. Вышел — никого нет. Искал-искал. Пришел, а в канцелярии Шварца уж нет. Приказывает: позовите Шварца. Ищут, ищут — и след простыл. А вместе со Шварцем и секретные документы из шкафа».

В биографии каждого офицера, начиная с капитанских чинов, обязательно имеется эпизод со шпионом; а если нет собственного шпиона, то его спешат одолжить у ближайшего начальства. И почти все свободные от похода и карт минуты проходят в разговорах о встречах со шпионами, предателями и изменниками, которые почему-то убегают в самую последнюю минуту, оставляя рассказчиков в дураках. Если все эти разговоры ведутся для внушения бдительности молодым офицерам и для разжигания ненависти к немцам, то рецепт этот следует признать не особенно удачным. Лекарство превратилось в отраву, и вот результат: убеждение во внутренней гнилости военного аппарата и глубокое недоверие к населению. Жителям не верят, оскорбляют их и угнетают на каждом шагу.

Сегодня с утра приказано было населению Рожанца доставить с каждой хаты по хлебу. Рожанец — большое село с широкими зелеными улицами и большими садами. У жителей все есть, все продают, кроме хлеба. Поспевая за артиллерией, мы оставили далеко позади все интендантские магазины и хлебопекарни и вторые сутки сидели без хлеба. Есть чай, есть масло, есть птица, а хлеба нет. Солдаты ропщут. Два раза обращались через солтыса (старосту) к на-

селению — ответ один: «другие части забрали». Офицеры решили: пойдем по деревне сами. Потянулись двумя артелями от хаты к хате: так и так, пожалейте, солдаты изголодались. Хозяева слушают, сочувственно пялят глаза и отвечают слезливым голосом: сами который день без хлеба сидим, детей покормить нечем. Обошли пол-села — так называемый польский Рожанец. На другой половине живут русины. Это часть села выглядит еще зажиточнее. На зеленых улицах стада гусей. Сады — как парки. Широкие аллеи столетних лип, высокие березы и ясени. Жители в национальных костюмах. Мужчины в длинных полотняных рубахах, перехваченных сбруйчатыми поясками, и в коротких расшитых казакинах; женщины с гривками на лбу и странными наколками на макушке. Уже издали встречают нас унылым взглядом и тупо твердят: «ни, нима хліба. . .»

— Дозвольте нам самим поискать, — обратились к командиру солдаты.

— Ищите, — последовал выразительный ответ.

И через полчаса хлеб был у всех на столе. Но со всех концов потянулись бабы с плачем и воем и с доносами на соседок, что у той, мол, «полны стодолки, а ничего у нее не берут, тогда как у нее, у ограбленной, — муж на войне и весной засевать нечем будет».

Солдаты хмуро отмалчиваются:

— Пускай плачут. Москва слезам не верит.

А некоторые нагло смеются:

— Кто проворен, тот доволен. Кто зевает, тот воду хлебает.

В одной кучке пожилой солдат с видом бравого унтера хвастливо рассказывает:

— Зачем бить? Я, брат, хожалый; иное слово — страха страшней. Вошел в избу — завыли бабы, головой бьются, ровно суд страшный. «Да вы что, злыдни нечистые, вы думаете, я грабить пришел? Нету — так нету. Я только кре-

стиком дом помечу, где для русского войска хлеба нет. Пущай знает начальство...» Сразу, брат, обмякли. В зубы хлеб так и тычут: на, бери! И денег брать не схотели. А просить? Чего уж! Просьбой сыт не будешь...

Кому не нравится проза войны, тот пусть обращается к ее поэзии. А ее так много во всех военных приказах. Наш умный командир постоянно нас наставляет: прежде чем ложиться в постель, ознакомьтесь основательно с последним приказом. Иногда приказы эти читаются вслух под общий хохот собрания.

Сегодняшний приказ по армии обращает внимание врачей, что немцы имеют в своем распоряжении культуры холерных вибрионов для отравления колодцев... У кого слабые нервы, тот пусть во всем положится на волю предусмотрительного начальства.

Возле нашей квартиры под окном все время рычит и воет двадцатилетний идиот. Он из соседней деревни, которую спалили снарядами. Глухонемой от рождения, с ногами, согнутыми в коленях, он ходит, как птица, в припрыжку, подбрасывая ноги. При этом он нелепо балансирует в воздухе длинными, цепкими руками и покачивается туловищем как дирижабль. Безбородое лицо искажается гримасами. Он беспокойно воет по-собачьи и мычит как теленок, протяжно и жалобно, или издает долгие, хриплые звуки, заканчивающиеся странным визгом, непохожим ни на один звериный крик. Он подползает к каждому солдату и, указывая рукой на валяющиеся стаканы, другой рукой тычет в направлении гор, испуская дикий звериный рев. Может быть, он делится впечатлениями, впервые поразившими его слабую голову? Местные жители говорят, что во время самой ураганной пальбы этот бесстрашный уродец прыгал по улицам, с воем гонялся за падающими снарядами, хватал осколки и похлопывал себя ими. Когда разрушались дома, валил дым из горящих зданий, он шумно жестикулировал. И только когда

увидел, что люди падают мертвыми, что раненые обливаются кровью, он на минуту притих. Немой, не издававший ни единого звука, он бросился с криком к первой же разорвавшейся шрапнели и с тех пор, не переставая, рычит и воет по целым дням.

3.

...В девять часов вечера получен торжественный приказ о переходе дивизии через границу; вместе с тем предписано передвинуться и нашей бригаде в деревню Ковали, расположенную в Галиции. На рассвете седьмого сентября мы выступили из Рожанца и попали под мелкий, густой, холодный дождь. Было грязно, тоскливо и пасмурно. По липкой дороге, глубоко и густо продавленной тысячами конских подков и тяжелых артиллерийских повозок и ящиков, медленно тащился наш парк. Вправо и влево от дороги тянутся мшистые луга, одетые кустарником и ржавыми кочками. Всюду валяются бинты, пропитанные кровью и сорванные, быть может, в предсмертной муке. Вместе с нами тяжело ступают солдаты охранной роты, сопя под тяжестью ранцев, накрывшись мешками, палатками и попонами. Идем час, два. Люди устали в борьбе с клейкой дорогой и с трудом двигают облипшими грязью ногами. Вошли в лес, вновь вышли на дорогу, миновали сожженную деревеньку, перешли через мостик — и перед нами полосатый австрийский столб, таможня и первая австрийская деревня Буковец. Так 7 сентября, в 11 часов 20 минут утра, ровно месяц спустя после отъезда из Киева, головной парк *** артиллерийской бригады перешел границу и вступил завоевателем на австрийскую почву. Ни одушевления, ни готовности умереть прекрасною смертью храбрых на лицах солдатских не читалось.

Поздравление командира было принято как простой оборот речи, приглашающий к передышке. И через минуту в

воздухе, обесчещенном матерной бранью, звенели начальственные окрики:

— Рассупонивай, рассупонивай!.. Попонами покрывайте!.. Под ружье мерзавцев поставлю, у кого хвосты не закручены.

...Та же Польша! те же луга, перелески, картофельные поля, одинокие фольварки и длинные, многоверстные деревни. Но лица и костюмы другие. И грязи и блох гораздо больше. О, какие ужасные, свирепые блохи — «с кобылицу ростом», как говорят солдаты. В разговорах чаще всего слышится протяжно-ленивая русинская «мова». Встречают нас всюду ласково и приветливо. В первый день мы остановились на ночлег в хате русина Петра Жука. Уступили нам все лавки, постели, чистое белье постелили, угостили хлебом, маслом, творогом, солью, а от денег отказались, ни за что брать не хотели. То же по всей деревне. Встречают солдат как дорогих гостей, так что даже у Ханова не нашлось ни одной пессимистической нотки.

— Люди здесь все тилегентные, все жизненные порядки ведут, как нужно, — объявил он нам за обедом.

У детей ни малейшего страха. Все дни они проводят в солдатском обществе.

— Силом не отгонишь, — говорят наши денщики и иной раз шутливо покрикивают на детвору:

— Ой гляди! Не уйдешь — австрияков позову: достанется тебе.

Есть у нас свой «офицерский» друг — пятилетний Янтось. Он ведет с нами долгие беседы.

— Янтось! Дэ ты був, як пукали арматы?

Смеется.

— А вы не знаете? В буди (в погребе).

Дал ему кто-то две серебряные монетки. Он моментально

улетучился и минут через десять приходит улыбающийся, зажимая монетки в руке.

— Я вси гроши сгубив, — кричит он издали.

Но тут же, не выдержав характера, радостно признается:

— Я брèшу.

На Янтосе белые полотняные шаровары, длинная белая русинская рубаха, подпоясанная ремешком, ватное пальтишко и соломенный брыль с черной лентой. Так точно одет и отец Янтося. Но еще поверх длинной рубахи черная жилетка. На девушках — синие кофты, белый фартук, красные спидницы и цветное намисто (ожерелье). Они ходят по улице гуртами, похожие издали на цветочные гряды пионов с азалиями, и кокетливо принимают ухаживания солдат.

— Хорошие девки? — шутливо допытываются офицеры.

Шкира, вестовой адъютанта, Дон-Жуан, балалаечник и запевало, лихо покручивает ус:

— Во чужом во краю и с рябой, что в раю.

— Правильно, — соглашается Кузнецов. — И по-нашему так же: — на чужой стороне и старушка — божий дар.

. . . Как тускнеет воображение, лишь только оно сделается фактом.

Путь победителя по завоеванной стране рисуется в таком заманчивом виде, кажется страшновато-приятным и волнующим. А на самом деле: скучные жители политически чистые сердцем как телята. На лицах их так ясно читаешь: не все ли равно, кому платить подати и перед кем ломать шапку, когда земли так мало, по пять-шесть моргов на хозяйство, а кругом такие просторные фольварки Чарторийского? . .

Жестка и сурова действительность, и тяжелы дни и ночи победителя, просыпающегося от страшных укусов.

— Ни в одном царстве таких блох не бывает, как в Галиции, — говорит Ханов.

И с этим мы все согласны. Грязь, нищета, зловоние и смертельно кусающиеся блохи. Блохи и мухи — этим галицийским добром переполнены все хаты. Ни днем, ни ночью от них не знаешь покоя. Они забираются в одеяло, в платье, в белье, в карманы, и нет никакой возможности избавиться от их нашествия. Да и как это сделать, когда каждый русинский кожух это — неистребимый питомник блох, разносящий их полчищами по всей Галиции. Все мы — и солдаты, и офицеры и, кажется, даже лошади — мучимся блохами, как проклятием, и покрыты укусами, как сыпью. Ходим весь день с головною болью от бессонницы и от запаха керосина, которым мажем ноги и волосы, и дошли до того, что противно прикоснуться к еде.

... Через густой, бесконечный лес выбираемся на открытую поляну. Вверху все утопает в теплом тумане, внизу — густая непролазная грязь. Впереди боевых колонн идут рабочие отряды с саперами и выравнивают дорогу. Но грязь мгновенно засасывает бревна и щебень, и поминутно приходится делать долгие остановки. Пробуем итти боковиной — луга. Всюду застрявшие автомобили и дохлые лошади. Холодно, скучно и жутко. Все ходят, сгорбившись, злые и недовольные, насквозь пропитанные матерщиной, которая превращается в скверную, затяжную болезнь, прилипчивую как оспа. Ругаются все командиры, солдаты, доктора, и все одинаково.

— Ну, поддайсь, пять — двадцать пять... мать — мать — мать! — несется звонкая ругань, и здоровенный солдат безжалостно лупит нагайкой по запотелым конским бокам.

— Ишь, какой дух густой, совсем коня заморил, — с жалостью замечает другой солдат Прядкин, — все жилы дрожат.

Я люблю этого солдата. У него независимый ум, в суждениях — строгая логика и такой богатый и гибкий словарь, что перед ним я чувствую себя нищим. Зовут его все Семеныч.

Вверху — сплошная, безотрадная муть; внизу — черный, промозглый омут; на душе — одиночество. Сталкиваюсь глазами с Семенычем, который говорит не спеша, добродушно усмехаясь:

— Теперь бы в постельку мягкую, да закусить, да выпить, да чайку с калачом. Хлеба у нас вкусные; дома — и пироги, и блины, и оладьи, а здесь хоть бы кожу вареную пожевать — и та по вкусу.

— Хоть бы не ругались, и то легче было б, — невольно впадаю я в слезливость.

— Ваше благородие, — говорит певуче Семеныч, — на войне служить — не барышней любоваться. Лютеет душа у человека. А иному крепкое словцо ровно крепкое винцо: и дух веселит, и за душою гнилое не остается. . . Слово матерное что? Сплюнул — и нет его. Обращение матерное — вот он где грех, да помыкание. . .

И в тоне Семеныча звучит суровый укор.

Мне вспоминаются «бытовые явления». Вспоминаются прапорщики, вчерашние следователи и агрономы, жадно и грубо издевающиеся над каждым солдатом. Особенно этот чванливый черносотенец Растаковский — высокий, сытый, горластый судейский, невероятный драчун и похабник. Приходят на память его ратные подвиги: как он сытый, объевшийся, сидя на завалинке у дороги, остановил высокий артиллерийский воз, в котором сидели запыленные солдаты, и с дикой бранью накинулся на простоватого парня, державшего в одной руке хлеб, а в другой кусок сала.

— Ты чего, так-то и перетак-то, чести не отдаешь? . . Нагнись, сукин сын, нагнись! . .

И хлестал своей тяжелой рукой по щеке нагнувшегося солдата.

Вспоминаются и другие моменты походной обыденщины. Эти зуботычины, раздаваемые направо и налево, эта ежеминутная готовность ругнуть, унизить, дать сапогом в зубы... Неужели без этого нельзя?.. А у французов, у немцев?..

Неужели и там так?..

...Чудом дотащились до Тварди. Впереди крохотной деревушки колоссальные укрепления из окопов, выложенных огромными бревнами и покрытых жестяными полусводами. Густая сеть проволочных заграждений тянется отсюда до самого горизонта. Через бесконечные коридоры окопов, блиндажей, утрамбованных насыпей и выложенных жестью канавок мы добираемся до большого помещичьего дома с двумя зияющими отверстиями в стенах. В красивых, высоких комнатах следы совершенно бесцельного разгрома и вопиющей хамской разнузданности. Из-под крыши раскрытого рояля несет зловонием. На полу обломки фарфоровой посуды, изорванные ноты и книги, загаженные польские и немецкие журналы, опрокинутые вазоны, столы и шкафы. Иду из комнаты в комнату и всюду та же картина: настежь раскрытые буфеты и опустошенные ящики комодов. Нет ни белья, ни платья. Уцелели только постельные матрацы, одинокие зеркала и большие вазы с фарфоровыми крышками. На матрацах и в вазах те же удушливые следы азиатского цинизма.

Прекрасное, хотя и разрушенное снарядами помещение превращено в клоаку, в которой дух захватывает от вони. Располагаемся для отдыха под открытым небом. Но это грязное хулиганство принимается как молодецкая шутка.

— Натешились, — хохочут солдаты. — Верно казачки погуляли. После ихнего брата мокренько и грязненько бы-

вает. Ни одной посудины не забыли... Казак — он страху нагонит. Он на лихое дело, как на небо, летит.

В воздухе сыро и холодно. Солдаты раскладывают костры. Из дома доносится треск ломаемой мебели. Из костров торчат лакированные ножки столов и спинки кресел. Ярко вспыхивают подбрасываемые в огонь журналы, ноты и письма. Откуда-то появляются новенькие сосновые кресты.

— Это откуда? — спрашивает Кузнецов.

— Да там их целые пачки, — отвечают солдаты.

Действительно, за домом вместе с мотками запасной проволоки, бревнами и грудами жестяных прикрытий лежат заготовленные связками сосновые кресты для братских могил.

— Вы бы хоть кресты-то по-христиански пожалели, — говорит с укоризной Пухов. Весь он длинный, мягкий и кроткий, и в глазах его светится искренняя печаль.

— Ишь что выдумал! — хором возражают солдаты. — По-хри-сти-ански. На войне душу беречь не велено...

Перед отходом из Тварди воздух наполняется звоном и треском: это наши солдаты добивают остатки посуды и уцелевшие зеркала.

— На ко-оней! — гремит команда.

И дюжие бородатые ездовые проносятся гарцующей рысью, держа перед собой зеркальные осколки, и лихо, по-казачьи, выпятив чубы.

— Первый взвод! Ездовые..... и-ись!.. Молодцы- артиллеристы, — доносится издали переливчатый голос адъютанта, и чувствуешь, что на душе у солдат и офицеров весело и беззаботно...

...Проходим, не останавливаясь, через Синяву — небольшой городок с мощеными улицами и обгорелыми домами.

Накануне здесь был отчаянный бой. Груды камней и почернелые пни еще дымятся. Весь город наполнен удушливой

гарью. Среди пустынных улиц нелепо торчат уцелевшие столбы электрических фонарей. Мы сворачиваем в боковые кварталы, где под красными черепичными крышами приютились веселые одноэтажные домики с высокими крылечками, при виде которых мучительно хочется плюнуть на всю эту грязь и свинство и хоть на час забыть о парках, обозах, проволочных заграждениях, валах и окопах... Но, кажется, путь наш не окончится и через двести лет.

4.

... Новое сегодня, такое же мокрое и тяжелое, как вчера. Время тянется медленно, а дни бегут быстро. Думается весь день, а мысли не вяжутся. Душа развинтилась на две посторонние половинки: телесная, «военная» жизнь протекает совсем отдельно от умственной работы. Думаешь в старых интеллигентских тонах: о насилиях, о духовном общении, о Болконском из «Войны и Мира» и всякой яснополянской метафизике, а живешь походами, грязью, дождем и мечтой о хлебе и отдыхе. Да изредка ловишь находу случайные реплики:

— Галиция есть страна, бедная и скучная, — иронически философствует Кузнецов.

— На що було воевать, — слышу я сзади голос моего Коновалова. — Як у них ни земли, ни хліба нема?..

— Эге! — подсмеивается Семеныч, — сменим соху на блоху... А для ча воюем, про то у начальства спроси...

«Воюем»-то мы, впрочем, только с насекомыми на ночлегах. Во все остальное время грузнем в грязи, ломаем оси, теряем замученных лошадей и виртуозно ругаемся...

Увы! Все то же. Длинно, голодно, грязно. Ни войны, ни людей, ни природы, — одна только хлюпающая грязь. Грязные дороги, грязные одежды, грязные разговоры. Голодаем как собаки. Со всех сторон гремит и грохочет.

Ночлеги хуже застенков. Пахнет портянками и коровьим хвостом. Как о счастьи, мечтаешь о двух вещах: о возможности выспаться и о людях. Кругом все солдаты, поручики и прапорщики. Густая смесь матерщины, брюзжания и похабного анекдота. Все злы, угрюмы, и больше всех ругается командир. Со вчерашнего дня вся дивизия сблизилась, и командир бригады идет вместе с нами. Оттого на ночлегах стало еще теснее. С бою берется каждая халупа. Чердаки, сараи, стодолы — сплошь завалены пехотинцами. Говорят, в Лезахове, куда мы сейчас идем, вся наша армия получит трехдневный отдых. И все стремятся опередить других, чтобы отвоевать ночлег поудобнее. Наш командир бригады давно уже выслал квартирьеров вперед с определенным наказом:

— Прямо за шиворот хватай и вон выбрасывай всякого, а чтобы мне квартира была! . . Понимаешь?

Базунов, командир бригады, чрезвычайно яркая личность. При телосложеньи грузного и солидного полковника, с сильным, крутым характером и ловкой учтивостью он отличается злым и насмешливым складом ума. Чистоплотный, изящный и разговорчивый, он мастерски владеет фразой и одним словом умеет показать под увеличительным стеклом самые запретные тайны. При этом он чудесный актер, никогда не теряющий выдержки. А быстрые, черные глаза и скорые движения придают его словам подвижной, неуловимый и чрезвычайно колкий характер. Базунов — большой любитель полемических поединков. Никогда он не выходит из себя и никогда не соглашается с противником. Его постоянным партнером в спорах является прапорщик Кузнецов.

— Для чего мы лезем в эту вонючую Галицию? — сквозь зубы роняет командир.

— Приказано! — бросает реплику Кузнецов.

— Все паны да паны, а на шестьдесят верст кругом ни одного клозета, — продолжает в своем обычном задорно-

полемическом тоне полковник. — Конечно, долг перед обществом обязывает нас приносить себя в жертву. Но если вся их Галиция ломаного гроша не стоит и завоевывать ее имело бы смысл только в том случае, если бы она кончилась Великим Океаном, в котором можно было б омыться от всех ее грязей...

— Обиднее всего то, — иронизирует Кузнецов, — что люди, имевшие неосторожность родиться в этой гиблой стране, не отдают ее даром и дерутся за свою жалкую Галицию, как французы за свой Париж.

— В том-то и дело, — подхватывает Базунов, — что в нашем походном вояже больше блох и поносов, чем в Галиции...

К вечеру 10 сентября мы, наконец, добрались до Лезахова. Версты за четыре от села нас встретили квартирьеры с печальной вестью:

— Ни одной халупы в селе. Бабы криком кричат, детишки плачут, для господ офицеров и то места не будет.

Грязная большая деревня оказалась сплошь забитой войсками. Парку пришлось остановиться далеко за селом. В сопровождении солдат мы двинулись на поиски ночлега. В деревне творится что-то страшное. По земле буквально шагу ступить нельзя: всюду следы войны, ужасные следы человеческой скученности и солдатской дизентерии. Ноги вязнут в вонючей гуще. По земле ползет тяжелый, смрадный туман, от которого во рту образуется гнилая, гадкая ржавчина, доводящая до рвоты. В хатах плач и скрежет зубовный. Солдаты забрали все снопы из амбаров и, накрыв ими грязную землю, расположились тут же вповалку, так тесно, что и пешеходу негде пройти.

— Вот так отдых! — слышится с разных сторон. — По времени пришелся.

— А в окопах лучше? — ворчит недовольный голос.

— А ты в окопе сидел? — иронизирует другой.

— Ай нет? Расскажи другому-кому.

— Сам себе рассказывай, — гудит насмешливо иронист.

— В окоп залез — все забыл: душа в кулачок сжимается. А на отдых итти — в гною потеть — я на такое не согласен...

— Не согла-асен, — передразнивает сердитый голос, — не согла-асен... Война — не жена: со двора не прогонишь...

Обошли всю деревню из конца в конец. Добрались до коменданта. Просим указать помещение... Нѣгде.

— Помилуйте, — разводит руками комендант, — здесь вся дивизия сгрудилась, с артиллерией, с парками, лазаретами. От пехоты дохнуть нельзя. Разве ж так можно?

— Ничего не понимаю! — фыркает командир Базунов.

— И понимать нѣчего: ка-бак! — выразительно отчеканивает комендант.

— Со мною штаб, канцелярия, денежный ящик, — недовольным тоном перечисляет Базунов. — Разрешите, по крайней мере, в ваших сенях расположиться.

— Не могу, господин полковник; никак не могу: под канцелярию генерала Заслова отведено...

Мы снова плетемся по колено в навозе и нечистотах, вбираем в легкие тошнотворный туман, впитываем в уши скверную, вязкую матерщину, заглядываем в каждую дверь, бранимся, ругаемся, проклинаем войну, начальство, Россию и, наконец, узнаём от ординарцев, что где-то, в какой-то хатке приютился десяток пехотинцев.

— Гони их, прохвостов, в шею, — свирепо командует Базунов.

И вот мы блаженствуем... Шестнадцать русских интеллигентов лежат на грязном полу, довольные тем, что им удалось выгнать под осенний дождь в холодную ночь десятка два мужиков, почему-то обязанных по первому нашему слову итти вперед по галицийским полям, прорывать австрийские

заграждения, гнать перед собой эскадроны венгерцев, колебать, опрокидывать и потом валяться в грязи и мерзнуть под открытым небом...

...От духоты, от храпа, от спертого воздуха и низкого потолка не могу уснуть. Выхожу на воздух. Темно. Моросит осенний дождик. Кругом на земле лежат солдаты вповалку, и в темноте раздается тяжелый храп. Брожу, как в кошмаре, почти не сознавая, как очутился я здесь, полуодетый, задыхающийся в темную ночь, в вонючей австрийской деревушке, где сотни русских людей для чего-то мерзнут и дрогнут под дождем. Где-то вдали солдаты жгут костер, и видно, как усатые лица озаряются вспышками соломы. Подхожу к костру. В бурке, в исподнем белье и без фуражки. Солдаты прикидываются, что не узнают во мне офицера, и продолжают громко беседовать.

— Ну, мы народ простой, глупый да темный. Ужели ж у начальства часу нет подумать, как же так цельную дивизию в одну деревню согнать?.. Ну, как тут отлить ребята?.. Пойти — спросить у начальства. Може господа охвицеры знают; а я, брат, не выучен землякам в рожу гадить.

— Чего зря глотку дерешь? — раздается солидный голос.

— Одни мы, что ли, такие? Весь мир война рушит...

— Рази ж он войну корит? На войну наплевать.

— Ты скажи, ребята, спокайся, от начальства польза какая — толком не доберу. От начальства порядок нужен, аль нет? А где он, порядок? Хуже зверья живем... Я не противу присяги — ни боже сохрани. На то и солдат в окопе, чтобы ружьем трещать... Сколько мне жизни всей осталось — не знаю, только дай ты мне в тепле обогреться хоть самую малость...

— Братцы мои кровные, — звенит из темноты молодой

голосок, — и за что это мужику такое житье на свете? Живем — не жители, умрем — не родители. А всё мы, всё мы. И хлебушка — наш, и отечеству служим, и силу тратим; сколько одной этой чести за день отдашь... Ничего не понять кругом...

— Вишь, гусь какой!.. Чем мозги утруждает! Погоди, пуля научит. Попадешь в окопы — спокаешься...

— А чего мне каяться? — звенит прежний голос. — Греха на мне нет. Душа у меня такая: чужое хоть серебром да золотом убери — не надобно. Разве ж я тут своей охотой сижу? Страх держит... Наше дело обозное...

— Пужливый, — презрительно произносит рослый солдат. — Смерть от страха ослобонит!.. Раз умирать; а что здесь, что в окопе — всё едино. Греха нет?.. За одним за богом греха нет. Нет, брат, один грех на всех. А ты думаешь — одному забава да песенки, а другому грех да запрет. Погоди — прийдет такой час — спросют! Почнёшь совестью мучиться!.. И немец, и хранцуз, и мужичок обозный, и прапорщик с гусельками — всей ценой-то за грех платить будем... Ой-ой!.. Может, который в окопе как гад живет, который больше всех изобижен, тому Христос по милости и отпустит. Скажет: зачем на муку послали?.. Он муку принимал, душу умирил...

— Верно! — гудят сочувственно пехотинцы. — В окопе какой уж грех? И на грех не тянет...

— Живем как святые угодники, — весело откликается кто-то, — вшей давим да бога славим...

Трещали сучья в костре. Густо стелился дождик. Воздух был спертый и противный до того, что голова кружилась. Кругом виднелись кряхтящие, скорченные фигуры, и слышались сердитые солдатские шутки:

— Но-но! Не чепай руками г...!

В голове у меня вертелась, кажется, чеховская фраза:

Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает гро-

мадные успехи на наших глазах, и скоро настанет время, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом...

Милая русская маниловщина, милые русские мечтатели! Обнесенные высокими стенами красивых фраз и рифмованных строчек, что знаете вы о жизни, о мужике, о бородатых солдатах и очаровательных бритых полковниках?..

... Проснувшись рано, чуть свет, и не умывшись, без чаю все бросились в ближайший еловый лесок. С версту шли полем, сплошь превращенным в хлев. Но в ельнике вздохнули свободно. Сухо, тепло, привольно. И чисто. Нет следов человека. Вдали синеют леса. За лесами туманятся Карпатские горы. Лег на землю, подставил голову осеннему солнцу и лениво слушал, как доносится гул орудийной пальбы из-под Ярослава.

Денщики хлопочут, работают. Офицеры едят, пьют, валяются. Вдали ворчат пушки.

Как-то совсем неожиданно на глаза мне попался клочок газетной бумаги. Чувство брезгливости боролось во мне с нахлынувшим любопытством; я не видал уже газеты около трех недель и колебался недолго. В этом обрывке «Нового времени», которое я узнал по шрифту, я прочитал о смерти штабс-капитана Нестерова. Было подробно описано его столкновение в воздухе с австрийским летчиком, завершившееся гибелью обоих пилотов. Сообщение было несколько раз перечитано вслух, и все заговорили о Нестерове.

— Таких днем с огнем поискать, — сказал командир, — а у нас зря погиб, безо всякой пользы...

— Почему же русские люди идут зря на погибель? — с раздражением спросил Кузнецов.

— Очень просто, — с обычной язвительной запальчи-

востью ответил Базунов. — Вы знаете, для чего русскому человеку грамотность?.. Чтобы вывески на кабаках, да на трактирах читать. Только! Это Гоголь выдумал про Петрушку, будто ему самый процесс чтения нравится. Никогда он, подлец, в книжку не заглядывает и ничем, кроме трактирных вывесок, не интересуется. Такая вот грамотность держится у нас от мужика до самого высшего начальства. Везде у нас — только вывеску подавай, а на все остальное наплевать... Вы вот думаете, что России больницы да школы нужны, да всякие свободы, а я вам говорю: кабак ей нужен; и пускай вся земля провалится, лишь бы кабак цел остался...

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят свое равнодушие и свою собственную лень оправдать, — вмешался ветеринарный доктор Костров. — Деревня спит, в городах водку жрут, и живется в России хорошо только кабатчикам да конокрадам... Это, Евгений Николаевич, чепуха; я сам в деревне служу. В России, может, больше порядочных людей, чем на всем свете.

— Видали мы этих «порядочных», — зло рассмеялся Базунов, — не успели в Галицию войти, как всю ее до нитки обобрали.

— Война — это не наше дело, — в раздумьи протянул Костров. — Мы — пахари...

— Пахари!.. Мы эту сказку знаем, — снова загорячился Базунов. — Народ — пахарь! Как же! Да разве мужик наш умеет пахать? Дайте немецкому мужику наш русский чернозем — чего-чего он ни натворит на нем. Весь свет прокормит!.. Мужик наш к земле жаден, а работать не знает, не умеет... У нас все так: солдат гибель, а армии нет; «пахарей» ваших миллионы, а хлеба нет. Каждые пять лет — бунты и недороды, голодный тиф и холера. А в газетах кричат: земские начальники виноваты. А разве земские — не те же мы? Земские начальники — не пахари?..

— Э, что там ни говорите, — отбивался Костров, — не только кабатчики и земские начальники в России, в конце концов есть у нас и Нестеровы...

— В том-то и дело, что ни к чему они нам... падающие звезды: мелькнули — и след простыл.

— Да, — грустно протянул Кузнецов, — был Нестеров, летал, устремлялся к небу, и нет его. А нечистоплотных животных — хоть пруд пруди...

— Вообще, господа, немец ли, англичанин, а нет более грязного животного, чем человек. Возьмите корову, лошадь — их навоз не пахнет. Даже дух приятный идет. А где ступил наш брат, высшее существо, все он тебе загадит — и дома, и природу, и душу человеческую...

...В Лезахове еще больше народу, чем вчера. Некоторые части ушли, но на их место пришли другие — с той же проголодью, вонью, матерщиной. Они кричали, бранились, жаловались и, влипая в эти смердящие сгустки двуногих и четвероногих тел, тут же устраивались на ночлег. В стодолах давно уже не было ни снопа, и для костров и подстилок солому срывали с крыш.

Поздно ночью я снова вышел из нашей душной халупы. Ночь была светлая и тихая. Отчетливо горели грустные сентябрьские звезды, и небо казалось таинственным и бесконечно далеким. Я пробирался между храпящих тел к яркой полоске горящего костра. На каждом шагу с земли поднимались черные тени и швыряли злые слова в пространство:

— Дорвались до отдыха!..

— Как свое дело военное справляем!..

— Сбили всех в одну кучу вонючую. Вот-те и дневка!..

— Уж попадись который из них... Семь смертей подлецу сделаю, кишки зубами вырву!..

Временами слышалось более испуганным шопотом:

— Господи, вот доля-то! . . Ровно, суд страшный. . .

И среди этих проклятий и причитаний я услыхал радостный голос Коновалова:

— Ваше благородие, я для вас квартиру знайшов!

— Где?

— Тут близко, у дивизионном лазарете.

Спустя полчаса я находился в просторном и теплом помещении, отведенном под лазарет третьей гренадерской дивизии, в обществе пяти очень милых врачей, еще и не думавших ложиться, несмотря на позднее время.

— Ужинать будете? — весело встретили меня.

— Знаете, после такой прогулки не нагуляешь аппетита.

— Как хотите, — улыбнулся молодой бритый доктор.

Из соседней комнаты доносился звон посуды и веселый шум голосов.

— Много вас здесь? — спросил я.

— Человек пятнадцать. Пять врачей с главным, смотритель, чиновники, гости. Помещения у нас много. И коек сколько хотите. Вот только полов нет.

В двух соседних комнатах полы действительно оказались разобранными и рамы выставленными. Говорят, ксендз, занимавший эту квартиру, собирался рыть в этих комнатах подвал для вещей, да не успел, — удрал. Внутренняя стена была также наполовину разобрана — неизвестно кем и для чего. Вероятно, солдатами на топливо. Посреди правой комнаты стояли три узких стола, за которыми в перебитых креслах, на колченогих стульях и опрокинутых чемоданах сидело человек десять. Сквозь раскрытый настежь пустой шкаф с выбитой задней стенкой виднелся огромный фруктовый сад, весь усыпанный соломой, на которой ночевали, как и всюду, сотни солдат. В комнате было довольно светло, не душно и, несмотря на полный разгром, казалось очень уютно. Я вскоре привык к этой обстановке, освоился и осмотрелся.

Вдоль стен стояли низкие санитарные койки, а возле них и на них валялись в хаотическом беспорядке на голой земле сундуки, чемоданы, чайники, бурки, фуражки и всякий офицерский багаж. Каменные стены были по местному обычаю оклеены расписными обоями: по желтоватому грунту нарисованы были гигантские красные цветы. В одном углу стол с кофейником, этажерка с книгами, швейная машина и на ней раскрашенная гипсовая статуэтка Христа в хитоне, нижний край которого был весь ярко-красный, а верх — белый с зеленой каймой. Статуэтка дрожала и покачивалась от каждого толчка. Придумали забаву: каждый по очереди подходил и вертел ручку швейной машины, как шарманку, причем статуэтка ежеминутно могла опрокинуться и разбиться.

— Хотим вогнать в гроб Христа, — пояснил мне один из словоохотливых хозяев.

Во второй (левой) комнате было темно и пусто, и только где-то в углу стоял разбитый рояль, на котором невидимый тапер без устали барабанил марш за маршем. Музыка не мешала, однако, громкой беседе за столом, и громкая беседа ничуть не смущала увлеченного музыканта. Из беседы этой я почерпнул бесконечное количество новостей. Я узнал, что дивизия наша, подкрепленная третьей гренадерской и 46-й дивизией в составе малороссийского, сибирского, астраханского, фанагорийского, варшавского, глуховского, белогорийского и пултусского полков входит в состав осадного корпуса, предназначенного итти на Краков. Узнал «из достовернейшего источника», что Перемышль сдан без боя, что Чехия и Венгрия отложились и переходят на сторону союзников, а Франц-Иосиф умер около трех недель назад, но это еще скрывают от населения. Узнал, что австрийские солдаты отказываются драться, и не дальше как два дня назад 50 000 австрийцев сдалось в плен без боя. За столом вообще царило чрезвычайно воинственное и победоносное на-

строение, а ночью, уже крепко уснув, я внезапно был разбужен нервным боевым окриком:

— Скорей, скорей... За кустиком, за кустиком пулемет!..

В комнате было темно, все спали и во сне, метаясь и дергаясь, продолжали жить походной жизнью. Это не было обычное сонное бормотание. Орали полным голосом, как наяву:

— Осторожней, канава!

— По мостику опасно!

— Опомниться, опомниться не давай!..

Я прислушивался минуты две и уснул. Неожиданный треск опять разбудил меня. Было уже светло. Прямо передо мной на чемодане валялись осколки разбитого Христа. Многих из вчерашних гостей уже не было в комнате. Ночью был получен приказ перейти из Лезахова в Волю Быховскую.

5.

Два дня бились у переправы через Сан. Мосты оказались ненаведенными, и части разбрелись по окрестностям. Все мы испытывали необыкновенный наплыв раздражения, так как имели полную возможность убедиться, до чего бессмысленно было наше трехдневное пребывание в Лезахове. Три дня мы чахли и задыхались по нелепому предписанию начальства в вонючей и зараженной яме, камня на камне не оставили от большого села, тогда как стоило только оглянуться, чтобы увидеть, в каких прекрасных условиях могла бы дивизия провести свой кратковременный отдых. Предоставленные самим себе, все части отлично расположились. Наша бригада заняла огромный фольварк, где мы буквально блаженствуем со вчерашнего дня.

Сегодня после долгих скитаний я впервые проснулся в светлой, нарядной комнате. Туманное дымчатое утро, мечтательный парк, гибкие козочки. Совсем как в польском романе. Какое это великое наслаждение проснуться в чистой

постели и чувствовать себя в Европе, среди книг и журналов. Весь день провожу в библиотеке, над входом в которую прибито распростертое чучело орла. Читаю и перелистываю журналы и погружаюсь в нравы и вкусы далеких, но близких мне людей, вся жизнь которых кажется мне чудесной, очаровательной и полной высокого смысла. Во всем доме нет ни живой души кроме наших солдат и офицеров, и это придает нашему убежищу оттенок таинственности. Мебель, картины, книги, — все обвеяно стариной и невыразимо сладким покоем.

... После обеда я услыхал тяжелый треск в парке. Группа наших артиллеристов подпиливала большую сосну. Тут же валялось несколько срубленных деревьев.

— Зачем вы деревья вàлите? — обратился я к ним.

— Гàти стелить, дорогу мостить приказано.

— Кто приказал?

— Их благородие, г. Ефименко.

Я пошел к офицерам. На все мои протесты они лениво отмалчивались, и здравый смысл мне подсказывал, что поведение мое глупо. Решить иначе нельзя, — бревенчатую мостовую нельзя построить иначе как из деревьев. Пришлось мириться с фактом. До вечера гремели топоры, потом... потом исчезло орлиное чучело над библиотекой, исчезли многие книги, ковры, картины, круглое зеркало со стены, этажерочки, статуэтки, портьеры, хрустальные ручки на дверях, запестрели пятна на стенах — словно краска, выступившая на месте украденных вещей, — и комнаты осиротели.

Полночи провел я без сна. Я знал, что завтра мы уходим отсюда, и вместе с нами навсегда уйдут из этого тихого гнезда вся переходившая из поколения в поколение безмятежность и радость; науки, искусства и поэзия — раздавленные нашим солдатским сапогом. Следующие части так же как и мы, сознавая всю бесцельность своего мародерства,

добьют и принизят до конца вчерашний уют и красоту. Ибо такова война, таков рецепт разрешенья человеческих споров. Мир знает теперь только три спасительных слова: умерщвлять, разрушать, хоронить.

6.

... На войне, как и всюду, всю черную работу делает мужик. Мужик стреляет, мужик ковыряется в земле, прокладывает дороги, пилит, режет, копает, мосты наводит, в пекарне и на кухне работает, а начальству остается только во-время приказывать. Но и эту несложную обязанность оно несет весьма неисправно. В пяти местах мы пробовали переходить через Сан, и всякий раз выходила какая-то непонятная задержка. Наконец, мы в Воле Быховской. Это большая, чистая польская деревня, окруженная лесами и полем. Мы чувствуем себя здесь как на даче. Погода отличная. Солнце весело светит. Чистенькие домики, окруженные садочками и цветниками, дышат миром, спокойствием и достатком. Стодолы завалены душистыми стогами сена. Стадами гуляет скот. Птицы сколько угодно. Все мы полны здесь нежности, тишины и сытого довольства собою.

... Но скоро снова стало тесно и грязно. Ворота настежь, двор завален навозом, на заборах солдатские портянки: со всех сторон облепили нас пехотинцы с обозами. Но от хорошей погоды и от отдыха легко и празднично на душе. Ночуем в палатках.

— Она палатка, а всякой избы лучше, — говорит нравоучительно Лактионов, наш плотник.

И, действительно, есть в этих ночевках под открытым небом своя особая прелесть. Забравшись с раннего вечера под палатку, я наблюдаю за людьми. Вокруг костров сидят бородатые дядьки и среди тишины, стоящей над сонными полями, ведут медленные беседы. Говорят о волшебниках, о предчувствиях, о кладах. Протяжно, спокойно и с твердой

верой перебирают солдаты всякие небылицы, а другие с умилением слушают эти странные разговоры. Кажется, что Россия все такая же огромная и неведомая Скифия, какой была она пятнадцать веков назад, и живут в ней все такие же варвары, и не стали они ни на иоту умней, и в душе их все та же лютая темь и невежество и дремучая ненависть.

Орудий не слышно. Теплая, теплая погода. Пахнет сосной и сеном. Мягко потрескивают костры, и отчетливо слышатся спокойные голоса.

Почти каждый вечер фантастические беседы заканчиваются заунывным пением, в котором грустное украинское «гирко плаче» все время перемешивается с ярославским «долю горькую проклинаючи». И еще долго сквозь сон мне слышатся меланхолические жалобы на «житье бесталанное», на «победную головушку» и на «смертный час во чужой стране»...

7.

...Опять дорога, опять кусают блохи, опять обрастаем грязью и насыщаем воздух раскатистой русской бранью. Долгие походы вперемежку с дневками, полными табачного дыма, бесконечной девятки, разговоров о женщинах, сквернословия и закусок. Мы уже привыкли к этим внезапным бытовым переменам. Сегодня русинская деревушка, грязная, бедная, хлебосольная, без скатертей, без полов, без отхожего места. Завтра — опрятность, возведенная в культ, польская сдержанность и неизбежные кружевные бумажки с разрисованной надписью над входом: Czystosc jest ozdoba domu. [1] Миновали грязный пустынный городишко с мудреным названием: Медынья Лапцуцка; прошли через большое фабричное местечко Жолынья, наполненное казаками, испуганными евреями и сожженными домами; переночевали, в крохотной, жалкой деревушке, битком набитой детьми, стариками и калеками, где нет ни соли, ни дров, ни спичек, где

[1] Чистота — украшение дома.

люди не знают, куда бежат, и только в испуге повторяют, что кто-то палит кругом местечки и села, а кто — «не вемы». К вечеру следующего дня мы, злые, усталые и голодные, очутились в Гродиско и расположились в баронском замке. На всю бригаду имелся всего один огарок свечи, и в огромных пустынных комнатах, холодных, разграбленных и мрачных, сердце щемило от тоски. Среди сора и грязи мы раскинули наши койки и почти сейчас же уснули. Кажется, я давно уже смотрю на вещи суровыми, трезвыми глазами. Но когда я проснулся рано утром, мне все же сделалось больно за нашу дикость и темноту, за тупое, бесцельное и скотское бессердечие наше. Мы ночевали в будуаре. На полу валялись сотни записочек и писем, написанных по-французски и по-польски, листы из альбом, груды фотографических карточек, измятых, надломленных, — вещественные доказательства нашего вандализма. Дорогие обои испещрены были похабными надписями. Пустые шкафы были загажены. Две задние комнаты вместе с ванной превращены были в сплошную клоаку, а тут же валявшиеся клочки солдатских писем пластично рассказывали всю многоликую природу нашей армии: были письма на русском, татарском, грузинском, еврейском и польском языках... Остатки старинной мебели, роскошные цветы и множество иностранных книг были свалены в кучу, и в ту минуту, когда я смотрел на них, они представлялись мне еще более покинутыми, чем их хозяева, рассеявшиеся по ветру.

Куда деваться от плачущих баб? Идешь полем — бабы с воплями обступают: ваши жолнеры (солдаты) последнюю картошку выкопали, и теперь хоть ложись да помирай со всеми детьми. Сидишь дома — прибегают с жалобой бабы, кричат, рыдают: ваши солдаты сорвали замки, вытащили последний сноп из стодолки; чем жить, что сеять весною будем?.. Раздаешь рубли и полтинники; но ведь это только увертки, желание купить себе дешевое право быть безучаст-

ным к бабьим слезам. Одна баба решительно заявила фуражирам: хоть 50 рублей платите за сноп — не продам, а силой возьмете — себя и вас спалю!..

И вот мы гамлетизируем с утра до ночи. Быть или не быть? Брать или не брать? Снилось ли нашим баталионным командирам, что они превратятся в Гамлетов, и что им придется беседовать с галицийскими Офелиями на интендантско-лирические темы? Но, говоря по совести, к датскому Гамлету судьба была более снисходительна. Гамлет хнычет и двоится, но ему совершенно не приходится иметь дело с фактами. Вместо фактов перед ним бледный свет луны, и витает он все время в парах философии. Тень убитого короля наводит здесь самый большой ужас. А перед нашими полковыми и баталионными Гамлетами и днем и ночью стоят голодные и холодные призраки, которые тут же на месте превращаются в визгливые факты. Визжат и бранятся бабы, ревут детишки, ревут кабаны, которых режут голодные солдаты, ревут и бьются в предсмертных корчах зарезанные коровы — эта фатальная «остатня крова», из-за которой пролито столько крови и слез по всей Галиции...

— Бросим сначала взгляд на обстановку наших героев, — иронизирует по обыкновению Базунов. — В голодное село приходят голодные резервы. Через четыре часа они будут брошены в наступление. Должны ли мы их накормить? Разумеется, так. Ибо раз мы воюем, то мы хотим победить, а раз мы хотим победить, то солдаты должны быть сыты. Но этому противятся строптивые галицийские бабы. Правда, у них имеются для этого свои бабьи резоны. Если мы заберем у бабы последнюю корову, то ее детишки останутся без молока и помрут, быть может, голодной смертью. Но ведь одной коровой я могу накормить целую роту солдат, из которых двадцать процентов будут через четыре часа убиты и ранены. Имею ли я право лишить солдата последнего утешения на земле — умереть по крайней мере сытым. И как я должен,

по-вашему, поступить, когда стоит передо мной голый вопрос: рота солдат или одна галицийская семья? . . А строптивые галицийские бабы, которые понятия не имеют ни о статистике, ни о стратегии, орут благим матом: «остатня крова». . . Или вот вам еще одна картинка. Армию бросают на Краков. Чем раньше она придет, тем скорее Европа осуществит свои политические планы. Конечно, армия валит напрямик через поля и огороды. При этом не только топчет и уничтожает все колесами обозов и пушек, но и пользуется всем, что попадается на пути для собственного прокормления. Допустим, что каждый из нас возьмет только ежедневно по одной репке и по одному судочку картофеля. Не больше, не меньше. А ведь в нашей армии 300 000 солдат! Вникните в дело, и вы увидите, что мы совсем уж не такие низкие люди, как внушают о нас своей «матке бозке» галицийские бабы. Чем мы, скажите, виноваты, что европейская политика сделала именно эту вонючую Галицию средоточием войны, что именно нашу армию поставила она в центре событий, и что русский солдат съедает разом по четыре фунта картофеля? В том-то и дело: прямодушие и кривда только в книжках живут врозь, а на войне они идут рядом, и только строптивые бабы этого никак не понимают! . .

Пробовал я с солдатами заговаривать на те же темы, но они как-то неохотно отделывались полузагадочными афоризмами:

— Голод выучит!

— Ограбили нашу жизнь — и нам не жалко.

— Так зря-то зачем уничтожать? Зачем картины дорогие испортили? — пристаю я к солдатам.

— Ты от нашего брата ума не требуй, мы не ученые, — сухо отвечает солдат Родионов.

А другой, рядом с ним, высокий, худой и крючковатый, поблескивая хитрыми глазами, насмешливо бросает в толпу солдат:

— На картинах-то все больше женский пол...

И все солдаты разражаются хохотом:

— Пуска-ай! Чего там! И без картин проживут!

— Ну, без картин, по-вашему, проживут, а ведь без последней коровы прожить никак невозможно; помрут детишки, голодной смертью помрут.

— Смерть не наследство, от нее не откажешься, — спокойно возражает тот же Родионов.

И только Семеныч говорит мне с добродушным сожалением:

— Война добру не научит... Все, ваше благородие, наново переучивай...

И почему-то добавляет с глубоким вздохом:

— Присяга — она человека за душу держит!..

8.

...Третьи сутки гнилые ветры и ливни. Холодно. Палим заборы, крыши и снопы. Приходят бабы, ревут, припадают к ногам, целуют руки, жалуются: забрали овес, пшено, сало... Что делать? Либо гнить солдатам в грязи и околевать от голода, либо... Другого исхода нет. Двигаемся на Глогов. Пронзительный ветер воет на все голоса. Земля наполнена грязью, тоской, унынием и сотнями испуганных жителей, которые бессмысленно мечутся из Виделки в Стоберну, из Стоберны в Бабицы и т. д., и т. д., по лесам, по грязному бездорожью. Третьи сутки мы странствуем по разоренным местам, ругаемся, злобствуем, сталкиваемся с безобразными фактами, и на все наши вопросы: «еще далеко до Глогова?» — слышим один угрюмый ответ: «не знаем, мы там не бываем».

Льет, не переставая, дождь и мрачный Ханов скрипит пророческим тоном:

— Ноне дожди — так до самых морозов лить будут.

К вечеру добрались до одной из многочисленных Вулек и, после долгих тщетных стараний разместиться в шести халупах, решили двигаться дальше. Фельдфебель упрямо урезонивал Кузнецова, доказывая, что лучшего ночлега все равно не найдешь, что солдаты устали, что лошади не кормлены, и надо подождать до рассвета.

— Да ты что, покойников боишься? — сердился Кузнецов, — как бы в потемках не примерещилось, что ли?

— Впотьмах — и блоха страх, — сдержанно огрызался фельдфебель.

— От блох-то мы и спасаемся. Понимаешь?

Выступили в восьмом часу. Дорога шла вниз по трясине. По бокам тянулись леса. Не было видно ни зги, и казалось, что все мы, с лошадьми и зарядными ящиками, гремя и ругаясь, ползем в какую-то пропасть. Темнота развязала языки, и в воздухе вместе с едкой матерщиной плясали злобные, свирепые крики:

— Эй ты, в рот тебе чесотка, чего стал?

— Начальство дорожку выравнивает...

— А!.. Жрет — жрет, а везти не везет...

— У-у! Задави тебя смерть! Ползешь, как мокрая вошь...

Свистят кнуты и нагайки, слышно, как тяжелые кнутовища лупят обессиленных лошадей. Часа два длится истязание, а мы все как будто на том же месте.

— Стой! Стой! — доносится из передних рядов, — канава!

Отряжают две сотни артиллеристов с топорами и пилами, и те начинают прокладывать новую дорогу в лесу. Передние повозки продвигаются на несколько шагов и застревают между деревьев.

— Это они нарочно, прохвосты! — кричит Кузнецов.

— Ничаго, и тут не подохнете, жирнотелы поганые, — раздается близко возле меня.

И, уже никого не слушая, солдаты сурово и твердо вдруг решают:

— Ребята, выпрягай!..

— Выпрягай! Здеся и заночуем! — начальственным окриком несется голос фельдфебеля, и в пять минут разамуничены лошади, и мы, оставив у парка караульных, забираемся в лес поглубже, чтобы укрыться от дождя. Но и тут мокро и холодно. Лошади сбились в кучу. Солдаты дремлют, прижавшись спиной друг к другу. Иные, наломав еловых ветвей, храпят на колючих иглах, как на перинах. Из кучек, где солдатам не спится, несутся недовольные вздохи:

— И для ча только по болоту ныряем?

— По безрассудству! — слышится сумрачная реплика.

И только неугомонный Шкира преувеличенно громким голосом, явно рассчитанным на внимание начальства, рассказывает свои бесконечные сказки:

— ... Подошел этта парень к дуплу и спрашивает, какая меня судьба ждет-стережет? А внутри ти-ихо, никто голоса не подает...

К рассвету все на ногах. Дождить перестало. В тишине и спокойствии седого утра зыбко сереют из тумана солдатские фигуры; подрагивают бокастые лошади; тарахтят, гремя цепями, зарядные ящики, с напряжением вытаскиваемые обессиленными лошадьми, по брюхо загрузшими в болоте. Свирепо работают кнуты; звенит солдатская ругань. Но часто, спрыгивая с передков, солдаты впрягаются заодно с лошадьми и, налегая на грязные колеса, сочувственно кряхтят:

— Замучилась скотина, до самого краю подошло, один зол-конец всем будет...

— Треплется, бедная, как рыбка на крючке...

И вдруг, как по волшебству, исчезли печальные, бурые цвета, расплылся водяночный туман, и далеко кругом стало видно и ясно.

— Глогов! — крикнули ездовые, указывая кнутами куда-то вдаль.

«Мой друг, мой нежный друг. . .» — запел Кузнецов и пустил свою лошадь вскачь.

Вся колонна как-то разом вытянулась, приободрилась, и спустя двадцать минут мы въезжали в чистенький европейский городок, с каменными особнячками, палисадничками и торцовой мостовой. После ночевки в лесу, после нищенских, грязных Вулек, после тараканов и блох странным и сказочным казалось это волшебное превращение, эта великолепная мощеная улица, уютные домики, как на курорте, в которых, чувствовалось, должны быть веселые дети, красивые девушки, добродушные люди, и всем им, казалось, живется покойно, тепло, удобно. . .

Но в городе было пусто. Не видно было кудрявых детей, не слышно было смеха, зияли пустые рамы без стекол. На все обращения и расспросы немногие жители-поляки сумрачно и нехотя отвечали:

— Жиды в синагоге — ничего нет. . .

— Чорт их бери, тащи их из синагоги, — сердились офицеры. И кто-то из солдат, злобно блестя глазами, охотно отозвался:

— Со всей удовольствией.

Вскоре появился растрепанный еврей и испуганно, низко кланяясь, поднес нам в корзине яблок. Я пошел бродить по квартирам, и везде, оказалось, хозяев нет, и остались только следы чужого хозяйничанья; разбитые вдребезги рояли, разграбленные шкафы, обломки дорогой обстановки, обрывки ковров, портьер, одеял, черепки посуды. . . Кое-где виднелось и забытое орудие этой дикой расправы: казачья пика, красноречиво торчавшая в углу.

Штаб наш остановился в доме, на дверях которого блестела никкелевая дощечка с красивой надписью: Chiel Goldmann. Почему-то в этой квартире уцелели все зеркала,

умывальники, посуда, столы и стулья. На чердаках висели нетронутые замки. Но не успели мы расставить наши койки как узнали от денщиков, что повар наш, вертлявый и плутоватый Юрецкий, уже обшарил все чердаки, разыскал там шубу, два костюма, английское седло и даже все это сбыл кому-то по сходной цене. Я попробовал было обратиться к Юрецкому с увещаниями.

— Все равно, — ответил он, нагло блестя глазами, — другие возьмут... Здесь был еврейский погром.

— Почему ж не все дома разграблены?

— А это в которых икону евреи выставили.

— Куда же все жители девались?

— В синагогу попрятались. Ну и смеху... Обмотались белым рядном, только нос да уши торчат. Шепчутся, плачут... Что ни спроси — молчат как мертвые... Только деньги суют...

— А деньги за что же?

— А кто их знает... Сухие, пейсатые, трясутся...

Плохо спалось мне этой ночью. Мешали все мысли скучные.

Рано утром я вышел на заднее крылечко, заросшее плющом, и увидал, как из соседнего домика, который мы считали необитаемым, вышла старушка в одних чулках и, озираясь, спустилась в сад. Крадучись и волнуясь, она шла по ржавой, осенней дорожке, и остановилась совсем близко возле меня у большого бугра коричневых золотисто-рыжих листьев. Старая-престарая еврейка, жалкая и обмызганная, похожая на облезшую крысу. Она раза два пугливо осмотрелась по сторонам, пошарила рукой и, мне показалось, что-то спрятала в листьях.

— Что вы делаете? — вырвалось у меня по-польски. И я мгновенно почувствовал, как резко и некстати прозвучал мой вопрос.

— Ой, пане! — страстно и кратко вскрикнула еврейка и, глядя в глаза мне с безумным страхом и болью, прошептала умоляющим голосом:

— Мòя цурка, там мòя цурка...

И я все понял.

А в полдень, когда мы уходили из Глогова и солдаты грузили на артиллерийские возы зеркала, подушки, стулья, ковры и всякую кухонную утварь, та же старушка металась от воза к возу и, рыдая, простирая к солдатам руки, захлебываясь слезами, о чем-то громко молила их.

— Пшла! — тупо и кратко отмахивался крупный и сумрачный Савельев

Но старушка, заметив офицеров, взревела еще больше.

— Ну ты, жидовская морда, поговори у меня, чортова кукла! — зарычал Савельев и пнул ее сапогом. Старушка грохнулась об земь.

Офицерам стало не по себе.

— Верните ей, что вы там забрали, — крикнул повелительно адъютант Медлявский.

— Мы и сами не знаем, чего ей надо, — засуетился Юрецкий. — Зря привязалась, лопочет, ругается, за грудь хватает...

Медлявский, прапорщик из адвокатов, добродушный, с наивными глазами и немного высокопарной речью, сердито сдвинул брови и резко отчеканил:

— Прошу не прикидываться дурачками! Картина для меня ясна.

— Никак нет, — сладеньким и убедительным тенорком запел Гридин, унтер-офицер из жандармов, — никакой картины не было... Зря пристает жидовка, чтобы только начальство осерчать изволило. Истинным богом говорю: никакой картины не было.

— Чего там, — загудели и другие солдаты, — на то и война. Что со стола, то под себя.

— И до чего это жиды на крещеную душу злобиться рады, — попрежнему сладостно протянул Гридин. — Кричит криком старуха, а спроси ты, чего?.. Смерть за спиной стоит, а ей сундучишка жалко... Такой штыка в брюхо всадить — и то грех не велик... Кто тебя, старая, ограбить может, ежели всюду патрули ходят?..

Еще минута — и парк вытянулся, загрохотал, загремел, по камням, оставляя позади опрятные домики, теперь нищие и опозоренные. Из дверей и окон выглядывали евреи с виноватыми лицами, и солдаты, проезжая мимо них, широко размахивали кнутом, стараясь хлестнуть их по лицу. Офицеры, посмеиваясь, смотрели на эти сцены.

— Неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища, — беспечно иронизировал Кузнецов. И, раскрывая тайный ход своих мыслей, мечтательно и громко добавил:

— Куда это они Хаичек всех попрятали? Я все дома обошел...

9.

Высокое... Воля Ранишевска... Стесе... Что-то дикое, спутанное, как в горячечном бреду. Ветер, пронизывающий до костей, ливни, распутица, озлобление и ужасные ночные переходы. Тьма кромешная. Ни одного факела, ни одного фонаря. Вся надежда на лошадь. И сколько ума, выносливости и благородства у этого безответного друга. Вспоминаю ночное движение на Стесе. Впереди два проводника, за ними я с командиром в тележке, запряженной цугом. Отъехали саженей триста от места — трясина. Гикнули, крикнули — лошади рванулись и поломали дышло. В то же мгновенье передняя пара подхватила, скользнула по грязи и понеслась по скату в канаву, пересекавшую дорогу.

— Стой, стой! Обопнись! — отчаянно закричали проводники.

Но кучер уже выронил вожжи, и фурманка стрелой ка-

тилась вниз. Еще минута — и лошадь за лошадью — все очутились бы в глубокой канаве, потянув за собой, конечно, и фурманки с людьми. Но выручила сообразительность лошади. Одна из передней пары мигом легла на живот и, упираясь всем корпусом, удержалась на самом краю канавы...

Потом шли пешком до рассвета. Двигались напрямик, целиной, по картофельным полям. Кругом стоял гул и стон от пехотных обозов. Не было видно ни людей, ни телег. Только тяжкое сопенье, и грохот, и крик, и матерщина говорили о том, что здесь сгрудились тысячи глоток, колес и ног. Вьющейся, качающейся серой стеной тянулась пехота. Отчаянная, неслыханно-виртуозная брань визгливыми молниями рассекала густую тьму. От этих циничных, осатанелых криков становилось душно и страшно. Казалось, что вся эта густая липкая, тяжелая грязь, которая хлюпает и чавкает под ногами, превращается в кнуты и свистящую матерщину, ложится жестокими ударами на конские бока, вливается потоками в уши, стекает по лицу и отдается бессчетным эхом в хриплом скрипе телег...

Потом слушал бесконечные причитания ограбленных баб, которые оплакивали свое сено, овес, картошку, «остатню крову» и свою темную судьбу.

— То цыганство, шахрайство! — надрывалась какая-то старуха, которой фуражиры всучили семь рублей за корову.

Думал о лошадях, павших дорогой от усталости, о солдатах, о деревьях, которые треплются под дождем, о воющем ветре. И только на рассвете, когда серый туман ударил в слепые окна и стало в воздухе чище, я уснул.

Но в 7 часов уже снова был на ногах. В хате толкутся бабы и старики. Вошли хозяйские дети и, дрожа от холода, робко прижались у порога. Их усадили на печи, угостили цукатами и сахаром, и между нами устанавливается живой обмен чувств. Ребята любопытно поглядывают веселыми глазками на офицеров и поминутно выпаливают:

— А це дасы? (А это дашь?)

Офицеры хмуро гримасничают, и на печку летят коржи, баранки и плитки шоколаду. Тут же простоватый Кубицкий (один из вестовых командира, молодой, добродушный парень) сцепился с хозяином избы на тему о национальных преимуществах.

— Разве ж вы можете против наших? — говорит он самодовольным тоном. — У нас, смотри, сапоги, а у вас бутики: за пенек зацепился, пуговица растегнулась — и воевать нельзя...

Идиллию нарушает появление ординарца Ковкина. Он подает командиру пакет с двумя крестами и подчеркнутой надписью с е к р е т н о и тут же конфиденциальным шопотом добавляет:

— Приказано итти на Баянов.

— Эх-х! — сладко потягивается Кузнецов, — хорошо бы сидеть теперь в мягком кресле, а над тобой канарейка заливается, жалобно-жалобно...

И вот мы опять в дороге. Земля покрыта зеленым мшистым ковром, в котором нога утопает, как в перине. Мучительно двигаться по этой вязкой трясине. Уже первый ящик прорезает глубокий след во мху. Второй увязает по ступицу. Третий — в глубокой яме, наполненной водой. Ломаются колеса, трескаются дышла. Лошади задыхаются от натуги, и многие падают от разрыва сердца. За двое суток мы потеряли их больше десяти. Повсюду, где проходили накануне обозы, множество конских трупов. Голодные, истощенные лошади шатаются, как пьяные, поминутно падают и лежат, уткнув бессильные морды в холодный мох. Большинство исхудали до того, что кажутся обглоданными до костей. А овса нет. Сена едва хватает на одну дачу в сутки. Кругом на десятки верст все съедено до последней соломинки.

— Каждый день ложусь с мыслью, — жалуются коман-

*

диры парков, — чем буду кормить лошадей завтра и смогут ли лошади везти.

Но лошади должны везти и везут. Задыхаются, падают под градом ударов и вновь идут, голодные, бессильные и покорные. Солдаты с жалостью повторяют:

— Пропадает скотина... По земле двуколки идут, какой бы твердый грунт ни был, земля дышит, как на трясине. А тут гляди-ко! Треплются лошадки, как чечотку танцуют. Маятно!..

С людьми, в сущности, обстоит не лучше: нет ни хлеба, ни соли, ни овощей. Одно лишь мясо с картофелем. Мяса вдоволь, но оно всем опротивело, приелось, и солдаты макают его в кровь, чтобы сделать менее пресным. От бессонницы, от усталости, от долгих переходов и невылазной грязи у людей озабоченный, сумрачный и угрюмый вид. И вдруг на одном из переходов суета, движение, веселый, радостный шум в солдатских рядах:

— Держи, держи его! — несется возбужденное гоготанье. — А-ту-ту-ту!.. У-лю-лю!.. Заяц!.. Заяц!.. Держи!..

И десятки бородатых людей с криком и хохотом гоняются по распаханному полю за ошалевшим зайцем, который мелькает задними лапами по высокой меже.

— Не бей, не бей камнем! — кричат сердитые голоса.

— Живьем хватай его, хлопцы!

И в течение десяти минут вся колонна, забыв об усталости и войне, гудит, улюлюкает, волнуется и с радостным блеском в глазах следит за этой охотой.

Потом опять насупились солдатские лица и ушли в себя, в какие-то свои мысли, которых они никому не сообщают. Даже приятели мои, Семеныч и Асеев, сурово хмурятся и молчат, или же скажут вполголоса, с раздражением:

— У начальства нрав легкий, всякую букашку жалеет, а поди — пожалься, всей рукой бьет...

— Не пойму я, Асеев, что вы сказать хотите, кто это всей рукой бьет?..

— Где уж нас понимать да жалеть, — еще загадочнее ворчит Асеев. — Спокон веков мужику наказано за правду терпеть. А где он тот веков покон, откуда пришел и кто его видывал? Вот ты ученый, скажи ты: какой он таков — веков покон?

Асеев — сектант, начетчик, и я знаю, когда он пускается в эти схоластические изыскания, это значит, что ничего от него не добьешься, или, как говорят иронически солдаты, почнет он перед богом манежиться и по небу колесом ходить...

...Сегодня проснулся я с радостной мыслью, что на душе у меня хорошо, и снова хочется жить! Физическая грязь, канавы, лужи, дохлые лошади — все это ведь не настоящее, все это исчезло, ушло, забыто, все это было вчера. А сегодня мы отдыхаем в Южном Баянове, в имении графа Комаровского, в роскошном палаццо. Комнаты огромные, светлые. Окна во всю стену. Электричество, старинная мебель, зеркала. Перед домом английский парк с высокими кленами и астры, покрытые росинками. Во всей Галиции давно прошло уже лето, а здесь стоят еще ясные, теплые дни.

Правда, электрическая станция разбита, клозеты загажены, убранство комнат наполовину раскрадено, но под белыми потолками высокой спальни так приятно мечтается. О чем?.. О тепле, о ласке, о любимцах судьбы, которые спят на перинах, умываются над чистою чашкой и едят пшеничные кренделя; о людях, бывающих в театре, следящих издали за войной и ежедневно читающих газеты; о книгах, о бане, о салфетках, о сладкой лени, обо всем, из чего так просто и незаметно слагается человеческое «счастье».

И так лежишь и мечтаешь до пяти, до шести, до семи часов, пока за окнами наступает черная осенняя ночь...

Ночью хуже, ночью подкрадывается тоска и часы одиночества. И почему-то охватывает тревога, точно ждешь, что вот-вот ворвется с предписанием Ковкин и грубо напомнит нам, что пора уходить, пора опять под ливни, под свистящие ветры, в эту черную, как сажа, ночь с такой же черной грязью. Ночью вспоминаешь: где-то далеко-далеко во тьме вдруг вспыхнет зеленый огонек, блеснет, как задорный вызов, и погаснет. Потом ближе, и еще ближе. Вчера, когда мы пришли в Баянов, я наблюдал это явление долго. Было темно, но тихо. Солдаты спали. И вдруг высоко в небе, в стороне Ярослава вспыхнул далекий свет и растаял зеленоватым сиянием. Потом над Перемышлем. Потом так же беззвучно, но гораздо ярче и ближе. Потом совсем близко, и было похоже, будто горит пучок соломы, облитой керосином, загорается на высоком шесту и сразу гаснет. И так же методически — через каждые 8 — 10 минут — огоньки уходили дальше и дальше, сперва к Гродиско над лесом, затем еще туда, на восток, откуда шли наши части. А сегодня я снова вижу, как мелькают и гаснут огоньки, вспыхивают и облетают полукольцом широкое пространство. Что это? Кто-то явно сигнализирует, ведет немую беседу. — О чем и с кем? — с тревогой спрашивают друг друга солдаты и офицеры. И все мы чувствуем ночью, что мы в чужой неприятельской стране, со всех сторон окруженные враждой, безвестностью, смертью...

10.

От Баянова до Гжатки и от Гжатки до Дембе — все леса да леса. Иду сосновым бором, собираю бруснику, интересуюсь зайцами, птицами и понемногу впадаю в полуварвар-

ское состояние. Думать не хочется ни о чем. И лес занимает меня не красотой, не чудесными запахами своими и мертвой осенней тишиной. Занимают меня больше дороги и переправы, широки ли просеки для проезда и твердый ли грунт? И еще мне хочется знать, далеко ли до ближайшей ночевки? Остальное не важно. О Франции, об Европе, о войне на западном фронте мы ничего не знаем и знать не хотим. Надоело строить догадки.

В Дембе грязно и скучно. В хатах тесно и неопрятно. Темные от копоти стены, кривые бревна потолка, немытые, сопливые детишки шевелятся в люльках, на печке. Из каждого угла глядит тяжелая бедность. Хозяйка — широкоскулая, некрасивая баба, глядит жадно и тоскливо. С жадностью смотрит она на наш хлеб, на наши консервы, еду и кофе. Муж у нее на войне, и когда мы заговариваем о боях, она вытягивает шею и не отрывает от нас сериозных и строгих глаз. Как-то в разговоре я предложил ей постирать наше белье, но она отрицательно и даже как будто враждебно мотнула головой.

— Мы вам заплатим, — успокоил я ее.

— Не, не! — с испугом в глазах заговорила она и вдруг залилась слезами.

Только тогда мне стало ясно, что означает ее торопливый отказ. Я забыл, что муж ее на войне, что он, быть может, ранен, убит. А ей предлагают заниматься стиркой на нас, ее смертельных врагов.

Солдаты возятся с зайцем. Где-то в дороге попался им подбитый заяц, и они приобщили его к нашему хозяйству, передали коровнику. Коровник — быстрый, суетливый мужик, несчастный, убогий, который держится как-то в стороне от войны и, несмотря на шинель и винтовку за плечами, всем своим видом сразу напоминает деревенского пастуха. Зовут его все по имени — Осип. Лицо у него уми-

ленное, жалостливое, говорит всегда нараспев и только о крестьянском: о кормах, о скотине, об урожаях. Ходит позади всех, без дороги, никогда не сбивается и в темноте различает каждую канаву не хуже, чем днем. Солдаты посмеиваются над ним, но любят. Любят и Осипа, и все его хозяйство. Хозяйство это странное. Оно состоит из собаки, коровы и мальчика-добровольца. Все трое — приемыши парка. Собака пристала к нам еще где-то в Ковеле. Умный, ласковый пойнтер с кофейными подпалинами. Он пробовал пристроиться к офицерам, но те гнали его от себя, потому что весь он запаршивел и постоянно катался кубарем по земле от нестерпимого зуда. Солдаты прозвали его — Блохатый и тоже не церемонились с ним. И случилось так, что пес увязался за Осипом, который лечил его, обкладывал листьями, и понемногу Блохатый поджил, подкормился и стал смышленой, ловкой и чрезвычайно крепкой собакой, ни на шаг не отходившей от Осипа.

Второй наш приемыш — маленькая, черная коровка, с белым пятном на лбу. Еще во время первых боев под Холмом мы поручили весь закупленный скот наблюдению Осипа. В день обстрела под Цирковицей в его распоряжении находились четыре коровы. Когда парк стал уходить на рысях из-под огня, все забыли об Осипе с его стадом. На другой день вспомнили, поговорили, пожалели и ни минуты не сомневались, что он пропал. А дня через три Осип явился со всем своих хозяйством — с коровами и с Блохатым — цел и невредим. Расспрашивали его, как он добрался, где шел, но он только посмеивался и повторял: шибко шел, с разгона память отшибло... И потребовал, чтобы черную коровку не резали, а оставили на счастье при парке до конца войны.

— Очень глупым быть надобно, чтоб этой коровки не заметить, — говорил решительно Осип. — Я на ей верхом как на коне скакал...

И вид у Осипа был такой, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и скрывал про себя. С тех пор черная коровка с белым пятном на лбу стала ходить за парком, как собака. Она делит с нами все трудности походной жизни, была под обстрелом и давно усвоила команду. Как только парк пускается рысью, рядом с патронными двуколками и артиллерийскими возами, не отставая ни на шаг, мчится во весь опор боевым аллюром и маленькая черная коровка. Это забавляет всех нас и сделало коровку любимицей парка. Бывали голодные минуты в нашей жизни, но никому не приходило на ум зарезать коровку. Как бы убеждая себя, солдаты говорили:

— Какая ж в ей теперь говядина от такого бегу? Одни жилы да кости. Рази ж такая говядина уварится?

Третий приемыш — Колька, или — как величает его более торжественно Осип — Николай. Это мальчишка лет четырнадцати. Увязался за нами под Холмом и всех уверяет, что он разыскивает свою часть. Это тот самый Колька, в котором Ханов сразу заподозрил шпиона. Но мальчишка плакал, божился, сумел вселить к себе жалость и, после нескольких столкновений с солдатами, очутился под покровительством Осипа. Ест он из общего котла, дрогнет с солдатами под дождем, но доверием их почему-то не пользуется. Странными кажутся его внезапные отлучки. Исчезнет на день, на два, уведет заводную лошадь и потом вновь появляется.

— Где был?

Начинает плести какую-то несуразную историю, как лошадь его «прибилась к куче» и он не смог ее отогнать, как он поехал молебен заказывать в соседнее село и помолиться троеручице божьей матери... Ложь на лице написана.

— Какое тут богомолье на войне, — ворчит недовольно Ханов и зловеще добавляет:

— Шпеончик, как есть шпеончик...

Но, благодаря покровительству Осипа, Николаю все сходит с рук.

Без Блохатого, без коровки, без Николая в парке чего-то нехватало. Неизбежны в походе сантиментальные спутники каждой части — батарейные козлы, собаки и петухи...

...Мы сидели в самом благодушном настроении, за утренним чаем, когда в комнату вбежал штабной адъютант штабс-капитан Терентьев и остановился, как вкопанный, — весь изумление и бешенство:

— Вы что, в плен решили сдаваться? Чего вы тут сидите?

— А куда ж нам итти? — удивленно переглянулись мы.

— Это чорт знает что! Приказание было передано еще ночью. Вся дивизия на-ходу. Снимайтесь сию минуту. Всем штабом — на Баянов, всем боевым частям — на Станы.

Моментально все загудело, засуетилось в парке, и, как всегда, неизвестно как и откуда, зароились в воздухе всевозможные слухи:

— Обошли нас на правом фланге, — шепчут таинственно пессимисты, — ждем подкрепления и отходим.

— Ничего подобного, — заявляют уверенно оптимисты, — я от штабного полковника слыхал: неприятель просто не обнаружен в Краковском направлении, и мы перестраиваем фронт.

— Да нет, — таинственно шепчут знатоки стратегических планов, — это маневр: нас сперва на Краков направили, чтобы сбить противника с толку, а теперь, когда он все силы сосредоточил под Краковым, нашу армию двинули в обход, к Сандомиру.

Солдаты решают проще.

— Идем на Замостье — лошадей менять.

— Мир! Замирение! Казак казав!.. Идем на Холм, оттуда машиной в Киев...

Заночевали снова в Баянове, но уже в крестьянской избе (в замке расположился штаб дивизии) и отсюда вместе с третьим парком двинулись в соседнюю деревушку для соединения с первым парком. Второму же (головному) парку предписано было продвинуться в селение Буковину (по ту сторону Сана) для обслуживания какой-то отдельной батареи, назначенной защищать переправу через Сан. К вечеру подошел первый парк в ужасном состоянии, потеряв за два дня пути восемнадцать лошадей.

— Дорога такая, — жалуются солдаты, — что хоть святому великомученику в пору... Падают лошади направо и налево, прямо, как телефонные столбы, округ всей пути валяются...

Идем дальше. Куда — не знаем. Говорят — по ту сторону Сана. Дорога по пояс в непролазной грязи. Конский состав редеет с каждым часом. В зарядных ящиках уже только по две запряжки (вместо трех). На каждом шагу стоят изящные фаэтоны и коляски, вывезенные из галицийских имений и теперь брошенные среди дороги вместе со шкафами, мраморными умывальниками и дорогими зеркалами. Какое-то странное отупение овладевает всеми: не хочется ни думать, ни беспокоиться; в душе царит тупая, покорная готовность жить по чужой указке. Лица у всех осунувшиеся, вялые, глаза — холодные, тусклые, равнодушные. В голове — «молчание и пустота в мыслях», как любит повторять Базунов. Видишь вокруг себя предметы и лица, понимаешь все, что происходит кругом, но в то же время все как-то кажется случайным, эпизодическим, лишенным общего смысла и общей цели. Видишь, например, как тонут в грязи зарядные ящики, или идет дождь, или как громадный и неуклюжий Вагнебухов хлещет тяжелым кнутовищем взмыленных лошадей, но для чего эти ящики и лошади

и все эти случайные отрывки жизни — сказать не можешь. Где-то в глубине сознания шевелится затаенная мысль: а может быть все это нужные части одного гигантского организма, в который входит и моя собственная жизнь? Может быть, ничто не случайно в этом хаотическом грохоте и мучительном шествии по болотам, может быть, все здесь имеет единую душу и единую, нами невидимую связь?..

Растерянный и беспомощный, я ищу спасения у Семеныча. Из его простых и открытых глаз струится такая светлая душа. Он спокойно слушает мои жалобы и важно роняет сентенцию за сентенцией своим тихим, певучим голосом:

— Уж больно ты, ваше благородие, умом ворочаешь... Нет хуже, как думать долго... Будешь вот так умом раскидывать — душа обомлеет, такое представится, что самому себе чужой станешь... Ты свое примечай, а с судьбой не спорься... Лбом стены не пробьешь... А крови-то не давай схолодиться... Война дух веселый любит... А на все стонать да вздыхать — и силы не станет...

И солдаты, действительно, рады всякому поводу стряхнуть с себя походную скуку. Гремит страшная канонада. Где-то совсем близко, повидимому, завязывается горячий бой. А под этот грозный аккомпанимент солдаты устраивают охоту на диких коз. Рассыпавшись по парку Тарновского, где мы расположились на отдых, они с криком и хохотом гоняются за оленем, бьют фазанов и ловят павлинов, совершенно не думая о том, что через два часа их снова ждут походные муки.

11.

...Грязно, скользко и холодно. Вторые сутки беспрерывная пальба и упорно держится слух, будто неприятель усиленно наседает и уже находится где-то в восьми верстах от нас. Переяславский полк окапывается. Дивизиону нашей

бригады приказано стать на позицию. Сегодня в девятом часу вечера получен спешный приказ из штаба: завтра к шести утра хвостом колонны перейти через брод у деревни Лапувки и, не задерживаясь, двигаться на Ниско-Заречье-Вулька Тапевска. Дорога инквизиторская. Задние взводы отстали на много верст. Поминутно теряем лошадей. В Лапувку добрались на рассвете, постучались в окошко у первой же избы и потребовали хозяина:

— Веди к броду.

Крестьянин босой и заспанный долго почесывался, отнекивался и, наконец, повел нас по пескам и косогорам, и через час подошли к реке. Сунулись в воду — аршина два глубины. Разбудили другого жителя — тот заявил, что здесь и пехоте не пройти, не то, что с зарядными ящиками. А перейдем — на том берегу все равно загрузнем, не выберемся из топи.

— Ишь ты, Сусанин какой, — рассвирепел Базунов. — Расстрелять его надо, подлеца!

Но Сусанина уже след простыл. Опять поплелись по пескам да по болотам и к полудню кой-как перебрались через реку, оставив на переправе один зарядный ящик. Лошади еле передвигались. От усталости люди совершенно лишились языка и только мычали. С обеих сторон, на много верст стеной тянулся непроходимый сосновый бор; подозрительно вспыхивали какие-то зеленые огоньки. Но нам было все равно. Хотелось лишь одного: присесть, уснуть... И вдруг солдаты один за другим стали спотыкаться и падать в грязную, вонючую гущу, в которой валялись десятки подыхающих и уже давно разложившихся лошадей.

— Но, но! Подтянись, ребята! — раздается зычная команда Кузнецова, и солдаты стряхивают с себя сонную одурь и плетутся дальше.

Опять густая, глубокая, вонючая гуща, вся замешанная на конском помете. По бокам леса, леса и леса. Дух

захватывает от истерзанной и размочаленной колесами падали. Дождь сечет как кнутами.

Облепленная грязью одежда задубела и покоробилась и трещит как хомут. Каждый шаг это какое-то крестное шествие. С высокого пригорка я смотрю на узкую, черную дорогу, всю в глубоких впадинах, наполненных жидким, зловонным киселем, сверкающим и кипящим как смола; вижу далеко впереди и позади себя опрокинутые зарядные ящики, двуколки, фурманки, артиллерийские повозки, какие-то бревна и шпалы, рельсы подвижного состава, колеса, шинели и валющихся по обочинам, на пнях, на шинелях и в грязи выбившихся из сил солдат. Они лежат неподвижные и замученные, рядом с сидящими по брюхо в грязи полуживыми, еще барахтающимися и судорожно дергающимися лошадьми... Из этой липкой, вонючей и сверкающей гущи несутся тяжелые крики, сопение, хлопанье кнутов, едкая матерщина и отчаянные вопли:

— Погибать, ребята! Окормили австрияцкую землю дополна...

А дорога все страшней и ужасней, и грохот орудий надвигается все ближе и ближе.

— Пропадем, не выберемся, — бормочут сквозь зубы офицеры.

Близится вечер. Лошади, давно не получавшие корму, отказываются дальше везти. Происходит какое-то таинственное совещание между солдатами, и я вижу, как из зарядных ящиков вынимаются гранаты и шрапнели, и их уносят куда-то в лес. Проходит не больше получаса, парк двигается дальше. Двигается легче, свободнее; лошади крепче перебирают ногами. Еще минут двадцать, и мы на вершине огромного холма. Как по волшебству, исчезли леса и топи, и перед нами вдали зажигается огнями город Ниско.

— Ишь ты чутье какое, — посмеивается Базунов.

— Вот откуда у них вдруг сила появилась: жилье почуяли.

— Да нет же, секрет не в этом, — говорит наивно Костров. — Разве вы не знаете, что солдаты опорожнили ящики и половину снарядов закопали в лесу?

— Официально мне ничего неизвестно, — строго, сквозь зубы произносит Базунов, — а холодно и здраво рассуждая, если уж верить в солдатское чутье на войне, отчего бы нам не поверить и в конское чутье? . .

. . . Мы в деревне Шиперки, в низенькой и жалкой хатенке, среди солдат и детишек. Лежим на койках, вплотную приставленных одна к другой. Солдаты заглядывают в окошко и громко делятся впечатлениями:

— Должно быть околодок: все койки под ряд стоят.

Более настойчивые врываются в сени, чиркают спичками и кричат сердитыми голосами:

— Да что же нам пропадать, что ли? Отворяй, ребята! . .

Потом робко просовывается намокшая солдатская голова и спрашивает неуверенным голосом:

— Здесь кто? Солдаты?

— Уходи, уходи! — повелительно кричат денщики, — здесь господа офицеры.

Солдаты уходят, лезут на чердак, где их набилось уже великое множество, и слышно, как трещит потолок, как они тяжело кряхтят и ворочаются. И им, как и мне, не спится. В комнате одуряющая вонь. В зыбке стонут и мечутся три девочки, больные корью.

Просыпаюсь от душу раздирающих криков: воплем воют растрепанные бабы, у которых отбирают картошку, масло, коров. В ушах назойливо ноют их всхлипывающие причитания: «дрібны дітки, маты старуха, овес забрали. . .». В хате дымно и грязно. Визжат больные детишки. Неистово

кусают блохи, которые ползут и скачут по лицу, по платью, по стенам, столам и скамьям. Вонь, духота, загаженные окна. С отвращением проглатываю чай и апатично прислушиваюсь к тому, что происходит кругом. В сенях столпились все наши денщики, и оттуда доносится хриплый и медлительный голос Ханова.

— Это еще не холодно. Теперь как раз рыбу ловить: мы все, льговские, коло саду обучены, а к зиме рыбой занимаемся. Дома я четыре сети оставил, по 12 рублей сеть. Река у нас Сейм, в Десну впадает. По нашей реке всякая рыба ходит: ясь, окунь, карась, щука. Один граф 70 000 р. штрафу отдал за то, что из своего сахарного завода отраву в реку напустил: вся рыба подохла. Кабы еще в текучую воду, тогда ничего: а то он в полую воду, по весне, когда река во льду еще стояла...

Доктор Костров, лежа под одеялом, читает вслух отрывки из «Войны и Мира», а Евгений Николаевич (Базунов) сопровождает это чтение ядовитыми репликами:

— Война, — говорит он своим насмешливым голосом, — развивает вкус к героизму и благородству, поддерживает в людях любовь к чистоте и опрятности. Вот послушайте, например, предписание из штаба дивизии:

«Замечено, что в некоторых частях уход за лошадьми поставлен не достаточно опрятно... Инспектор артиллерии собирается сделать смотр паркам. Посему обратить самое серьезное внимание на чистку и содержание конского состава...».

— Вот почему об э т о м ничего не написано у вашего Толстого? У него там все поэзия, психология, характер русского человека... А скажите мне, что он написал о клопах, о блохах, о вони, о клейких скамейках и прокисших полах, о плачущих бабах, о детях, у которых приходится вырывать изо рта последний кусок хлеба, о мародерах, о конокрадах, грабителях?.. Послушать вашего Толстого,

так что ни солдат, то Каратаев, который только о божественном помышляет. А кто из церкви иконы на щепки выбирает? Кто превращает божьи храмы в конюшни и сортиры? Кто обирает трупы до нитки? Кто казенный овес ворует?.. Об этом у Толстого не сказано? А по-моему Каратаев ваш — плут, и вся эта толстовская психо-ло́-гия — чепуха на постном масле! гроша медного не стоит! Книжное баловство — и только. Потому что — сидел ваш Толстой в штабах и занимался смотрами да парадами. А попробуй его приставить к настоящей войне — на полчаса терпения нехватит. Нашел чему умиляться: простоте Каратаевской. Да таких Каратаевых у нас по триста душ в каждом парке! Ничего им не надо, всегда они покойны и беззаботны, а им подавай готовое. Были бы только хлеб, да сухари, да обед во-время, да как бы порция не пропала... Вчера, например, им приказано спешно уходить, в восьми верстах неприятель, а они...

— Ребята! Ужин поспел, разбирайте наскоро порции, а то пропадут...

— Что ж, и это, по-вашему, на умственность и христолюбие русского солдата показывает?..

Крохотные окна нашей хатенки вздрагивают от пушечных выстрелов, и звенит на столе посуда. Нудные разговоры сливаются у меня в голове с отдаленным грохотом пушек, пушечная пальба — с описаниями Толстого, Толстой — с ироническим раздражением командира и с собственными мыслями о войне, о передвижениях, о мучительной усталости, которая снова ждет меня впереди, но которой сейчас нет... И я сладко потягиваюсь на койке от радостного ощущения неподвижности и покоя. Пусть грохочут выстрелы, пусть рвутся близко снаряды, пусть летят во все концы ординарцы, пусть плачут дети и бабы — раньше чем через три часа мы не двинемся с места. Этим сознанием, повидимому, охвачены и другие офицеры. Чувство необы-

чайно молодой и беззаботной радости слышится в голосе Кузнецова, когда он, вдруг сорвавшись с койки, кричит по направлению к сеням:

— Шкира! давай песни петь!

— Рад стараться! — весело откликается Шкира, и через минуту под аккомпанимент двух балалаек звенит многоголосная песня:

Ехал казак на чужбину далё-ёкую
На своем добром коне боевом...

... Сутки мы провозились у границы, заблудившись в огромном лесу. О, какие тяжкие, какие длинные сутки. Ветер, серые сумерки и ропот сосен. И везде болота и топи, покрытые узорчатой плесенью. Они засасывают людей, лошадей, проглатывают целые зарядные ящики. Конский состав все тает и тает. Давно уже опорожнены все двуколки и ящики и идут под одной запряжкой. Ссадили всех верховых и ординарцев, а лошадей пустили в обоз. Поминутно делались перепряжки, и в каждый ящик впрягалось по 10 — 12 лошадей, чтобы извлечь его из трясины. Лошади хрипели, падали и делали по полверсты в час и гибли в невероятных страданиях. Потом долго пламенела вечерняя заря и перешла в длинную, темную, холодную ночь. Кругом большой дикий лес и скверный, осенний, тоскливо воющий ветер. Местами, среди высочайших деревьев, приветливо выступали светлые пространства трясины, наполненные белым качающимся туманом, грозившее неминуемой смертью.

Люди измучились и уже не скрывают от себя и других своего страдания. Лица серые, бескровные, сморщенные. Фигуры понурые, усталые, неподвижные. Многие дремлют находу. Адъютант прильнул к шее своей лошади и сладко храпит на весь лес. Многие распластались на двуколках, свесив голову на-бок и рискуя разбиться о деревья. Идем,

идем, идем. Часы превращаются в долгие дни. Болит иззябшее тело. Машинально переставляешь ноги, и кажется, что все это снится: и люди, и лошади, и большой дикий лес, и скверная осенняя ночь, и насмешливый голос Кузнецова:

— Ах, хорошо бы теперь печку с тараканами, маленькую подушечку и тепленькую девчоночку...

— Стой! стой! — раздается внезапным воплем в темноте. Слышится треск и грохот, суетятся темные тени, чиркают спички, мелькают меж деревьями огоньки... Это опрокинулся ящик или свалилась от усталости лошадь. И опять идем, идем, идем.

— Хоть бы скорее всем сдохнуть!

— Такой жизни и беречь нѐ для ча. Живем как в зверином образе...

Сам командир ядовито подтрунивал над собой:

— Д-дас! У Маколея было четыре лакея, а теперь Маколей сам дуралей... Понесло меня в эту дурацкую историю. Подвигов захотелось... Только бы вырваться отсюда... Сейчас рапорт по начальству: довольно колбасы! Пожалуйте отставку!..

От холода и усталости, от мутного пара, гнилой осенней ночи, люди действительно дичают как звери и с диким криком: вьё, вьё! — полюсуют спины измученных лошадей.

— Что делать? — совещаются офицеры. И решают отправить в разные стороны разведчиков. Я отправляюсь с группой солдат, и вскоре мы выбираемся на опушку леса, где около десятка казаков разложили большой костер и варят кашу.

Подходим. Казаки флегматично осмотрели нас с ног до головы и, не обращая больше внимания, продолжают свою беседу. Спрашиваю, как выбраться на дорогу: все равнодушно отвечают:

— Не могим знать.

Молодой, красивый казак выхватил из костра горящую головню, взмахнул ею в воздухе, прикурил и снова бросил в огонь. Потом протянул тягучим голосом:

— Война войной, а на бабу охота пуще, чем дома. Потому главное — все твое, может душа натешиться, только поворачивайся... Вошел я это в халупу, гляжу: баба, здоровая австриячка, а подле младенчик, с виду быдто жиденок. Глянула стерва — так огнем по всей крови и прошло. Стал ее улещивать, тискать да мять — не дается баба, стыда не забывает. Лицо платком черным прикрыла, плачет... Скучно мне стало, и досада берет... Али товарища позвать? — не хочу я на люди грех нести, да и бабой делиться не согласен...

— Какие же вы разведчики, — сердито прерывает рассказчика наш солдат, — ежели вы на самой границе не можете на дорогу вывести.

— Я не сова в темную ночь по лесам летать, — усмехнулся старший из казаков, и все другие расхохотались.

— А мы, что же, совы, по-твоему? Вас для пользы службы стараться поставили, а вы байками занимаетесь, да кашу в полночь варите...

— Ничего, земляк, и мы не балуемся, и нам своево горя полна мера отпущена: война всем не мать...

— Ты нам про долю сиротскую не рассказывай, — уже со злобой крикнул артиллерист, — ты мне дорогу кажи, а войну воевать я без тебя сумею...

Казак встал, подбоченился и сурово отчеканил:

— Я приказание исполняю по долгу службы, всю тяготу несу, а про дорогу вон в деревне попытай... Там вон, деревня есть, по за лесом.

— Чего зря время тратить, — сказал сердито артиллерист, и, уже уходя, выразительно добавил:

— Ни до чего негодный, не стоящий народ — казаки, только у них и войны, что девок портить.

Кто-то из казаков насмешливо гикнул и запел томным голосом нам вослед:

На войне солдаты модны,
По три дня сидят голодны,
Не и..дят, не баламутят,
А от пищи носом крутят,
Любят девушку-красотку,—
Под рубашкою чесотка...
Ах, Матрешка, хороша,
Уж тебя ль не любит вша.

Мы опять вошли в лес в темноту и гудение. Солдаты изредка роняли отдельные фразы.

— Вишь гудит как, сколько тут душ загублено...

— Где бы уж бесу быть, как не тут?

— А и не веришь, братцы, что есть еще она, жизнь светлая... Куда ни глянешь — плывет за нами трясина... Один страх держит, а то так бы...

— А немцу, думаешь, мед?..

— Немец — он силу свою чует, в ём страху мало...

Кое-как доплелись до «деревни» — из десятка темных, развалившихся шалашей.

— Хорошо живут враги!.. Есть из-за чего войну воевать, — потешались солдаты.

Раздобыли крестьянина, не то лесника, не то явного контрабандиста:

— Веди!

Тот нехотя согласился. Пошли разными тропинками и повертками, добрались до парка. Часам к шести утра очутились на краю леса. Двинулись дальше — топь. Кликнули проводника, а его и след простыл. Делать нечего — полезли в болото. Бились-бились — и кой-как выбрались на дорогу.

Осень. Поблекли, поникли травы, скрипят ощипанные деревья. Так хочется убежища и тепла. И солдат и офице-

ров мучает осенняя тоска, и они ворчливо, придирчиво брюзжат.

— Говорят: душа вольная, свет широкий, — несется из солдатских рядов суровый голос. — А где она ширь да гладь? Вот на этом болоте вся земля в кулачок съежилась. Птицу и ту разогнали выстрелами. Душу всю выкорчевали. Вот и живи по заповеди христовой.

— Какие тебе заповеди на войне, — подхватывают солдаты хором. — Затрещал пулемет — слова евангельские, загремели пушки — трубы архангельские.

— Известное дело: пуля добру научит.

— Христовое воинство... Солдата все любят: солдат царю славу добывает.

— Солдату помочь — всяк не прочь.

— А не дают добром — вгрызайся штыком!

— Пса скулебного — и то пожалеют, а солдатское горе дешево.

— Ходя наешься, стоя выспишься. Эх, ты доля сиротская!

— Будя вам ёрничать да грехов набираться, — вмешивается Семеныч. — Мужик на войне, что медведь на бревне: как по башке грянет — так умом ворочать станет...

Офицерское недовольство сдержаннее и тише.

— Загромоздили штабами Ниско: придется нашему брату в вонючей халупе ночевать, — сквозь зубы роняет Кузнецов. И все вдруг чувствуют себя точно обескровленными. Ниско — неведомый городок, приветливо мелькнувший как-то своими вечерними огнями. Одни мечтают о теплой постели, другие о походном романе, о мимолетном флирте под кровом гостеприимной панни, огромное большинство о легкой наживе: попасть на ночевку в город это значит рыться в обывательских сундуках и перинах, шарить по чердакам, погребом и сараям.

Вечерело, когда мы, сбившись в тесной хатенке, сидели понурые и голодные, но с радостным ощущением покоя. Сколько их впереди — кто знает? Но каждая минута этого покоя — счастливая, долгая нирвана.

За стеной возились солдаты. Слышно было, как трещали кусты и гремело железо зарядных ящиков: это парк становился на ночевку.

— Кашевары! Порцию давай! — поминутно слышались крепкие голоса.

В сумерках низкая грязная халупа с окошком, похожим на глазок тюремной камеры, напоминала собою склеп. Базунов, взгромоздившись на кучу офицерских вещей и пощипывая балалайку, затянул жалобным голоском:

Куда ж тебя черти носили?

Потом, обращаясь в мою сторону, он заговорил в своем обычном шутливом тоне:

— Запишите на сегодня в ваши мемориалы (официально я вел «Дневник военных действий» нашей бригады; но в этом лукавом обращении заключался намек на мои собственные записки), запишите в мемориалах так:

«Это была одна из самых игривых ночей в нашей жизни. Петухи еще сонно потягивались, когда мы со всеми снарядами и, утопая по горло в грязи, выступили в поход, передвигаясь со скоростью двух черепашьих шагов в час. Зато фантазия христолюбивого воинства достигла наивысшего полета, осыпая презираемого противника градом крылатых словечек, от которых лошади падали замертво».

— Недурственно, — хохочет Костров и, высказывая всеобщее желание, произносит разнеженным голосом:

— А хорошо бы сейчас по единой уконтропить!..

— Юрецкий! — командует Базунов, и денщиков охватывает суетливое возбуждение.

— Ужинать! Ужинать собирайте!

12.

...В спертом воздухе тесной, битком набитой халупы кружилась от вони голова.

— Чувствуете дух войны? — иронизирует Базунов.

— Воевать не умеем, зато комфортабельно устраиваться мы мастера...

— И тут солдат виноват? — огрызается Костров.

— А по-вашему кто же? я виноват? посылаешь прохвостов-квартирьеров — разве они, подлецы, подумают о ваших удобствах? Ткнет, подлец, в первую попавшуюся халупу пальцем, поставит крест на дверях, и готово...

Как-то раз перед толпою соплеменных гор
У Кострова с Базуновым был великий спор,—

театрально декламирует Болконский. Болконский — молодой, двадцати-четырехлетний учитель истории, прямо с университетской скамьи. Любитель стихов и оперы. Добродушный, мягкий, начитанный. В словесных поединках Базунова с Костровым неизменно поддерживает последнего, называя себя его бессрочным секундантом.

Костров — наш старший ветеринарный врач, круглый и толстый, ненасытный чревоугодник и спорщик. Кузнецов рекомендует его обыкновенно так: доктор жеребячьего званья и бычьего аппетита; азартный проповедник вина, девятки и родины.

— Нет, вы подумайте, — кипятится Базунов, — живет второй месяц бок-о-бок с нашим Кирилкой, видит, чем набита его дурацкая голова, а никак расстаться не может со своими фанабериями... Да вы позовите хоть сейчас любого из наших артиллеристов и спросите его, в какой мы сейчас стране? И что же? Засунет глубокомысленно палец в нос и ответит: — Не могу знать.

— Боже мой, — все более разгорячается Базунов, — до чего меня раздражает это проклятое немогузнайство. Рас-

пустит губы, подлец, сделает идиотское лицо: «Не могу знать».

— Не понимаю, — весело вмешивается Болконский, — отчего это вас так раздражает? Вы просто с философией незнакомы.

От спертого воздуха и вони я едва держусь на ногах. Выхожу из халупы на волный воздух. В небольшом садике группа солдат сбилась вокруг костра, между патронных двуколок. Здесь Микешин, Вырубов, Вагнерубов, Косиненко, Блинов, Шатулин — все славные ребята, балагуры и остряки. Мое появление встречается дружелюбно.

— Холодно? — спрашиваю я. И мне отвечают залпом острот и поговорок.

— Мороз не велик, да стоять не велит.

— Едет генерал Дрожжаков на проверку пиджаков.

— Зима — лихая кума.

— Раз в году лето бывает.

— Зимой солнце, как мачеха: светит, да не греет.

— Летом и качка прачка, летом и старéц молодéц.

— Пришла зима — седьмая кума; пришел пост — поджала собака хвост.

Время от времени в толщу великорусского говора врываются бойкие украинские прибаутки:

— Иде лютый, пытае, чи обутый.

— Лыхо тому зима, в кого кожуха немà, чòботы ледащи и исты немà що.

Все стараются козырнуть словцом позадорнее, похлестче, и это состязание по обыкновению переходит в словесный турнир между Шатулиным и Блиновым.

Шатулин — рязанец, Блинов — москвич. Попали они к нам в бригаду случайно: их захватила мобилизация в Киеве, где один занимался извозом, а другой служил печником. Оба они страстные картежники, готовые в любую минуту сра-

зиться в двадцать одно или в девятку. Картежное состязание они всегда еще превращают в турнир на поговорках. Шатулин кряжистый и солидный, слова роняет веско и сдержанно. Блинов — речистый, нахрапистый и веселый, говорит высоким тенорком. Состязание это всегда собирает много любопытных.

— Слушай дубрава, что лес говорит, — солидно объявляет Шатулин, выбрасывая первую карту.

— Москва бьет с носка, — живо откликается Блинов, хлопая картой по столу.

Блинову всегда вначале везет. Он горячится, заламывает ставку за ставкой и куражливо подтрунивает над Шатулиным:

— Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома.

Шатулин играет острожно и, сдвинув широкие брови, хладнокровно отбивается.

— Не разжевавши, не проглотишь.

— По саже хоть гладь, хоть бей, — все будешь черен от ней, — задорно наседает Блинов. И, выбросив кверху карту, кричит хвастливо:

— Восьмёрочка! Хе-хе-хе... Карта веселый дух любит!..

Время от времени засаленная рублевка переходит из рук Шатулина в карманы Блинова, и тот, выразительно похлопывая рукой по карману, визгливо бахвалится.

— Далеко свинье на небо смотреть, — смеется Блинов. И вдруг начинает скупиться на ставки. Раз, другой и третий карта изменяет Блинову. Настроение его резко падает; ему явно хочется оборвать игру.

— Что так? — холодно удивляется Шатулин. — Ай застыдобился?.. Жены стыдиться — детей не видать.

Ставки Блинова всё скупее, всё мельче. Шатулин уже давно перешел в наступление и язвительно допекает противника:

— Что за беда, во ржи лебеда: вот то беды — ни ржи, ни лебеды.

Блинов молчит, прикусив губы, и лишь изредка сумрачно огрызается:

— Дурной глаз глянет — и осина завянет.

— В темноте и гнилушка светит, — злорадствует Шатулин. — Не верь, паря, словам, а верь глазам.

И, выиграв новую ставку, бросает завоевательным жестом:

— Хозяин, что чирей, где захочет — там и вскочет, где потянет — там и сядет. Хошь на всю пятерку, Блинов?

— Ой, гляди — чужой хлеб приедчив, — чужой карман переменчив, — сердито откусывается Блинов.

— Свою клячу, как хочу, так пячу, — важничает Шатулин. И, поглядев пристально на Блинова, заносчиво бросает ему в лицо:

— Будет!

— Чего так?

— Да так! Ктой-ты таков теперь есть?

— А кто ж я по-твоему? Шпанà голоштанная?..

— Ты-то?.. Что у тебя в штанах? В одном кармане вошь на аркане, в другом — блоха на цепи.

Блинов смущенно молчит и потом вкрадчиво просит:

— Давай в долг...

— Долг на Долгой улице живет, — презрительно отмахивается Шатулин. — В долг пироги куму печь проси! — И, обведя глазами присутствующих, ехидно отчеканивает, сгребая со стола карты:

— Без гроша и Москва вша.

Наконец-то получено долгожданное предписание: нашей бригаде расположиться на сутки в Ниско. Целые сутки, двадцать четыре часа кряду, будем наслаждаться покоем, будем отдыхать, растянувшись неподвижно на койке. Заман-

чивые мечты и убогая действительность! Мы вступили в Ниско утром, в одиннадцатом часу. Городок пылал. На улицах крик, рухлядь и пугливая растерянность. Кто-то рубил ворота и окна. Кто-то вытаскивал сундуки и перины. Толпы людей метались и плакали, роясь в обугленных обломках и перебегая от одного обгоревшего домика к другому. Сеял мелкий, медленный дождик, сеял пронизывающей пылью, поглощая огонь и искры и обращаясь вместе с огнем в дымную, свинцовую мглу. Из этой дымной и мокрой пелены странными и нелепыми силуэтами выпячивались солдатские фигуры.

— Как тут греху не быть, — ворчат солдаты. — Надо бы по закону запрет сделать...

По временам из тумана доносятся вопли и причитания жителей, отчаянно отбивающих свое добро... Но какое нам дело?

Мы расположились в той части Ниско, куда еще не добралось пламя и где уже сбились в беспорядке несколько воинских частей. Удушливый смрад полз по узеньким переулкам, загрязненным конским пометом и человеческими испражнениями. Зловонные, грязные дворы с раскрытыми настежь воротами, были битком набиты людьми, лошадьми и артиллерийскими повозками. Солдаты в худых сапогах и неопрятных шинелях заглядывают во все квартиры. Всюду пробитые стены и зияющие рамы. Вчера, или неделю, или месяц тому назад тут были каменные ограды, железные решетки и крепкие двери, за которыми царили уют, довольство и мещанская аккуратность. Сегодня суровый голос войны врывается в зияющие пробоины...

И мы лихо вживаемся. Этого требует кровоточивая мудрость нашего «быта». После двухчасовой перебранки, угроз и скулодробительной матерщины в проплеванной и прокуренной комнатке кой-как расставлены шесть офицерских коек, а на койках богатырски храпят измученные офицеры. Моя

кровать — у окна без рамы. В большую пробоину на стене виден мощеный двор, где приютилась наша штабная команда. В двух палатках походная канцелярия. Тут же штабные писаря, кашевары, ординарцы и вестовые.

Прямо под окошками слышится сладенький голос Гридина, распекающего адъютантского денщика Шкиру. Гридин — штабной фельдфебель, высокий, худой артиллерист из жандармов. Щеголеватый и тихий, с мягким, елейным голоском, вкрадчивыми движениями и зелеными лживыми глазами. С начальством Гридин угодлив, с солдатами — наставительно жесток. Его не любят и считают доносчиком. Славится Гридин своим уменьем добывать водку из-под земли.

— Гридин, нельзя ли поискать? — обращаются к нему офицеры.

— Слушаю-с.

И через минуту водка на столе.

Сейчас Гридин в нетрезвом виде — и распекает Шкиру:

— Этого ты никогда не смеешь, меня чтобы по морде лупить, — зудит его приторный голосок. — Потому я начальство тебе, а кажинный начальник перед тобою, как на лестнице стоит. Понимаешь? А который сверху — тот и плюет на тебя, как на мразь нечистую. Понимаешь?

Шкира — офицерский любимец, Дон-Жуан, силач и гитарист. Он не слушает Гридина, занятый наведением «глянца» на свои и на адъютантские сапоги. И, видимо, серьезно готовится к новым победам над местными красавицами.

Между солдатами команды, с картами в рукаве, шныряет Блинов в поисках партнера. Гридин замечает его и вкрадчиво окликает:

— Блинов, лошадей разамуничил? Лошадь — животная благородная, уход любит. А ты, небось, бросил? Оставил без догляду? Тебе бы только языком трепать...

— Так точно, — умильно отвечает Блинов, подражая голосу Гридина, — язык не лопатка — знает, где сладко.

Солдаты бурно хохочут. Гридин торопится исчезнуть.

Несколько минут смутно гудят голоса, и вдруг четко выделяется чья-то завистливая фраза:

— А Юрецкий-то какое седло припер: английское! говорит, на чердаке отыскал.

Языки сразу развязываются. Говорят вслух — каждый, что думает, потому что на войне совершенно нет надобности оставаться неискренним и скрытным.

— Хорошо бы и нам пошарить.

— Ищи — свищи. Допрежь нас другие пошарили. Окромя как костлявых жидов и поляцкого цмéнтажа (кладбища) ничего не оставили.

— Столько добра — всё прахом пошлю. Как оглянусь округ — до-смерти жаль.

— Пужливый какой! А тебя кто пожалел? На то война: на смерть работаем.

— Тоже и им-то радости мало. Как поглядишь на них и впрямь жалость берет. И от своих, и от чужих беречься надо.

— Война соки повыкачает.

— На войне замки ржавые, а ребята бравые.

— Эх, эх! Наших грехов в два века не замолить.

— Что тут и говорить, — вмешивается Шкира. — Разве нашего брата спрашивали войну начинать? Через все земли крещеные война перекинулась. Эх! . .

И заунывно затянул своим звучным баритоном под аккомпанемент балалайки:

Ох и ах мне, вахлаку,
Не залить печаль-тоску.
Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска...
На ём крест лежит чижолый
Девяносто семь пудов...

Я слушаю Шкиру, слушаю грохотание отдаленной кано-

нады, смотрю на пробоину в стене, на загаженный пол — и меня охватывает глубокое отвращение ко всему происходящему, к этой кровавой, мусорной яме, которая называется войной.

Ошибки, болезни, потери, пороки, преступления и всякие человеческие низости — все это пустяки по сравнению с войной. Война — величайший тормоз и отвратительнейший истребитель культуры. Это разрушение всего накопленного веками в сердцах и умах — и теперь расточительно швыряется под ноги вооруженным солдатам. Смерть, как убийство — только один из эпизодов войны, и притом эпизод второстепенный. Гораздо страшнее то, что по меткому солдатскому слову «мы на смерть работаем». Ибо война, это — конец созидательной работе; и все, что было связано с творчеством и культурой, ныне выбрасывается вон, как негодная ветошь. Каждый возглас — «да здравствует война» — должен быть, в сущности, истолкован как призыв к истреблению культуры. На каждом воинском знамени, на орлах, на погонах вычеканен тайный девиз: долой культуру, да здравствует нищета и убожество духа.

«Тот не солдат, кто на войне душу сберег» — гласит окопная мудрость. В этом афоризме вся философия войны. Здесь нужен только солдат, вооруженный штыком и пулеметом, человек, умеющий грабить, насильничать и убивать. Все прочие люди отменяются за ненадобностью. И не то страшно, что война разрушает города, истребляет Лувры с их картинами и книгохранилищами. В тысячу раз страшнее, что война громко и грубо объявляет культурному человеку: мне нет никакого дела ни до теорий, ни до заповедей твоих, мне нужны только тупая выносливость и безропотная покорность.

Такова настоящая война — та, что делается вооруженным солдатом, а не перьями тыловых журналистов. Но у русского интеллигента нет собственных мнений. И на войне и в тылу он

так мало верит себе, что постоянно больше интересуется чужими мнениями, чем собственными. Оттого и получаются у нас постоянно две истории, из которых одна пишется чернилами, а другая кровью. И та, что выходит из-под пера, совсем не похожа на ту историю, которая выходит из-под штыка на полях сражения.

Брожу, вернее мечусь по улицам Ниско. Промозглый воздух, пропитанный дождевою пылью, зловонием и гарью, делает городок похожим на обвалившуюся шахту, наполненную удушливым смрадом. Дышать тяжело и горько. Глаза слезятся от дыма. Лица покрываются копотью. Солдаты похожи на чудовищ. Недаром встречные жители с таким испугом и отвращением сторонятся от них. Всюду чувствуешь на себе эти злые, проклинающие глаза обывателя. Он смотрит на тебя волк-волком, и, надо сказать правду, он имеет полное право нас ненавидеть. От этой ненависти, как от зловония и гари, не спрячешься никуда. Это та оболочка, которую мы, воюющие, носим с собою всюду, как земля носит свою атмосферу.

Вот на крылечке одноэтажного особняка солидный доктор в кожаной куртке чистит щеточкой зубы, а рядом с ним молодой рослый солдат разбивает тесаком большое трюмо, весело приговаривая:

— Ни нам, ни панам.

Вот старая женщина бежит с мольбою за бородатым пехотинцем, который кричит, сердито отмахиваясь свертком, похожим на одеяло:

— Пошла, стерва! Тут тебе заступников нету. А то как раз штыком в пузо...

Так хочется куда-нибудь подальше, туда, где нет этой вонючей гари, этих проклинающих глаз и плачущих старух. И страшно при мысли, что уйти некуда.

... Натыкаюсь на группу наших солдат у костра. Между ними Семеныч, Асеев и несколько пехотинцев.

— Ты чего это, ваше благородие, немцу дорожку вытаптываешь? — обращается ко мне Семеныч. — Ай нашим чаем не побрезгаешь?

— Страшно мне, сил не стало в халупе лежать, вот и мотаюсь по улицам.

— Это у тебя от пути еще оторопь не проходит... Округ на сто верст леса древние, дремучие. Не то что дороги, а тропы в них не проложено. Сюда и глаз человечий, почитай, с век не заглядывал. С испугов да с страхов разных душа, вишь, никак не поднимется...

— Ну, это какой страх! — перебивает Семеныча какой-то бородач в отрепьях. — От такого страху не сдохнешь. В окопах — вот он где страх! Под самую шкуру залезает. Вылез я это раз из окопа. Бяда! Рвутся снаряды грома тяжче. Округ стон стоит. Хочу итти — ноги не подниму, ровно кто за пятки хватает. Ни в праву, ни в леву сторону не гляжу — боюсь. Припал страх смертный, загреб за самое сердце, и нет того страху жестче. Ровно тебе за шкуру снегу холодного насыпали; лязгают челюсти, и кровь в жилах не льется: застыла вся. Взял я винтовку на прицел, ружье-то тяжелое, как пуд; завопил, захрипел по-зверьи, а курка спустить и не знаю как... Так и не смог, ровно обеспамятел...

Солдат что-то продолжает рассказывать. Я безучастно слушаю, смотрю в лицо рассказчику, и вдруг мне начинает казаться, что это тот самый бородатый пехотинец, который сегодня кричал на старуху: «Пошла, стерва! тут тебе заступников нету».

— И жалко не было? — обращаюсь я к нему неожиданно.

— На войне какая жалость? Не знает война заступника.

— На войне жалеть — себя загубить.

— На войне огнем да мукою, да кровью горячей, да слезами бабьими всю душу выжжет.

— Значит, не жалко? — пристаю я к бородачу. — И никто в ответе не будет, ни за кровь, ни за бабьи слезы? . .

— Не нами война начата, не нам и в ответе быть.

Коль скоро речь зашла об ответственности, Асеев уж тут как тут. В его лице мировая совесть находит самого преданного заступника и паладина. Не скажу, поэзия это или мистика, но сектантская утвержденность Асеева действует с гипнотизирующей силой. Говорит он хорошо и грустно, и глаза у него уповающие и просветленные.

— Бежит кровь по земле, — говорит он певучим говорком, — напоила собою землю на аршин в глубину, и великая в той крови сила есть. . . Обручается земля с человеком на будущие времена, зовет земля к покаянию. . . Западает кровь в землю, как слеза в душу, целует землю тоска земная, просит-плачет: прости, мать-сыра земля, за безбожие и своеволие свое плачу кровью своей. . . И услышит земля спокаяние, дыхнет дыханием праведным, повеет дух новый над землей. . .

Асеев единственный человек на войне, который ничего не берет у жителей и чрезвычайно легко расстается с собственным гардеробом. В одном месте отдал сапоги, в другом шапку оставил. Ходит он босой, распоясанный. Лицо строгое, ясное, притягивающее. Вероятно таких мужиков, как Асеев, воображал Толстой, когда писал Каратаева или сочинял свои сказки о странниках и старцах.

13.

Снова толчея в непролазной грязи и оголенные деревья. Люди такие же голые и ощетинившиеся, как колючая проволока. Злоба, сквернословие, разговоры и к вечеру отвращение к прожитому дню.

Едем, едем, едем, уже не интересуясь ни местом, ни именем злополучной стоянки. После трехдневного перехода в мыслях такая же толчея, как на дороге. Вспоминаются ка-

кие-то непонятные встречи, знакомства и обрывки случайных фраз:

— Чорт знает что, точно начитался Достоевского до рвоты.

— Еще день такой жизни — и покончу с собой. Не могу.

Кузнецов, покачиваясь на своем иноходце, меланхолически философствует:

— Пей в радостях сердца вино твое, потому что в могиле нет ни вина, ни походов, ни вестовых, ни папирос.

И кричит зычным голосом:

— Башмаков, папиросу!

Башмаков, расторопный и юркий, подбегает к Кузнецову с папироской.

— Болван! — гневно раздражается Кузнецов, — сколько раз я учил тебя: с огнем подавай. — И с размаха ударяет вестового стеком по плечу.

Я смотрю искоса на солдат: лица угрюмо-равнодушны.

Чем крепче вживаюсь я в военный быт, тем неоспоримее для меня, что здесь всё еще господствует право «крещеной собственности». Солдат — бессловесный крепостной, обязанный выполнять беспрекословно все офицерские прихоти. Офицер командует, распоряжается, привередничает, дерется. Все поговорки солдатские, созданные казармой, напоминают старую барщину:

— Нужда учит, а солдатчина мучит.

— Солдатскими мозолями офицеры сыто живут.

— У солдата душа божья, голова царская, а спина офицерская.

Помню, на одной из стоянок командиру первого парка Кордыш-Горецкому вздумалось устроить ученье. В продолжение двух с половиной часов он гонял ездовых по кругу, заставляя их соскакивать с коней и вспрыгивать находу. А сам, стоя посредине с колоссальным хлыстом в руке, выкрикивал басом: — ты чего — мать твою! — и изо всех сил немило-

сердно хлестал провинившегося куда попало. Когда за обедом я спросил его, для чего ему понадобилась эта муштра, он коротко и сухо ответил: «для пользы службы».

С приездом Базунова такие учения прекратились, но рукоприкладство продолжает свирепствовать наравне с матерщиной. Бьют больно и злобно почти все поголовно: и командиры парков, и старшие офицеры, и бывший агроном Кузнецов, и студент Болеславский, и сын заслуженного профессора, молодой адвокат Растаковский, и другие прапорщики. Исключение составляют командир бригады Базунов и два прапорщика: Болконский и Медлявский. Некоторые прапорщики, как, например, Растаковский, с каким-то сластолюбивым рвением предаются мордобою. В солдатских поговорках эта прапорщицкая ретивость отмечена очень колоритно:

— Не велик чин прапорщик, а офицером воняет.

— Не велик прапорщик пан, да офицером напхан.

По целым часам не двигаемся с места обессиленные, замученные, утопая в потоках грязи, в облаках конского пара, в оглушительной оргии проклятий, ругательств, ударов, которые сыплются на спины лошадей и на головы предков по материнской линии. По временам нас обгоняет пехота. Она бредет по бокам дороги, хмурая, серая, обмызганная и загадочно-замкнутая.

— Отчего они такие молчаливые? — спрашивает Костров.

— Богу молятся, — раздраженно ехидничает Базунов. — Не угодно ли?.. По сравнению с нашим столпотворением и Пуришкевич в Думе покажется молчальником... Да и о чем им, подлецам, разговаривать, когда они так и рыщут глазами, что бы такое в карман сунуть: кусок сахару, котелок, походную кухню, заводную лошадь, пушку... Пехотинцы ведь это первые воры на земле. Такие социал-дымокрады, что ой-ой-ой... Ахнуть не успеете, как из-под носа

самого Вильгельма упрут и в борщ сунут. Я их, прохвостов, во́ как знаю!

На привале подсаживаюсь к группе пехотинцев, отдыхающих на опушке леса.

— Дозвольте у огонька погреться.

— Мы не мешаем.

— Какого полка?

— Лохвицкого.

— Какой губернии?

— Разные.

Разговор не клеится. Я отхожу в сторону и, усевшись на корнях, слушаю. Сперва беседуют тихо; потом, забыв о моем присутствии, говорят полным голосом. Лиц не вижу, но долетает каждое слово. Философствуют или сказки рассказывают.

— Как же ты говоришь, войска не было? Значит, и воевать не воевали?

— То-то и оно. Раньше все мирно жили, по-людски, а как стал султан противу других силу собирать, видит царь, что всё султан себе заберет, ни клинышка не оставит, и послал царь к мужикам подмоги просить. Так и так, говорит, ни часочка радости не имею: навалился султан на мою землю, хочет красу-царевну в полон забрать, помогите, мужички, горю православному. Вас, мужиков, большие тыщи, много ли вашей судьбы уйдет — самые пустяки. А мне большую приятность сделаете, вовек жизни не забуду. Распалились мужички, удержу нет. Разбили они все войско султанское, забрали землю турецкую, и прямо с большого бою назад, в деревню к себе. Только в деревню пришли — глядь: ан царь-то снова к себе зовет. Да не просто зовет, а с вывертом. Дома-то у мужика что? Дома жизнь тесная, тараканы, грязища и дух мужицкий густой. А царь, вишь, чтобы к войне-то мужиков приохотить, давал им в обед баранину, и кашу молошную, и по чарке водки; одно слово не обед, а как поминки по бо-

гатым покойникам. Известно, мужикам и понравилось у царя служить. Как пришли они опять на службу царскую, царь и давай улещивать мужиков, чтоб у него навсегда остались. Вы, говорит, и воевать никогда не будете, и работать не будете, а есть-пить вдосталь. Ну, вот и остались у него мужики. Спервоначалу оно так и было, как царь говорил. А как старый царь помер, объявили мужики новому царю: «буде, отвоевалися; не хотим больше служить». Только вынул это царь грамоту печатную, а на ней старый царь печать свою приложил златым своим перстнем, а по перстню слова такие: «всегда, отныне и до веку». И остались мужики, как под замком каменным. С той поры и пошла служба царская...

Рассказчик крякнул, помолчал и наставительно закончил:

— Додумались, значит, как мужика силком закрутить. Д-да...

— Это правильно говорится, — подхватывает солидный голос. — Потому, ежели с понятием рассудить, жил мужик при своем хозяйстве, жил тихо, мирно, повсегда при деле, николи и ничем не грешил, все исполнял правильно. А как погнали его на службу —душа от нужного оторвалась, и стал человек ровно свинья. Опять же, скажем, бросить ежели ружьишко в лесу, да махнуть сторонкой к себе в деревню — душа не подымает...

— Вот то-то и оно, — веско отчеканивает голос рассказчика, —присяга за душу держит.

Тихо. Солдаты молчат. Думают или дремлют. Клубится пар по деревьям. И вдруг протяжная, тоскливая песня:

Не берлоги там звериные,
То солдатские квартирушки —
Залегли окопы черные
В чистом поле, на раздольице.
Поперек легли — отрезали
Все пути нам, все дороженьки
На родную, милу сторону.
Ах, ты пташка, пташка вольная,

Пуля резвая, порхливая,
Ты лети, лети на родину
Отнеси ты утешеньице:
— Вы терпите, детки малые,
Вы крепитесь, жены милые,
Уж вы, матери, порадуйтесь
На житье-бытье окопное.
Сладко по́жито — похо́жено,
Вволю корушки погложено,
Опились слезами до́-пьяна,
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью до̀-тошна.
День да ночь мы богу молимся
Оглушило небо до̀-хлуха.
Божья церковь — яма черная;
Образа, вить, часты выстрелы;
А попами — пушки гулкие,
Что поют про наши душеньки.
Пашню пашем мы в глухую ночь,
Не сохой — штыками, бомбами,
Не цепом молотим — пулями
По немецким по головушкам...

— На коней! — несется зычная команда, и мы опять зарываемся в болотную пучину.

... О, чудеса войны! Из недр первобытного бытия мы сразу попадаем в объятия цивилизации. Сегодня мы отдыхаем в обширной польской усадьбе, почти не затронутой войной. Кроме нас, тут расположился дивизионный лазарет. Больных в лазарете нет. Но много врачей, священник из монахов, несколько офицеров и большая команда.

В усадьбе много просторных комнат, много кроватей, мебели. На стенах семейные фотографии, портреты Мицкевича и Костюшко. В комнате с белыми колоннами — пианино.

— Давно я настоящей музыки не слыхал, — говорит адъютант Медлявский, — хорошо бы теперь послушать Шопена, а потом бы отправиться в клуб или в театр.

— Клуб мы сейчас и здесь устроим, — решительно заявляет Кузнецов. Пошлем за докторами и сыграем в девятку.

— У докторов, должно быть, имеется запасец, — подхватывает Костров. — Эх, хорошо бы по единой уконтропить!..

— Шкира! зови докторов! — командует адъютант.

Часам к двенадцати ночи в старой усадьбе шумно как в ресторане. Комната с белыми колоннами вся уставлена накрытыми столами. Звенят ножи и тарелки, звенят стаканы и рюмки; и так не хочется думать о войне и грязных трясинах, когда кругом светло и уютно от лампы под абажуром, а раскрытое пианино говорит воображению больше, чем самая обольстительная музыка. После двух месяцев бродячей, военной жизни при виде хорошо сервированного стола даже беззастенчивый циник впадает в мечтательность. Особенно, в предвкушении выпивки:

— Ныне отпущаеши раба твоего... Воскресаю телом и духом, — кричит подвыпивший Кузнецов. — Сердце мое тает, яко воск от пламени. Клянусь тенью повешенных предков нашей очаровательной хозяйки...

Умиление прапорщика Болеславского давно уже достигло пределов. Он сидит, обнявшись, с двумя лазаретными чиновниками. Все трое мертвецки пьяны и, мотая растрепанными головами, пытаются выразить свои чувства, которые им никак не удается облечь в членораздельные звуки. По временам они приходят в себя и бесстыдно выкрикивают слова какой-то острожной песни о приключениях бугая. Каждый куплет этой песни уснащен такими омерзительными деталями, которые заставляют брезгливо поеживаться даже такого мастера блудословия, как Растаковский. А сидящий рядом с ними молодой лазаретный доктор Железняк, тоже изрядно захмелевший, каждый раз выкрикивает заплетающимся языком:

— С-санитары, уб-берите эти жертвы войны.

Три парковых командира: Кордыш-Горецкий, Джапаридзе

и Пятницкий, режутся в девятку с докторами и прапорщиками.

На другом конце комнаты, за большим столом, прозванным прапорщиками «обществом поощрения скуки», идут нескончаемые дебаты о войне, о смерти, о прогрессе и всяких этических тонкостях. Прения открывает Медлявский. Там далеко, в Полтавской губернии, в одном из уездных городков, он оставил каменный домик, солидную адвокатскую практику и виды на выгодную женитьбу. Но он большой романтик и любит поговорить о героическом.

— Когда я шел на войну, — говорит он трепещущим от пафоса голосом, — мне казалось, что меня ждут там страшные приключения. Понадобится необыкновенное мужество, ловкость, бесстрашие. Но у настоящей войны нет ни на грош поэзии. Каждая батарея, это — фабрика смерти, и ничего больше. Солдаты, это — мишень для пушек, превращающих людей в окровавленные куски мяса. Мы не только не видим своих противников, но даже не знаем, что делается в десяти верстах от нашей стоянки. Поля сражений превращены в географические карты, а полководцы в кабинетных математиков. Согласитесь, что это скучно, как таблица умножения.

— А вам хотелось бы, чтобы война была пикником, — иронизирует Базунов. — На вас красный шелковый плащ, синие бархатные рейтузы, и вы, утопая по горло в грязи, размахиваете отточенной шашкой и орете во всю глотку: — «Тор-ре-адор! Сме-ле-е. . .».

— Поймите, Евгений Николаевич, когда бойцы обезличены. . . На войне нужны личная храбрость, хитрость, а мы колесим взад и вперед, теряем лошадей и валяемся как дохлая падаль. Мы даже не извозчики, потому что дюжина грузовиков могут с удобством заменить все наши парки.

— Я с вами не согласен, — вмешивается лазаретный доктор Бзуровский. Это изящный поляк с резко очерченным лицом и красивой жестикуляцией. У него иронические губы

и холодные глаза. — Я с вами не согласен. Вам нравится дуэль на пистолетах. А мне больше нравится дуэль на пушках. Ну что такое дуэль Онегина с Ленским? Обыкновеннейшая ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. С тою лишь разницей, что оба хватаются за пистолеты и в доказательство своего великолепного мужества подставляют лбы под пулю противника. И когда Онегин ухлопывает Ленского, вы с восхищением говорите: какая красивая смерть А по-моему — идиотская история и идиотская смерть.

— А дуэль на пушках — чем она лучше?

— Очень просто: это не драка двух подвыпивших кавалеров, это — борьба двух народов. Вы говорите: фабрика смерти. Ну так что? Война есть война, т. е. организованное убийство. А убивать, так убивать! Чем беспощаднее, тем лучше. Не надо быть кустарями, я предпочитаю фабричные способы истребления. Стройте фабрики смерти. Превращайте смерть в ураганы и бури. Жерла пушек извергают потоки раскаленной меди и чугуна. Единым взмахом они сметают сотни людей, превращают в развалины города. Эта логика кажется мне непогрешимой. Раз вы хотите смерти противника, действуйте смело и открыто, сметайте все без остатка, устилайте трупами землю. И помните, что не столь важно убить побольше народу, сколь оглушить врага до бесчувствия. Вот вы говорите, что для нас ожидание приключений теперь превратилось в ожидание смерти. Если бы так думала вся русская армия, то противник добился своей цели. Потому что скажу вам прямо: с такими чувствами — вы просто вышли в тираж. Вас оглушили, обезволили, превратили в простую мишень. . . Оттого-то и кажется вам, что в нашей настоящей войне нет больше места ни изворотливости, ни героизму. А летчик, парящий над позициями врага и под грохот обстреливающих его снарядов вступающий в поединок под облаками? А безумная смелость разведчика, подбирающегося к чужим окопам? А телефонист-наблюдатель? Нет, что ни

говорите, а дуэль на пушках, это — грандиозное состязание, в котором участвуют весь ум, вся ловкость и изворотливость нации. Бойцы обезличены, но на поле сражения стоят друг перед другом боевая храбрость, и мощь, и культура всего народа.

— Превосходно. Пусть будет по-вашему, —говорит Медлявский, — мы кустари, мы только ремесленники войны, деревянные спицы в колеснице смерти, а французы и немцы — гудящий мотор этой машины. И я согласен признать, что смерть на дуэли — идиотская смерть. Но разве дуэль на пушках не во сто раз большая бессмыслица? Когда Онегин стреляется с Ленским, то оба, по крайней мере, знают, из-за чего у них сыр-бор загорелся. Но из-за чего дерутся русские лапотники с немецкими булочниками? Люди, как свиньи, валяются в грязи, с головы до ног покрываются коростой и вшами и, находясь в здравом уме и не питая друг к другу ни малейшей вражды, занимаются взаимным истреблением по усовершенствованному фабричному методу. Во имя чего? Во имя артиллерийской дуэли и чудовищного аппетита орудий. Да ведь это какой-то дьявольский водевиль. Какое тут, к чорту, состязание, когда никто не знает, что творится кругом, куда его гонят и к чему он мечется, как затравленный заяц по полям и лесам... Я понимаю всякую муку, если она оправдана страстью. Я понимаю и гладиаторов в римском цирке и бой быков на арене. Но как могут люди с одними и теми же чувствами и взглядами участвовать в этой бессмысленной бойне — этого я понять не в силах.

— Чудак! — вскакивает Кузнецов, вконец захмелевший. — Как же вы не понимаете, что все это происходит на основании священного писания:

Император Вильгельм не поладил с королем Георгом.

« — Я вам покажу! — сказал Вильгельм и отдал приказ двинуть полмиллиона булочников.

« — Ну, это мы еще посмотрим, —ответил Георг и пос-

лал два миллиона русских лапотников к немецкой границе.

«Вы спрашиваете, отчего они не расходятся по домам? Я и говорю вам: на основании священного писания!

« — На основании священного писания и нашей монаршей воли, — сказали им строго, — вы больше не булочники и не лапотники, а воплощение государственной воли и государственного права». — Вот тут-то и заварилась каша. Понимаете?

— Ну, а если воюющие вдруг усомнятся в «основаниях» войны, — спрашивает, осторожно улыбаясь, доктор Гижицкий. — Если действие наркоза окажется непродолжительным?

— Не беспокойтесь, — цедит сквозь зубы Кузнецов, и в эту минуту он кажется мне совсем другим, не похожим на того Кузнецова, которого я наблюдаю изо дня в день, — ещё на триста лет хватит. Было бы корыто, а охотников ковыряться окровавленными руками в чужих кишках всегда будет много. Знаете, что я вам скажу? Не ищите вы у войны ни совести, ни жалости, ни преступлений. Войну творит мифология.

— Какая мифология?

— Ну, какая? Обыкновенная: байки да сказки. У войны есть своя траншейная мифология. Не штыками и не орудийными выстрелами делается война, а теми мифологическими существами, которыми полны окопы.

— Ну, вот еще, — смеется Медлявский.

— Вы что думаете, что я это с пьяных глаз горожу? Эх, вы! Сколько хлама в нашей жизни — не знает никто, — пока не побывает здесь, на войне. И только здесь начинаем мы понимать, что жизнью командуют мертвецы. Их мертвыми руками все держится. Это, вы скажете, не реально? В том-то и штука, что лишь нереальным все реальное и стоит на земле. Уберите мертвые руки — и рухнет моментально, все рухнет! Земля на выдумках держится.

— Ну, да... Но ведь вера-то эта может лопнуть, — с вкрадчивой осторожностью настаивает доктор Гижицкий. — Вот был у нас заведующий хозяйством: служака первый сорт. Вдруг слышу я как-то за обедом, говорит он нашему доктору Железняку: «Все это, батенька, хлам! Все старое надо к чорту выбросить!..»

— Пускай попробует! — злобно загорается Кузнецов. — Немцы-то посмышленнее нашего будут, а сказано: воевать! — так воюют. И пикнуть никто не смеет. А станет рассуждать — пулю в лоб, и никаких гвоздей.

— Ну, положим, — отчеканивает с холодной улыбкой Бзуровский. — На войне-то люди быстро другими становятся. Это мы все наблюдаем. Возьмите наших солдат: идет в их душе какая-то глухая работа. И не то, чтобы война им на многое глаза раскрыла, или стали они умнее, догадливее — что ли. Нет, не в этом суть. Сама война предъявляет к ним совершенно новые требования. Подумайте: весь век твердили нашему мужику, что нет выше добродетели на земле, как быть покорным и смирным. «Молчать» и «не рассуждать» — этими краткими формулами исчерпывается вся нехитрая механика государственной власти по отношению к мужику. И привык мужик молчать и сгибаться в три погибели и на каждый сердитый окрик отвечать смирнехонько: «слушаю-с». А тут вдруг слышит он из уст своих старых командиров, совершенно новые правила внушаются ему: «Не давай спуску. — Жужжат ему в уши со всех сторон. — Это ничего, что на немце погоны генеральские — гни его, стервеца, в бараний рог! бей его, сукина сына, сапогом в холеную морду! волоки с него генеральский мундир!». А придет мужичок в барское именье, его опять поучают: «бери, чего там смотреть! Тащи овес, лошадей, коров, поросят, птицу. Хватай все, что под руку попадется». Так вот и начинает его мужицкая душа перестраиваться. Мифология — мифологией, а интендантская практика на войне тоже даром не пропадает.

Предсказывать не берусь, только скажу я вам, наслушался я в лазарете таких разговоров... Ой-ой-ой!..

— Погодите — что еще дальше будет! Это только начало, — кричит из-за карточного стола Костров.

— Начало чего?

— Светопреставления! Вон как гудит! Это старый мир трещит под шагами нового Христофора. Хе-хе!..

— Ишь как приосанился! — усмехается Базунов. — А с войной-то что сделается, господин патриот?

— Ничего, не запугаете! Путь войны идет рядом с другой дорожкой!..

— Какой? — презрительно спрашивает Кузнецов. — Чего туман наводить, говорите прямо: революцией кончится?

— А вы думаете нет? — победоносно смеется Костров.

— Далась ему эта революция. Ну, хорошо! По-вашему вышло, — говорит Базунов. — А что она вам даст — ваша «резалюция?» Революция, это — слово французское, а для наших сиволдаев совсем непригодная штука. Как вы этого не понимаете? Ну, представьте себе, что произошла революция, установили дюжину гильотин и отрубили сто тысяч русских голов; а дальше? Дальше — нет боязни полиции, нет городовых, нет замков, нет спокойствия! И страна превращается в пустопорожнее место. Потому что революция не «насветрождение», как говорят солдаты, а только акт насильственной смерти, после которой у одних народов начинается новая жизнь, а на долю такой страны, как Россия, достанутся только мертвые кости. Были монархией, а станем кладбищем, вот и все!

— А! Знаем мы эти разговоры, — горячится Костров. — Мужик и глуп, и пьян, и без царя не управится. А войну кто ведет? Мужик!.. А страну кто кормит? Мужик! Вот он-то и революцию сделает. Хочешь, не хочешь, а революция должна быть и будет!

— А много ли толку выйдет? — впадает в свой обычный тон Базунов. — Дайте мужику власть — тоже самое будет. Это как идешь пехом, а навстречу автомобиль катит. Ругаешься, злишься... А сел сам в автомобиль, смотришь с мягкой подушки на пешеходов и думаешь: кого чорта они под ногами болтаются? и смотришь на людей, как на собаку...

...Проснулся от сердитого брюзжания командира:

— Поздравляю вас с сочельником. Игривый предвидится денек! Приходил старый пан, криком кричит, жалуется; у него, говорит, сын в армии служит, а мы своим постоем в конец его разорили: сено забрали, овес забрали, картошку забрали, лошадь с конюшни увели, амбары разграбили. Требует, чтобы я сам посмотрел, что они там натворили. Как же! Не насмотрелся еще?.. Этакие прохвосты! Двух часов не дадут почувствовать себя порядочным человеком. Так великолепно наелись, выпили, о философском поговорили. Полное, можно сказать, облаготворение души и тела. Только дыши и радуйся на собственное благородство. Так вот тебе!..

За дверью шумят женщины, громко требуя, чтобы их допустили к командиру.

— Ну, чего я к ним выйду? — разводит руками Базунов. — Мазать их по губам хорошими словами? Очень им нужно. Какие ж еще лекарства могу я им предложить? Не платить же мне за солдатские грабежи. Да почем я знаю, кто грабил? Тут ночью Сурский полк проходил. Люди не обедали пять дней: — мне командир полка сказал. Остановились на четыре часа и отсюда пошли окапываться. Вот и дознавайся, кто грабил.

— Нет, почему об э т о м в газетах не пишут? — оживляется Базунов, оседлав свою любимую тему. — Им все тр-рагическое подавай: гр-руды тр-рупов, гор-ры окр-ровавленных тр-ряпок, озер-ра кр-рови в тр-раншеях. Нет, вы

про то напишите, как на войне мародером делаешься, конокрадом, грабителем, извергом, как детей на холод выгонять приходится, у мужика отбирать последнюю корову, последний кусок хлеба изо рта вырывать... вот вы о чем, подлецы, напишите! Про замученных постоем баб, про их вечные вопли, про необходимость ютиться у тех самых людей, которые осиротели по вине наших войск, и которых ты и сегодня, и завтра, и до тех пор будешь убивать, пока тебя самого, подлеца, не убьют...

Шестой день в пути без дневки. Передвижение идет и днем и ночью. Падает мокрый снег. От шоссе ни следа. Глубокие выбоины затянуты черной, липкой грязью, которая ровной поверхностью перерыла все дороги; и только застревающие повозки и зарядные ящики да барахтающиеся лошади и люди свидетельствуют о глубине этой трясины. Командиры парков пишут донесение за донесением, что они не в состоянии исполнять диспозиций, так как убыль в конском составе превышает более трети. Оставшиеся лошади, обессиленные отсутствием корма и отдыха, передвигаются по одной версте в час и падают на каждом шагу. Люди, измученные бессонницей, едва бредут. Поминутно приходится бросать повозки, двуколки и зарядные ящики. Все дороги забиты артиллерией, парками и обозами, идущими в разных направлениях и нередко силой пробивающимися вперед.

— Куда мы идем? — пристают офицеры к командиру.

— А чорт их знает! — разражается Базунов. — Приказано: спешно итти на Янов. Вот и все. Указать точный маршрут не могут.

Нам всем хорошо известно и без пояснений, что спешат перейти через Вислок и Сан. Ибо кто-то неведомый взрывает мосты. И чем погода ужаснее, тем легче это удается противнику. Холод сгоняет караульных к кострам. И тогда

внезапно, неизвестно кто бросает пироксилиновую шашку, динамитный патрон — и мост взлетает на воздух.

Солдаты совершенно осатанели. Страшно смотреть, с каким остервенением они полосуют вспухшие спины лошадей. Молнией прорезывают воздух их едкие выкрики:

— Ну-ну! . . мать твою б-дь! И жрать не жрешь, и везти не везешь!

— Сворачивай, черти! . . Куда ни плюнь — везде санитарные отряды. Надо бы выдумать против них порошок какой, что ли. Сворачивай говорят тебе, м. . . вша халатная!

— Ишь расхорохорилась деревянная артиллерия!

— Откормилось воронье на наших костях. У-у, рожу-то как разнесло, жиркотлеты поганые.

Офицерские лошади давно припряжены к выносам, и даже командиры парков плетутся по пояс в грязи.

— Идем пехом, как маршал Ней, — мрачно иронизирует Пятницкий.

— Игривая история! — покручивает ус Базунов.

— Шикарно! Шикардос! — басит немногоречивый Кордыш-Горецкий.

Наконец мы у опушки леса, на более плотном грунте.

— Привал! — командует адъютант.

— Земля, земля! — радостно размахивает руками прапорщик Болконский, и тут же, растянувшись на бурке, лепечет с блаженной усталостью:

— Еле-еле в с е л е волки церковь съели.

— Ребята! порции получай! — свежими, бодрыми голосами кричат солдаты.

— Гляди, как у них! — завистливо бросают проходящие пехотинцы.

— А вы разве обеда не получаете? — спрашивает Костров.

— Дэж вiн, той обiд? — угрюмо отвечает солдат.

— Яво в Кромском полку никогда не было и не будет, —

подтверждает другой. — Может вы от своего отольете? — говорит он, поднося котелок.

— Проходи, проходи, кругом! — отмахиваются кашевары.

— И у самих в брюхе мыши: кишка кишке рапорты пишет, — весело паясничает Блинов, помахивая котелком.

Я забираюсь в санитарную линейку, вытаскиваю из кармана записную книжку и погружаюсь в пережитое. В голове у меня вся эта шестидневная дорога сбилась в один плотный грязный колтун. Солдатская брань переплелась с бабьим воем, и графские замки с мужицкими халупами. Под хлопанье солдатских кнутов, под едкую матерщину в памяти неожиданно выплывают базуновские афоризмы:

— Одно из двух — или голодные солдаты, или голодные галичане.

— Чтобы быть сытым, надо есть, т. е. забирать последнее у крестьян.

И тут же реализация этих правил на деле. Вспоминается небольшая деревушка Яроцыны. Остановка на три часа. Солдаты рассыпаются по амбарам, по полям, разбрасывают клевер, под которым, как по опыту им известно, хранится в ямах картошка; взламывают клети, забирают съестное, — и через три часа деревня разорена и разграблена дотла.

А вот другая картина: дворец Чарторыжских или Тарновских в Синяве. Городок был захвачен с налету, и во дворце оставались нетронутыми вся роскошная обстановка и винный погреб. В замке перебывали за двое суток штаб корпуса, штаб дивизии, два полка и наша бригада. Когда мы уходили, от всего недавнего великолепия оставались только ободранные рамы (из-под драгоценных картин) и голые кровати, возвышавшиеся как пустые катафалки. Сравнительно лучше других сохранился второй этаж, расположенный в саду. В зале уцелели три мраморных бюста, между ними один — Вольтера, который, сардонически усмехаясь, озирал

валявшиеся кругом черепки, бутылки, осколки и груды загаженных, развороченных, перерытых, изодранных и преданных бесцельному истреблению книг. От книг мысленно перехожу к нотам, среди которых омерзительно испачканное издание Шопена с собственноручной надписью композитора... Вдруг полотнища линейки приоткрываются и просовывается белобрысая голова фельдшера Тарасенкова. Между нами происходит церемонное объяснение, повторяющееся почти каждый раз, когда я забираюсь с записною книжкой в линейку:

— Позвольте вас спросить, извините за выражение, это вы в качестве корреспондента все записываете?

— Да, в качестве корреспондента и странствующего бытописателя.

— Очень приятно вас заметить.

Голова витиеватого фельдшера деликатно откланивается, и я снова погружаюсь в свое занятие, но ненадолго. На этот раз меня отрывает неожиданная пальба. Снова приподнимаются полотнища и взволнованный голос фельдшера Шалды докладывает:

— Ваше высокородие, по еропланам стреляют!

Я выскочил из линейки. Желтые листья густо стелются по мшистой земле. Задумчиво стоят высокие, большие ели, грабы и клены. Прямо на нас с австрийской границы плавно несутся один за другим три аэроплана. Началась стрельба пачками.

— Не стреляйте! Не стреляйте! — кричат офицеры.

Но было уже поздно. Средний аэроплан дернулся, наклонился и, тарахтя мотором, снизился, как подстреленная птица. Видно было, как он зашатался, дрогнул и перевернулся над лесом. Первый пронесся дальше, за линию леса. Третий, самый последний, опустился прямо в грязь перед лесом. Со всех сторон с ружьями наперевес ринулись к нему солдаты: держи, держи!..

Когда аппарат опустился, навстречу солдатам выскочил

летчик офицер. Потрясая кулаками, задыхаясь от бешенства, он выкрикивал такие ругательства, что солдаты, почесывая в затылке, сразу решили: «свой».

— Сволочи! — злобно орал офицер, уснащая каждое слово громоподобной бранью. — Дурачье сиволапое! Только и чувствуешь себя в безопасности, когда летаешь над неприятелем. Там поднялся на две с половиной тысячи метров и спокоен: никакая пуля не долетит. А у нас, сволочи, так вас и перетак-то, всю машину мне изрешетили. Каждый день стреляют. И кто стреляет? Обозные! Им хвосты кобылам крутить, а они, прохвосты, стреляют. Одно спасение, что стрелять не умеют. И чего вы стреляете, распротак вашу душу мать? Чего стреляете? Ведь это нужно засыпать небо свинцом, чтобы попасть, а они в одиночку. Конечно, по нечаянности иной раз и попадут!..

Увидав офицеров, летчик накинулся на них:

— А вы-то чего смотрели? Разве вы не видали наших знаков на машинах? Разве неприятельские летчики станут летать так низко?.. Целую неделю сидели мы в Тарнополе, не могли вылететь из-за погоды. Там, наверху, в воздухе чорт знает что творится. Дождались ясного утра — и вот!..

В дальнейшем оказалось: впереди летел командир воздухоплавательной роты; посредине унтер-офицер. Бросились в лес. Аэроплан, падая, срезал на лету огромную сосну, согнул вторую, на которой и повис. Летчик спустился, но пулями ему прострелило два пальца на руке. Он лишился возможности управлять машиной, и это было причиной его падения.

Часа четыре спустя я снова сидел в лесу, в ожидании отставшего управления и загрузшей линейки. Мимо меня в повозке проехал в сопровождении санитара и двух солдат подстреленный летчик, — рыжеусый, здоровенный детина. Он был очень весел, возбужденно рассказывал, как срезало аппаратом сосну, уплетал краюху хлеба и, заметив наших солдат,

помахал в воздухе перевязанной рукой и крикнул довольно безобидно.

— Только бы мне попался этот сукин сын, что стрелял, — я бы наклепал ему в морду! . .

Меня несколько удивило это добродушное спокойствие искалеченного летчика. Но солдаты оказались догадливее меня.

— Удача парню, — произнес кто-то завистливо вслух, — для него война кончилась.

Неприятель наседает. Мы продолжаем стремительно откатываться от Сана. Безостановочно, без дневок и передышки, катится гигантская лавина, состоящая из лязгающих цепей, из тяжелых колес и кованых копыт, из кнутов, зубов, желудков, смердословия и помета; катится с криком и грохотом, раскинувшись на сотни верст в ширину, на сотни верст в глубину, по трясинам и топям, втаптывая в липкую, вонючую землю годы и годы кропотливого, стойкого и прекрасного человеческого труда и превращая в разоренную пустыню города, деревни и пашни. Эта лавина движется как железный поток, не зная ни жалости, ни сострадания. Конные не обращают внимания на пеших, передние на задних. Никому нет дела ни до тебя, ни до твоей жизни. Каждый занят собой, своим спасением. Если бы я сейчас упал, закричал умоляющим голосом, захлестываемый грязью, — никто бы, я знаю, не обернулся! Да как же иначе? Ведь мы — живое тело войны. Винты и гайки беспощадной машины смерти. Она должна воевать. Это значит: топтать, покорять, истреблять. Сейчас машина расслаблена, разболтались все рычаги, и энергия, ее заряжающая, со свистом и бешенством вырывается наружу. «Бранная» энергия без удержу прет из глотки, — острят офицеры.

Под давлением контр-пара машина мчится назад — по пути, который называется отступлением. Завтра умелой ру-

кой того же или нового машиниста ослабленные гайки подвинтят, смажут колеса, заменят рычаги — и с той же истребительной силой, круша, ломая и втаптывая в грязь, машина двинется в обратную сторону. И это будет называться — наступлением.

Сегодня мы отступаем. Машина слабо повинуется машинистам. С трудом добрались до Янова. Только-что прошла, вернее промчалась, через город четвертая армии. Теперь движется вся пятая армия. Население в панике. Больше всего оно напугано слухами о предстоящих боях под Яновым. Говорят о каких-то шестнадцати корпусах, разбитых под Сандомиром; и о других шестнадцати корпусах, идущих через Анаполь в Красник. В Янове тесно и грязно. Длинные улицы, похожие на аллеи. Много сожженных домов — следы недавних сражений. И обширное, прекрасное кладбище.

Длинные надгробные надписи, высеченные на широких таблицах, похожи на каталоги мещанских добродетелей, выставленные мертвыми предками в поучение потомству. Вот большой белый крест с золотым похвальным листом: «Жил и умер в истинной вере, упокой, господи, душу его вовек. В битве под Нарвой 6 июня 1855 года был награжден саблей с надписью: за храбрость». Далее следует перечень менее крупных заслуг покойника. Вот на черном кресте история яновских Филимона и Бавкиды: «Андрей и Антонина Русак. Жили 80 лет. В браке — 60 лет. Скончались в 1913 г., вечером 1 августа». Сотни крестов, мавзолеев и чугунных ангелов повествуют о жизни надворных советников, полковников с их давно истлевшими супругами. Вдоль всей ограды, обвеянные трепетом недавних смертей, тянутся свежие ряды могильных бугров, в которые воткнуты — где шанцевая лопатка, где черная высокая пика — с короткими надписями: «солдаты 5-го гренадерского полка», «казаки 2-й сотни». . . Да изредка скромная могила сестры, украшенная солдатским венком из осенних листьев.

— Наш город в опасности? — читается в испуганных взглядах обывателей Янова. И многие уже вяжут свои вещи и узлы и возятся с ящиками, которые они переправляют куда-то в безопасное место.

Разговориться с яновскими жителями нет никакой возможности. На все вопросы они испуганно отвечают: нам ничего неизвестно. Даже яновский воинский начальник — ныне комендант города — оказался таким же захудалым и запуганным обывателем, как и вся его военнообязанная паства. В городе большой вагебуг, т. е. склад австрийских и наших двуколок, линеек и санитарок. Более двух часов я уговаривал коменданта заменить нашу стопудовую колымагу времен турецкой кампании австрийской линейкой, очень удобной и легкой.

— Смилуйтесь, — упрашивал я его, — лошади у нас дохлые; придется бросить нашу линейку на произвол судьбы; обменяйте хоть на плохенькую австрийскую.

— Никак не могу.

Обращаюсь в Красный крест, в распоряжении которого тоже имеется несколько австрийских линеек. Но и там та же история:

— Нельзя, не имеем права. Впрочем, есть у нас во дворе совершенно новая австрийская санитарка. Берите, если позволят.

Хочу взять; является управляющий домом и показывает записку: старший врач такого-то госпиталя коллежский советник имя-рек воспрещает выдачу этой линейки без его разрешения.

Я опять к коменданту. Оказывается, управляющий уже успел доложить ему, и тот с прежним меланхолическим видом заявляет:

— Никак не могу.

— Почему?

— Потому что, согласитесь, не могу же я распоряжаться тем, что мне не принадлежит. Это чужое имущество.

— Позвольте! Одних санитарок вы не даете потому, что они ваши и отданы вам на хранение; эту выдать отказываетесь потому, что она чужая. Получается что-то нескончаемое, наманер периодической дроби. А знаете ли вы доктора, от имени которого предъявляется записка?

— Нет. Но это законная бумага с печатями.

— Отлично, но, может быть, этого доктора уже на свете нет или пришлет он за своей линейкой после войны. А я вот тут, живой, перед вами и говорю вам, что нам остается либо бросить линейку, либо взять лошадей из-под зарядного ящика, а ящик со снарядами в грязи оставить.

— Как хотите, а я не могу распоряжаться чужим имуществом.

— В таком случае нашему управлению придется собственной властью забрать линейку.

— Как! Самовольно?

— Ну, да. Мы заберем ее, как военную добычу, как вещь, неизвестно кому принадлежащую.

— А вы знаете, как это называется? Ведь хозяин города — я!

— Так точно, г. комендант. Вы — хозяин. Но вы только-что заявили, что это чужое имущество и распоряжаться им вы не в праве. А я полагаю, что австрийская линейка на территории Янова может быть либо только вашим имуществом, либо ничьим. Вы от прав на линейку отказываетесь, легкой линейки нам не даете, лошадей также дать не можете. В таком случае нам остается забрать санитарку самовольно, о чем я и довожу до вашего сведения, г. комендант.

Увы! вечером, когда наши солдаты пришли за линейкой, линейки во дворе уже не было. Разумеется, было бесполезно обращаться за разъяснениями к коменданту.

Если для коменданта мы беззаконные самоуправцы, то

для прочих жителей Янова мы просто грабители. Испуганно сторонятся они даже, когда вызываемся помогать им по хозяйству. Особенно боятся нас евреи. Вспоминается утренняя сценка. Мы шли по сонным улицам города. Было светло и морозно.

— В такое утро, — мечтает вслух Кузнецов, — ничего человеку не стоит быть счастливым. Сюда бы только ружье охотничье, да бутылку вина, да хорошенькую женщину.

— Вот как эта красавица, например, — указал рукой Базунов.

По улице нам навстречу шел старенький еврей с мешком за плечами, неся под мышками по гусю; впереди его ковыляла ветхая старушонка. Завидя нас и истолковав по-своему жест Базунова, старушка выхватила гуся из рук еврея и бросилась наутек. Старичок за ней, но пробежал шагов пять, запыхался, скинул мешок и остановился.

— Беги! — отчаянно кричит ему старушка.

Старичок стоит, смотрит на нас слезящимися глазами.

— Продай гусей, — предлагает командир.

Старичок залепетал и закланялся.

— Пане, мине семьдесят лет. Одного гуся продам, а это на праздник.

— Не бойся, мы заплатим.

— У нас праздник завтра. Свенто. Я сам заплатил 1 руб. 50 коп.

— А сколько ж ты хочешь?

— Пане, пане! — затрясся старичок. — Мине семьдесят рокив...

Вокруг нас столпилась масса евреев и евреек (и был у них такой вид, точно перед их выпученными от страха глазами вставали картины времен крестовых походов — с набегами сарацин и кострами святейшей инквизиции).

Мы поторопились пройти дальше.

Однако, и в Янове отыскался отважный человек, который

не только не испугался нас, но даже сам явился к нам на квартиру. Это был директор частной гимназии Георгий Клементьевич Деев. От него мы узнали, что жители Янова терроризованы беспрерывными переходами городка из рук в руки. Незадолго до нашего появления тут были немцы. Когда начали приближаться русские войска и придвинулась канонада, немецкие солдаты бросились с керосиновыми факелами по улицам Янова и стали поджигать дома. Деревянные вспыхивали тут же, а каменные кое-как устояли. Подожгли между прочим и госпиталь, помещавшийся в здании старой гимназии, где в то время оставалось семеро раненых. Трем из них удалось выползти, двух спасли санитары, а двое в огне погибли.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПО ТЫЛОВЫМ ДОРОГАМ

1914 г.

ОКТЯБРЬ.

1.

Мы приближаемся к Краснику. С утра до ночи грохочут пушки. Ночуем в крестьянских хатах, где нас встречают недружелюбно, враждебно. В деревне Зарайцы решительно отказываются впустить на ночлег. Ни угрозы, ни просьбы не помогают. Старики объясняют:

— Дюже обижают нас обозы. Весь день молились, чтобы постоя не было.

Пришлось заночевать под открытым небом. Ночью пошел дождь, и мы насильно ввалились в избы. Оказалось, живут зажиточно, даже богато. На кроватях перины и пуховые подушки. У многих швейные машины, стенные часы, фаянсовая посуда, пышные иконостасы. Во дворе — пасеки, хорошие амбары. Солдаты возмущаются:

— Своим жалеют, для гéрмана берегут. И нисколько стыда у них нет. Не надобно о плохом думать, только промеж таких мужиков не мало шпионов водится.

Утром разговорились с нашими хозяевами. Спрашиваем у них:

— Немцы у вас стояли?

— А як же: австрияки. Которые по-нашему балакали.

Слово за слово мы узнаем от них, что «у германа люди

толсты, а у австрийцев — бидный народ», что австрийцы, туда идучи, хвалились: Красник — на сняданье (завтрак), Люблин — на обед, Варшава — на ужин. Туда шли — гордые были; говорили: под австрияком вам лучше будет. В котлах мясо варили, а детям не давали. Дразнили восьмилетнего Антося, просившего мяса: «подожди, мы вот посечем, порубим вашего Миколку-царя на котлеты, тогда и дадим тебе». А как бежали назад, просили офицеры черного хлеба, платили по две кроны за ломоть и кричали: «еще хце».

...Днем получено предписание двигаться безостановочно до Красника. Идем боковиной, крепко перетянув сапоги, чтобы они не остались в болоте. Грязь, просачиваясь сквозь платье, липнет к телу. От усталости еле дышим. Шагаем по скользким горбакам, ежеминутно рискуя скатиться в канаву, в которой жижи по горло. Раза два срываюсь, падаю, лечу с откоса. Рука исцарапаны в кровь. С частью плетусь какой-то странной дорогой: под ногами шуршат большие твердые шары. Это — капустное поле. Мы давно отбились от части. Идем небольшим отрядом: адъютант, два доктора, человек десять солдат, два писаря, трубач и фельдфебель. Часам к десяти вечера доплелись до копны пшеницы, под которой кучка пехотинцев развела костер.

Гремят пушки, вспыхивают огненными бороздами выстрелы с разных сторон. Греемся у костра и обмениваемся стратегическими соображениями.

— Быдто, слыхал я от ординарца, — за Сандомиром бой сильный идет, — объявляет пехотинец, посасывая цыгарку.

— Яво за Вислу прогнали, а теперь через Сан не пропускают.

— Ишь ты! — удивляется другой. — И ему деть себя некуда. Не перескочит.

— Как по-вашему, одолеем мы немцев? — спрашивает адъютант.

— Надо бы осилить, — неопределенно тянет щетинистый пехотинец.

— Только, вишь, орудиев у него много. Как почнет крыть шрапнелью, неба не видно.

— Чаво там орудия! — откликается кто-то новый. — На какие хитрости ни подымайся, а ничего против силы не сделаешь. Наша сила сермяжная — земляным нутром тянет. Против нашей силы — терпения яво нехватит.

— Ну это ты зря, — возражает щетинистый. — Немца соломинкой не осилишь. Яво-то разве так учат, как нас? . . Пущай там война, аль не война, немцы сызмальства до всего приучены, что да как. У них и одежа, и пища, и орудия другая. И ладится у них не по-нашему. . . Не! немец не провоюется!

— Значит, по-твоему, проиграем мы войну? — допытывается адъютант. — И придется нам оторвать кусок России и немцам отдать?

— Ничем меня немец не обидел, — дипломатически уклоняется спорщик, — и воевать нам не за́ для ча.

Потом он медленно развязывает мешок, достает большой ломоть хлеба и отщипывает краюшку.

— Может и вам, ваше благородие, хлебца урезать? — обращается он добродушно к адъютанту.

— Давай.

Мигом вытаскиваются мешки, и пехотинцы угощают нас хлебом. Минут десять жуем и чавкаем. Некоторые выдергивают снопы из копны и тут же устраиваются под стогом. Гремят орудия, гулко раскалывая небо и выбрасывая потоки пламени. Издали клокочет шоссе железным лязгом. Вдруг из темноты появляется фигура солдата. На нем рваная шинель в накидку. Шапка лихо нахлобучена на голову — козырьком к затылку. Лицо бойкое, цыганское. Из-под шинели виден гриф мандолины. Забубенная головушка. Осмотрев нас всех, он остановил взгляд на адъютанте.

— Дозвольте, вашбродь, к вашему шалашу!

Из темноты выплывают еще три солдата, такие же рваные и без винтовок.

— Садись. Кто такие?

— Ранёные. Из госпиталя. К своей части добираемся. Дивизии гренадерской, полка московского, — сыплет он театральным говорком.

— Где ранены?

— Под Травниками. Шесть дён друг из дружки сок пускали. Испила земля и ихней, и нашей кровушки.

— Эх! — протяжно вздыхает кто-то, ворочаясь на снопах. — Хуже зверя облютел человек. На каждом кровь чужая засохла... И кто ее придумал эту войну? Ни врагу, ни нам от нее ни проку, ни корысти.

Гренадер с мандолиной долго щурится на огонь, ухмыляется, показывая белые зубы, и бросает тоном привычного балагура:

— Чего, дядя, скарежишься? Война всем нужна.

— А какая в ней польза? Я в ево целюсь, он в меня целится. Как два разбойника. Вот и польза.

— А может и от разбойника польза? Про Тишку-разбойника слыхал?

— Валяй, валяй, — оживляются солдаты. — Сказывай про Тишку-разбойника.

— Вот!.. Едет раз мужичок. На возу клади сто пудов. И на хорошей бы лошади — ни тпру, ни ну. А у мужичка лошаденка плохенькая и поклажа барская: с которой стороны чужую кладь ни поверни — всё тяжело!.. Едет мужик с возом, мычит, кряхтит — помереть впору. А навстречу ему шестериком сам барин. Поравнялся с мужиком:

«— Стой! — кричит барин. — Отчего у тебя, сукина сына, лошадь не везет?

«И давай греметь и костить.

«Ан, глядь, — вырос из-за куста мужик, снял шапку, по-

клонился барину до земли да и говорит:

« — Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи ты такую милость мужику-дураку, подари ему левую пристяжную.

«Как взъерепенится, загремит барин:

« — Как ты смеешь, дурак ты этакий, мне говорить такое? Да я тебя! . .

« — Уж сделай милость, барин, — пристает мужик, — подари мужику левую пристяжную.

«Еще пуще разоряется барин:

« — Да как ты смеешь?! Да знаешь ты, что я с тобой сделаю? Да кто ты такой?

« — А осмелюсь вашей милости доложить, человек я простой да маленький, а прозываюсь я Тишка-вахлак.

«Как услыхал барин, что перед ним Тишка-разбойник стоит, куда и прыть вся делась.

« — А, — говорит, — здравствуй, Тишенька! бери лошадь, какая нравится. Пусть мужичок доедет с богом до дому; а я и пятериком доберусь, лошади ничего не сделается. . . После только пусть назад приведет.

« — Нет, уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку! Не изволь, барин милостивый, отнимать лошадки у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья.

« — Изволь, Тиша, изволь! Я для тебя, Тишенька, и совсем могу это сделать, могу совсем подарить. Изволь, изволь, миленький!

«Припряг мужик к возу левую пристяжную, взмахнул кнутом и в полчаса до дому доехал. Да еще и после сколько на той барской лошади ездил. . .»

— Мудреная сказка, — ухмыляются солдаты.

— Ай невдомек? — спрашивает рассказчик, лукаво поглядывая на адъютанта, и добавляет задорно:

— Может война-то и есть тот самый Тишка-разбойник, что от барской шестерки левую пристяжную мужику отдать хочет...

И, польщенный успехом, гренадер ударяет рукой по мандолине и поет на мотив «барыни», с замысловатыми вывертами и коленцами:

Ты прощай, моя сторонка,
И зазнобушка и жонка.
Обнялися горячо —
И ружьишко на плечо,
Уж как нам такое счастье —
Служим мы в пехотной части.
Будь хучь ночью, будь хучь днем —
По болоту пешки прем.
Только ляжешь — невтерпежь:
Под сорочку лезет вошь.
Уж и гложет, и сосет
Цельну ночку напролет.
Вечер поздно из лесочка
Герман бьет шрапнелью в точку.
Уж такой талан нам, братцы,
Просто некуды податься.
Хучь и влепят пулю в лоб,
Да с Егорьем ляжем в гроб.

— Веселый ты парень! — На все руки мастер, — говорит адъютант.

— Рад стараться! — вскакивает солдат и кричит, весело паясничая: — Человечек я махонький, мужичонка плохонькой...

— Так вот в кого ты целишься... в левую пристяжную... Ну, нам пора! — поднимается адъютант. И мы пускаемся в путь.

Издали долетает еще голос веселого гренадера.

— От этого ждать можно, — вкрадчиво произносит фельдфебель. Гридин. — Этот научит...

2.

На войне — страшно, любопытно и занимательно.

Страшно видеть действие огнестрельных орудий, страшно прислушиваться к хриплому грохотанию пушек, которые с регулярностью часовых механизмов выбрасывают снаряд за снарядом, и наблюдать, как все кругом превращается в кладбище и развалины.

Любопытно это зрелище пылающих в воздухе ракет из расплавленной меди, этих взвизгивающих шрапнельных горошин, которые приковывают к себе исполненные жадным испугом взгляды и удерживают людей под огнем, несмотря на смертельную опасность. Тут любопытство оказывается сильнее страха. Сотни людей следят с разинутым ртом за германским аэропланом, который методически, в известные часы появляется над Красником и бросает сверху свой смертоносный подарок глазеющей толпе, упрямо и жадно дожидающейся этого удара.

И глубоко интересно присутствовать на состязании человеческих честолюбий, которые и здесь умудряются превращать каждый штаб, каждую батарею и каждый полевой лазарет в питомник интриг и карьеризма.

Сейчас идет незаметная, но напряженная борьба вокруг реорганизации парков. Победа осталась за Базуновым. В Люблине намечается устройство ветеринарно-питательного пункта, как бы некой санатории для слабосильных лошадей, которые после приведения в годность пойдут на укомплектование износившихся парков. Заведующим назначается Базунов, представивший обширный проект по реквизиции конского состава и устройству мастерской для изготовления и починки парковой амуниции. Это очень сложное хозяйственное сооружение, требующее для обслуживания свыше 800 человек команды. Несение медицинской работы на пункте возлагается на меня. Сегодня Базунов весьма торже-

ственно объявил мне об этом. По его словам, наше пребывание в Люблине продлится около месяца. В течение этого времени обязанность командира бригады будет исполнять капитан Джапаридзе, которому дано предписание двигаться с двумя первыми парками (укомплектованными за счет временно расформированного третьего парка) в направлении Люблин — Уржендов — Новая Александрия — Ивангород.

До Люблина передвигаемся все вместе. Миновали Сладков, Вильколас, Клоднице-Горне. Приближаемся к Люблину. День великолепный. Солнце, которого мы так давно не видали, светит и даже греет. Идем боковиной. Дорога подсохла. Теплый ветер обдувает лицо. Иду без шинели, затерявшись в солдатской массе. Откуда-то слева, с запада, доносится гул орудий. Над нами все время реет германский аэроплан. Высоко сверху долетает певучее жужжание мотора. Не видно. Солнце ударяет в глаза. Слышится резкая пальба пачками. Кажется, это какой-то обоз стреляет по аэроплану. Высоко. Не попадет. А в нас попасть могут. Но день свернуть с твердой дорожки. Не верится, чтобы шальная пуля подкосила меня теперь, когда мы направляемся в тыл. Не может этого быть. На душе так легко и спокойно. И каждый раз ударяет в голову, как вино, горячее радостное сознание — месяц полного отдыха. Все громче хохучут пушки. Я почти не замечаю их гула. Кто-то мчится лесом, мелькнуло несколько всадников. Но в голову даже не приходит, что это может быть неприятельский разъезд. Да и не все ли равно? Разве может кто-нибудь помешать моему месячному отдыху? Спрашиваю у встречных казаков: хороша ли дорога до Люблина?

— Тут пока хороша, а дальше низцой пойдет, болотиной.

— Болотина так болотина... как-нибудь доберемся, — говорю я беспечно и обращаюсь к нашим солдатам:

— Опять мы тут в грязи поныряем.

Меня самого поражает мой беспечный тон.

— Да уж это как водится. Поныряем, — добродушно отвечают солдаты.

По бокам дороги пестрые леса. Сочными пятнами выделяются багряноржавые вершины грабов, прорезанные светло-изумрудными пирамидами елей. Золотистыми купами мягко лучатся молоденькие сосны. Ласково серебрятся березки.

— Хорошо! — говорю я вслух.

— Это в тебе сердце радуется, — отзываются солдаты, — что после грома-то здешнего душу на волю выпустили... У нас маятно. И птица к нашим местам охоту теряет. Как в котле кипим. Дома — как хлевок. Все загажено. Да на глазах у смерти. А там тебе, в Люблине, и кровати чистые, и шкапы, и диваны, и киятры, и нужники, и ресторанчики.

— Так-то так, только жалко вот с вами расставаться, — смущенно оправдываюсь я. — Хоть не надолго, а жалко. Вместе мучились, вместе б и отдыхать.

— Ничего. Мы привычные. И в беде посидим.

...Ночуем в Себащанах. Остановились в зажиточном доме. Опрятные полы, набело вымазанные стены, горы белых подушек с вензелями и вышивками. Чистые дети. На всем печать достатка и сытости, а в глазах хозяйки страх и отчаянье.

— Чего плачешь, хозяйка? — спрашивает ее адъютант.

— Говорят, немцы людей режут.

— Гéрман не пшиде, — утешаем мы ее, но слова наши не внушают ей доверия. Она пугливо прислушивается к грохоту пушек и, заливаясь слезами, причитает:

— Гремят пушки, придет немец, глаза выколет.

— Да будет тебе хныкать, карга, — раздражается Растаковский. — Шкира, ты бы ее как-нибудь утешил... по-своему.

— Пущай плачет. Бабе глаза только для слез и надобны.

— Спой ты ей про Вильгельма, — подзадоривает денщика адъютант.

— Вали! — подбадривают другие денщики.

Шкира, довольный общим вниманием, снимает со стены балалайку и весело заводит:

Эх, ты, герман, герман-шельма,
Наплевать нам на Вильгельма.
Австрияцкому мы Францу
Наведем на рожу глянцу.
А у Франца ножки гнутся,
Все поджилочки трясутся.
А Вильгельма, дурака,
Раздерем мы до пупка...

Как всегда, пенье Шкиры является только увертюрой к офицерскому концерту. Кузнецов и Болеславский вооружаются мандолинами. Запевало Кордыш-Горецкий взмахивает рукой. Корпачев и Растаковский подхватывают, и воздух оглашается одной из тех похабно-солдатских песен, слова которой не дерзнет воспроизвести на бумаге ни одно перо в мире.

Сложив руки на животе, стоит с разинутым ртом хозяйка и смотрит с заплаканными глазами на отступающее русское офицерство, воюющее за «польскую независимость».

3.

Выехали на заре, чтобы засветло добраться до Люблина. Облака на востоке едва алели. Весело было шагать целиной по примерзшей траве. В седьмом часу солнце выкатило огромным блестящим шаром и перед нами с вершины холмов развернулся просторный горизонт верст на тридцать во все концы. Куда ни глянешь — скрипят бесконечные обозы. Визгливо вскрикивают паровозы-кукушки, тарахтящие по

узкоколейке. Плетется обмызганная пехота. Шныряют по всем направлениям казачьи разъезды. И вдруг на фоне этого типичного военно-походного антуража нелепо бросается в глаза крестьянская телега, нагруженная вещами, в сопровождении трех врачей. Подхожу ближе: три московских врача-невропатолога. Пожилые люди с известными именами. Направляются в Люблин. С 12 сентября мыкаются по фронту в поисках гвардейского корпуса, отчисленного от девятой армии и теперь болтающегося где-то под Ивангородом. Высадились доктора в Холме. Перевозочных средств никаких. В складчину купили крестьянскую телегу с конем (для перевозки вещей) и странствуют как цыгане. Обращаться с лошадью не умеют. Кормить ее трудно. По ночам приходится караулить, чтобы лошадь не увели. Обносились, издержались, издергались. Адски клянут войну, начальство, Европу и уверяют, что все их путешествие — сплошная немецкая интрига.

— Помилуйте, — кричит доктор А., — в какое тут имение ни попадешь — немецкое. Да вот к примеру: видите вон ту круглую башню в стиле старых баронских замков? Это — фольварк фон-Гофмана. А там вот, направо, — именье Энгельгардта. Мы здесь всю местность исколесили, и смею вас уверить, что любому немецкому офицеру эти белокурые бестии окажут во сто раз больше гостеприимства, чем нам... Да и поляки тоже... Я бы им прописал независимость!

— Однако, вы накалились.

— Э, батенька, хорошо вам путешествовать под охраной целой бригады. А когда атаковывать приходится каждую экономию и брать с бою каждый пучок соломы, то нащупаешь в себе и не такие замаскированные батареи. А впрочем, все хороши: и паны, и мужики, и начальство. Кабак, настоящий кабак!

За Трояцковицами, верстах в тринадцати от Люблина, дорога идет в гору, с вершины которой открывается вид на

Люблин. Издали — это белый город с блестящими крестами, высокими фабричными трубами и многоэтажными домами. Расположен он на холмах и то пропадает из виду, то выдвигается отдельными кусками.

В Люблин вступили вечером. После суровой походной жизни все показалось обаятельным. Два месяца мы провели в лесах и на поле сражений. Ночевали в крестьянских избах или разграбленных замках. Кругом ничего, кроме слез, нищеты и могил. А здесь широкие мостовые, многоярусные дома, пролетки на резиновых шинах, сады, бульвары, магазины, женщины в изящных нарядах, и этот яркий, волнующий электрический свет. Но не прошло и пяти часов, как от всего этого шумного разгула на нас пахнуло обидным вызовом фронту. Опротивели и рестораны, и автомобили, и крашеные сестры — весь Люблин с показными, искусственно раздутыми тыловыми учреждениями, этими гнойниками войны, куда устремились фавориты, лакеи, кокотки и всякого рода патриоты и патриотки. Я с радостью согласился на предложение командира отправиться в Холм для подыскания более подходящего места нашему будущему пункту.

В двенадцатом часу я уже сидел в поезде на Холм. Моими соседями по вагону оказались пожилой холмский священник и директор учительской семинарии в Холме. Оба — весьма словоохотливы и самоуверенны, как полагается русским чиновникам. Говорят они, главным образом, для меня. Говорят о немецких зверствах, о бездействии интендантов, о геройстве офицеров и предательстве евреев; убеждают меня ненавидеть и бояться евреев как самых лютых и лукавых изменников.

Помещения для ветеринарно-питательного пункта в Холме не нашлось. Возвращаюсь в Люблин. Сижу в вагоне, переполненном тыловым офицерством. Офицеры все время

закусывают и ведут оживленные разговоры. Воздух отравлен юдофобством, ненасытной животной злобой.

4.

Опять в Люблине. Наш пункт и вся команда разместилась в деревне Быстржицы, в 5 верстах от города. Канцелярия в Люблине. Командиру предоставлено помещение из трех комнат, в которых мы расположились по-барски: в одной комнате — Базунов, в другой — я, в третьей — денщики. Хозяйство ведет Юрецкий, повар командира. В сущности, я свободен от всяких обязанностей, если не считать осмотра команды. Весь день болтаюсь по городу, осматриваю окрестности Люблина, дворцы, костелы, старинное гетто, Саксонский сад. Знакомлюсь с ксендзами, от которых узнаю много любопытного о былом величии Люблина, о гробнице Ярослава в одном из костелов, о посещениях Люблина Петром Великим, о подземных ходах, сохранившихся и доныне и ведущих, будто бы, прямо из пещер Саксонского сада до Новой Александрии и дальше. Часто бываю в госпиталях, где ведем нескончаемые беседы о войне, о России и грядущих возможностях. Как легко отвыкаешь на войне от удобств и привычек большого города и последний скоро становится чужим и даже враждебным, так же легко происходит и обратное превращение в горожанина. Всего четвертые сутки, как я живу в Люблине, а все минувшее уже кажется промелькнувшим, как сон: леса, болота, трудные переходы, бабий плач и безунимное грохотание пушек. Город снова влечет своей крикливой суетой: газеты, споры, ожидания. Из уст в уста передается: Перемышль пал; потом — осада Перемышля снята; потом — опять: взят... Но это никого не смущает. Слухи возникают и лопаются, как мыльные пузыри. Никто не знает источника этих слухов. Но чем нелепее, чем фантастичнее слух, тем больше данных за то, что в него уверуют. Тыл целиком во власти слепой и непреодолимой заразы.

Свирепствует истерическая доверчивость на ряду с эпидемической ложью.

Ложь — официальная и газетная — овладела всеми умами и поступками.

И еще одна особенность этой породы, которую на фронте окрестили названием «тыловая сволочь»: она предается какому-то стихийному разгулу. Тыл становится поставщиком и питомником небывалой, массовой проституции.

Проституируются в одинаковой степени и города, и деревни.

Вчерашний день я провел в Быстржицах, где 800 здоровенных артиллеристов с утра до ночи азартно играют в карты, бражничают и гоняются за деревенскими бабами. Вечером я наблюдал любопытную картину.

Солдаты возвращались из бани. На артиллерийских возах рядом с загорелыми молодцами восседали красные, распаренные бабы. Крепкие, смеющиеся они сидели живописными парами в позах, не оставляющих ни малейших сомнений.

Спрашиваю наших артиллеристов:

— Вы уж тут, кажется, обвенчаться успели?

Бравые, кряжистые, они выпячивают грудь и отвечают, покручивая ус:

— А что нас не любить? Чем плохи?

— И солнце на ночь к бабе уходит, — острит Блинов.

— Человеку здоровому без бабы тягости здешней не поднять.

— Всякая баба ласку любит; хучь наша, хучь полька — всякую бабу жалеть надо.

— Сперва вы, — говорю я, — за вами другие, третьи, четвертые, так до конца войны: кто на постой придет, тот и будет бабьим пособником.

— Кому охота — пущай, — смеется Блинов. — Баба не мыло: не вымылится.

Ночью, оставаясь с командой, я убедился, что «женскому

вопросу» здесь уделяется не мало внимания. Передо мной развернулась настоящая дискуссия о бабах, с самым подробным обменом мнений.

Всех энергичнее ораторствовал солдат гренадерского парка Байбаков, молодой, размашистый парень.

— Нашему брату на войне — что без хлеба, что без бабы — никак невтерпеж. Еще я голодный согласен воевать, но без бабы пропадаю. Которые в городе стоят — тем что? петухами коло баб так и топчутся. Им баловство, а нам вдовство.

— Правильно! Правильно! Кровь молодая: — ласки просит.

— Наш брат, мужик, — продолжает ораторствовать Байбаков, — как бабу зачуял, так бы лютым зверем и кинулся. Без бабы и сон не в отдых. И во сне женский пол на уме. Ходят цельну ночь белые, грудастые, да гладкие, а пристроиться никак не поспеешь...

— Вот у немца на все своя правила, — откликается голос издалека; — немец и одежду, и пищу, и бабу казенную получает.

— Да ну? — выражают сомнение некоторые солдаты.

— А ты как полагаешь, — весело вмешивается Блинов, — и немца как нашего брата матерно ругают? У немца под боком — сколько пальцев, столько девчонок; а под носом — пива бочонок. Ага!..

— Складно брешет Блинов, — хохочут солдаты. — И то сказать: без бабы и без вина — и война не нужна.

— А по мне в деревне куда способнее солдату, — раздается голос Гладкова. — Так что хлеба, скажем, ни крошки, собаки с голоду воют, да мышами из омшанника тянет. Зато с бабой натешишься.

— А вже ж, — отзывается Ничипоренко, пожилой, здоровый солдат, один из любимых балагуров команды. —

А вже ж... мені перва жінка трое дітей привела, и друга двух привела. Було мені сорок годів, як в третью взяв.

— Девку? — любопытствуют солдаты.

— А вже ж. Ей двадцать років було.

— Почему ж ты взял молодую, а не старую, как сам?

— На що ж мені, браты, бабу с чужіми дітьми, як у мінэ свойх пять душ? Вона ж собі и своим дітям більш приятелем буде, чем мені. Щож тоди з моими дітми буде? А як будут у нэи діты, хочь и не од менэ, звыняйте, а вже вона з дому ничого не понесэ.

— Теперь, значит, если третья жена помрет, что ж ты делать будешь? Ведь больше трех раз жениться нельзя.

— Мо-ожно... На вэксель. Гражданьским браком, як це кажуть паны.

... Второй день ползут неясные слухи о боях под Новой Александрией. Источник слухов — солдаты. Со слов «солдатского вестника», как любят говорить офицеры, или, выражаясь по-местному, «пантофлёва почта» передает, будто под Новой Александрией идет жестокий бой, в котором участвует и наша дивизия. Говорят, что именно наша дивизия явилась застрельщицей в этом сражении, понесла большие потери и сейчас совершенно выведена из строя. Называют много убитых и раненых из нашей бригады. Говорят о разгроме, которому будто бы подвергся наш головной эшелон, подававший снаряды на батарею...

Слушаешь, слушаешь, стараешься ничему не верить... Вечером держу военный совет с денщиком Коноваловым, и оба единодушно решаем: здесь делать нам нечего, надо ехать к «себе» в свою биргаду. Командиру не особенно нравится такая воинственность.

— Кто же останется врачом при команде? — говорит он довольно хмуро. Но тут же дает нам разрешение в своей обычной иронической форме.

Весь день провели в суете и приготовлениях: закупали вино и закуски для бригады. В пятом часу мы уже были на вокзале. Базунов с двумя денщиками пришел вслед за нами, хотя до отхода поезда на Ивангород оставалось около часа. Базунов был в игривом расположении духа и, поглядывая на часы, говорил зловещим голосом:

— Смерть приближается к ним все ближе и ближе.

Или спрашивал трагическим шопотом:

— Как вы изобразите ваше теперешнее умственное состояние в дневниках?

Но время шло. Пробило шесть, семь, восемь, девять, десять часов.

Мы успели поужинать, дважды напиться чаю. Коновалов успел сообщить мне растерянным голосом: «ваше благородие, я шашку загубыв», потом успел сбегать за шашкой к нам на городскую квартиру, а мы все ждали отхода. Только в два часа ночи поезд погрузился, и в 6 часов 20 минут утра мы двинулись с места. Базунов в последний раз насмешливо прокричал мне вдогонку:

— Смотрите там, чтоб ваш Санчо Панса не погиб.

Через минуту я спал крепким сном на груде наших покупок.

Проснулся в Новой Александии. Оставив Коновалова на вокзале, я пошел в штаб нашего корпуса. Было восемь часов вечера. От дежурного офицера я узнал, что головной парк находится по ту сторону Вислы, и если я пойду по шоссе, то скоро настигну его.

Когда я вернулся на вокзал, то наткнулся на страшное зрелище: вся платформа кишела ранеными. Их только-что выгрузили из вагонов, и они валялись на голом, цементном полу. Валялись, метались и выкрикивали непонятные слова. У многих судорожно дрожали губы; измученные глаза; серопепельные лица. Большинство из них не могло самостоятельно передвигаться.

Они испытывали невероятные муки и, хватая за ноги санитаров, обращались к ним с мольбами и жалобами. Несколько докторов в халатах носились с криками по платформе и с отчаяньем повторяли:

— Ну что нам делать? Что делать?

Один из них крепко за меня ухватился.

— Я вас не отпущу! Вы должны нам помочь, коллега. Разве мы в состоянии сделать столько перевязок?.. А ведь их будут подвозить всю ночь, всю ночь!

Не прошло и пяти минут, как, облаченные в белые халаты, мы с Коноваловым очутились в полной кабале у докторов санитарного пункта. Мы таскали раненых из вагонов, снова грузили их в вагоны, снимали с них обувь, платье, перевязывали, развязывали. Нас ругали, толкали, просили жалобным голосом. Тошнило от приторно-кислых испарений пота и крови. Ныли ноги, спина и плечи. Беспомощные пальцы скользили по лицу, хватались за халат, цеплялись за шею. А количество серых шинелей и стонущих глоток на платформе не уменьшалось. Время от времени кто-то грубо набрасывался на нас: чего трупы тащите? отшвыривайте в сторону!

И мы с тупым безразличием бросали наземь неподвижную груду мяса, чтобы заменить ее другой, такой же неподвижной, но еще кричащей и мучающейся от боли.

Только на рассвете к нам явились на смену, повели нас на пункт, дали умыться, обогрели и напоили чаем. Какой-то доктор в кожаной куртке, очень похожий на того, которого я видел в Ниско, чистящим зубы на балконе, нервно шагал из угла в угол, выкрикивая раздраженным голосом:

— Это не война, а кабак. Десятки госпиталей стоят неразвернутыми в тылу. Сотни врачей шатаются без дела. А мы здесь падаем от усталости... На кой чорт нам кавалерия? Какая от нее польза? Надо снять ее с лошадей и погнать всех кавалеристов в окопы. А на коней посадить докторов и соз-

дать из них санитарную кавалерию. Летучие санитарные отряды. И бросать их с места на место по мере надобности...

Рано утром, в начале восьмого, сдав вещи на хранение санитарному пункту, мы отправились в путь-дорогу. На переправе тьма войск. Мост длиною с версту, понтонный. Висла мутная. Течение быстрое. На другом берегу Вислы сразу бросаются в глаза следы жестокого боя. Здесь наши войска были вовлечены в ловушку. Неприятель отступил, очистив поле сражения верст на пять, и укрепился за вторым рядом окопов. Его пришлось выбивать шаг за шагом.

Со звоном и грохотом скатывались с моста телеги, и люди вливались в водоворот, гудевший на шоссе. Но уже на третьей версте от Вислы все эти грохочущие волны схлынули куда-то в сторону и исчезли. Мы нагнали небольшой пехотный отряд под командой прапорщика. От него мы узнали, что бой тянется четвертые сутки. На второй день немцы отошли за вторую линию окопов. Пропустив нашу дивизию, которая первая ринулась вперед за уходящим противником, неприятель открыл жестокий огонь. Дивизия оказалась окруженной со всех сторон и прижатой вплотную к Висле. Бросились ей на помощь. Но мост, подожженный снарядами противника, пылал. Кавалерия, много раз пытавшаяся перейти через мост, не выдерживала огня и отступала с большим уроном. Кромский полк, дравшийся впереди всех, дрогнул и начал подаваться назад. Тогда противник, осыпаемый огнем наших батарей, пошел в атаку. Бывшие поблизости части приняли бой, но не выдержали и отступили. Наперерез отступающим бросился Сурский полк. Тогда повернули и Кромцы, и противник был опрокинут.

Сейчас идет бой во-всю. Все кругом точно растоптано и смято каким-то бешеным ураганом. Всюду валяются символы войны: сотни пробитых пряжек, тысячи картечных осколков,

груды жестянок, гильз и патронов. Развороченные снарядами окопы зияют свежими ранами земли. По бокам шоссе множество холмиков с торчащими наружу ногами и руками. Судорожно скрюченные пальцы измазаны запекшейся кровью. А солнце горит и сверкает на медных пряжках, на банках из-под консервов, на патронных гильзах и матовых обоймах. Вся земля усеяна белыми тряпками и длинными марлевыми бинтами, пропитанными свежей кровью. Тут и там валяются изуродованные трупы неубранных австрийцев.

— Нам добре служить, — произносит вдруг Коновалов.

— Что ж хорошего в нашей службе? Ты посмотри кругом, что делается.

— Хиба ж мы выны тому? (А разве это наша вина?)

— А ты как полагаешь, Коновалов?.. Знаешь ты, что такое комми-вояжеры?.. Разъездные приказчики... Так вот все мы, воюющие, — вооруженные комми-вояжеры английских и немецких пивоваров. И я принимаюсь рассказывать Коновалову о классовой борьбе, о пауках и мухах, о буржуазии, об империализме. Беседуем мы долго и обстоятельно. Благо, времени свободного у нас много и выразительными примерами устлана вся дорога. Навстречу нам тянутся сотни раненых. Понурые, усталые, с белыми перевязками, сквозь которые алыми пятнами проступает свежая кровь.

Подхожу к одному, другому, спрашиваю:

— Не видали, где тут парки стоят?

— Никак нет.

— А далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

Сделали верст восемь. Вот мертвые мадьяры, похожие теперь на японцев. У всех труппов вывороченные карманы; все обшарены и обобраны санитарами. Валяются кучи австрийских ранцев и сотни неприятельских ружей, расставленных широкими пирамидами по краям шоссе. Длинными змеями извиваются брошенные пулеметные ленты.

— Страшно? — спрашиваю я Коновалова.

— Ни, я не жалкую, що пийшов.

Без конца бредут раненые. Спрашиваю:

— Далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

— А как дела?

— Там за рекой, ваше благородие, что народу побитого лежит! — возбужденно заявляет один. — Нашего брата как песку; а ихнего — еще больше; как грязи! . . Ой, и бьют же его! . .

Усталые и голодные, мы сворачиваем с шоссе и забираемся в лес. Издали доносятся чьи-то хриплые стоны. Подхожу ближе: срезанные снарядами деревья придавили группу солдат; они умирают в страшных мучениях. Головы измазаны кровью, руки и ноги перебиты, искалечены. С ними возятся в ожидании санитарной двуколки несколько пехотинцев и казак-ординарец.

— Навоевались! Эх, пальнуть бы раз из винтовки! Чего зря людям мучиться? Видишь, сами смерть кличут, — угрюмо говорит пехотинец.

— Разрядить недолго, — вздыхает казак, — да как бы беды не нажить. Им-то, конечно, чего зря томиться?

Снова идем по шоссе. Попадаются группы пленных. Подхожу к отдыхающей группе австрийцев.

Они с ненавистью говорят о германцах, будто те подвели их и надули. Сказали, что русские отступают, и оставили в Новой Александрии и Ивангороде лишь небольшие заслоны. Австрийцы поверили. Думали, что города эти можно будет занять с небольшими силами, и теперь вот платятся за свою доверчивость.

А наши раненые солдаты в один голос твердят:

— Уж как его удалось нам отогнать — и сами в толк не возьмем. Пулеметов у него — страсть! Артиллерия жарит. Такой силы, как у него, еще не было.

Только в начале пятого попался нам какой-то осведомленный ординарец, и от него мы узнали, что головной парк стоит в деревне Пахна Воля, в двух верстах от позиции.

— А далеко еще до позиции?

— Верст пять-шесть.

Вечереет. Накрапывает дождик. По полю рыщут санитары с носилками. Солдаты раскапывают землю и вытаскивают ящики с патронами, наскоро зарытые туда отступившими австрийцами. Десятки трупов. Множество подстреленных лошадей. Неожиданно слышу радостный возглас Коновалова:

— Доктор Костров идут!

— Ой, елки зеленые! Как вы сюда попали, — кричит Валентин Михайлович.

Оказывается, Пахну Волю мы давно миновали. Неприятель только-что отступил, и парку дано предписание перейти на 4 версты вперед! Валентин Михайлович с воодушевлением рассказывает о боях, о наших победах. «Висла долго была красной от крови», — повторяет он много раз. В нашей бригаде есть много пострадавших. Ранены — Яблонский, Грогин, Гудим-Левкович. Убит разрывной пулей поручик Терентьев, молодой талантливый композитор. Валентин Михайлович вытаскивает из кармана разряженную разрывную пулю и показывает мне цилиндрическую капсулу, наполненную гремучей ртутью.

— Такая белая, красивая штучка, — философствует Костров, — а хватит по башке, — хуже господа бога поразить может.

Вдруг он останавливается среди дороги, смотрит пристально мне в лицо и произносит с печальной укоризной:

— Из Люблина едете и не могли догадаться. . .

— Е! — радостно отзывается Коновалов. — Усэ е: и водка, и ковбаса. На пункте.

— Да ну? — Эх, родина, великое дело! . . Отпразднуем победу над немцем! Уконтропим!

5.

... Возвращаюсь в Люблин. Сижу в Новой Александрии в ожидании поезда. Каждый час отходят в Люблин поезда-теплушки. Каждый увозит тысячи раненых. Уже больше шести часов сижу на платформе. Давно перевалило за полночь, а санитары все приносят раненых. Платформа, вокзал, станционные комнаты, эвакуационный двор, все пути завалены ранеными, которые тихо стонут и терпеливо дожидаются очереди. Каждый поезд увозит тысячи, а взамен увезенных приходят с позиции сотни и тысячи новых — усталые, изнуренные, землисто-серые. Умоляюще смотрят они на санитаров и докторов. Во втором часу ночи над нами сжалились и пустили в почтовый вагон. Кроме пяти почтовых чиновников, в вагоне находились: артиллерийский офицер 14-го мортирного дивизиона, поручик Астраханского полка, врач дивизионного лазарета 3-го кавказского корпуса, зауряд-чиновник с подвязанной щекой, прапорщик из Москвы и священник из Крыма, в орденах и с красно-крестной повязкой.

Лица у всех неприветливые и злые. Фрондируют, ругают начальство и русские порядки. Всех больше горячится доктор-грузин.

— Скажите, это порядок? — выкрикивает он своим гортанным акцентом, — это порядок, когда у нас триста санитаров, а кухни походной нет! Я говорю: дайте мне кухню, а они говорят: на триста человек закон не позволяет. Это закон? Такой закон надо сжечь, а того, кто исполняет этот закон, — повесить!

— Знаете, а я вот читал... — пытается вставить старший почтовый чиновник.

— Где вы читали? в газетах? Не верю газетам, — азартно отмахивается доктор. — Пишут в газетах, что немцы голодают, не-эт! Немцы не голодают! У каждого пленного в сумке — пресованные сливки, размешал в горячей воде — вот тебе молочный суп. У каждого немца — грибы сушеные, раз-

ные консервы. Это мы голодаем! У других на сучок в глазу показываем, а у себя бревна не замечаем. А какая у нас медицина? Аспирин — такое дешовое... вещество — и того нет. Если бы мне пятьсот рублей в месяц предложили в мирное время, я лучше сдохну, как собака, а военным доктором не пойду.

— А я вот читал... — робко настаивает почтовый чиновник, — многие офицеры пишут...

— Где вы там читали? — горячится грузин.

— Да знаете, в дороге скучно, делать нечего, и я вот читаю открытые письма господ офицеров...

— Вы видите, какие порядки, — вскакивает доктор. — За это еще Гоголь ругал Россию... как он там? Почтовый чиновник Шпиков...

— Шпекин, — вежливо поправляет московский прапорщик.

По мирному времени это скромный буржуа: у него фабрика обоев. Сопровождал эвакуированных пленных в Сибирь. Теперь направляется в четвертую армию за назначением. На лице его полное внимание, но глаза лукаво поблескивают. Время от времени он вставляет ядовитые реплики:

— Русскому солдату по фунту хлеба в сутки дают. Кабы он свой не прикупал, давно бы вся армия с голоду околела.

— И хлеб на свои деньги, — пылко подхватывает грузин, — и сапоги на свои деньги. Разве можно в казенных сапогах такие переходы делать?

Мой сосед, поручик с наивными голубыми глазами, произносит с суровой сосредоточенностью:

— А у меня брата убило... На моих глазах... В одном окопе сидели... Осколком в живот!.. Как вилами проткнуло. Слышу: кричит не своим голосом. Смотрю: кровь меж пальцами хлещет... За живот держится. На моих глазах умер. А я два дня после того пробыл в окопе и стрелял. И Вася тут же. Вот уж которая неделя, а все забыть не могу...

Артиллерийский офицер все время тихо переговаривается со священником. До меня долетают обрывки этой беседы:

— В армии теперь Пуришкевич, — сообщает священник. — Он устроил санитарно-питательный пункт... как же, как же... Энергичнейший, редкий человек... Свой поезд с кухней... Во время последних боев шесть тысяч человек накормил... И в сферах всемогущ... Железнодорожные власти трепещут... Чуть-что — летит телеграмма принцу Ольденбургскому... Собирается писать книгу о войне, под заглавием: «Что я видел».

— Интересно. А что же он напишет? — спрашивает артиллерист.

— Все, — важно отвечает священник.

— Да, он молодчина, Пуришкевич! — воодушевляется офицер. — Я очень рад, что член Государственной думы видел все безобразия, которые здесь происходят. Помилуйте, ваш покорный слуга Христа ради выпрашивал кусочек хлебца у солдат...

— Извините, пожалуйста, — доносится с другого конца вагона гортанный голос грузина, — я разве дурак, или идиот, или сумасшедший, что главный врач вмешивается в мои способы леченья? Пишите, — говорит он, — что это умышленная рана. Не наше дело разбирать под огнем такие вещи. Пусть разбираются в тылу. Я не хочу участвовать в таких комиссиях, а меня заставляют...

Зауряд-чиновник с подвязанной щекой внимательно прислушивается ко всем разговорам и конфузливо и осторожно вставляет ни к селу, ни к городу отдельные фразы:

— Без того война не бывает.

Или:

— Ихняя орудия тоньше, но длинше.

Понемногу вагон погружается в дрему. Только священник с артиллеристом все еще беседуют. Теперь громко на весь вагон несется голос артиллериста:

— Что за чорт? — рассказывает он с большим воодушевлением. — Ведут наши казачки старого, престарого генерала. Форма на нем какая-то удивительная. В щеку ранен. Кто такой? Шталмейстер саксонского двора. Оказывается, такая история: вез он подарки германской армии от саксонского короля, да забрался чересчур далеко. Нарвался на наших казачков. Адъютант молодой успел выскочить и удрать. А шталмейстер глубокий старик, да еще второпях разбил каретное стекло и щеку себе порезал. При шталмейстере телохранитель остался, здоровенный детина. Ну, когда их доставили в Брест, телохранителя засадили под стражу, а генерала в лазарет положили. На второй день присылает он в штаб бумагу, об освобождении просит, ссылаясь на возраст и мирную миссию. Ему, разумеется, отказали, так как подозревают, что миссия у него была совсем другая. Не в подарках тут дело. Это, видите ли, только дипломатическая игра. По секретным сведениям штаба подготовлялся торжественный въезд саксонского короля в Варшаву, где предполагалось провозгласить его польским королем и от его имени издать манифест ко всей Польше.

— Понимаете! — изумляется священник.

— Да, да. Шталмейстер и сейчас в Бресте. Лежит в палате. Со всеми очень любезен и обходителен. Привезенные подарки нашим солдатам роздал.

— Шпион! — убежденно произносит священник. — Много их теперь развелось. Особенно среди иудеев.

— Да! Это вся нация шпионская! — веско подтверждает артиллерист.

В почтовом отделении задули свечу, и стало совершенно темно в вагоне. С минуту длилось молчание, потом послышался печальный голос поручика:

— Сколько дней в окопе вместе сидели. Бывало взвод засмеется, а они сейчас же на звук — тр-р-р — из пулемета. Опасно пошевельнуться. И вдруг «чемоданом» ахнуло... Я

к нему... кровь хлещет, а он уж мертвый... Надо бы хоронить... Нельзя — бой идет. Два дня стрелял, а Вася тут же... Хотелось гроб сделать... Да где уж... Опустили в землю и хоть лицо платком закрыли... Не хочется, чтобы грязь в лицо... Который вот день, а все не могу привыкнуть...

— Привыкнете, — зевая говорит артиллерист. — На войне ко всему привыкаешь.

— А я вот, знаете, читал, — робко начинает почтовый чиновник, — офицеры пишут: пока еще с ума не сошел, но ад такой, что многие уже помешались...

Но его уже никто не слушает... Вагон спит: доктор-грузин, окаменелый поручик, окаменелый чиновник... И каждый из них кричит о своем, о себе, о собственных муках. Может быть, они все охвачены предчувствием и томлением смерти? Или им мучительно надоело вечно думать об окопах, походах и снарядах, и каждому хочется хоть на миг стать самим собой, почувствовать себя не боевой единицей, а личностью — с собственной болью и с собственными страданиями. Предо мною встает пройденная накануне дорога, вспоминаются сотни изувеченных трупов и десятки тысяч людей, шагающих мимо, в ожидании того же конца. Что же это за дикий гипноз? Неужели это страшное зрелище не приводит их к мысли о виновниках злодеяния? Неужели страдания, наполняющие здесь все дороги, все деревни, окопы, вагоны и лазареты — не вырвутся, наконец, из своих тюрем и не хлынут потоком ненависти против тех, кто превратил цивилизацию в бойню, утопил культуру в крови и теперь любуется делом своих рук, как подлинный Мефистофель?

6.

В Люблине меня ждало предписание — немедленно отправиться в Киев за медикаментами, что и было приведено мною в исполнение безотлагательно.

Киев кипел тыловым разгулом и патриотическим умиле-

нием. В «Киевской мысли» за эти несколько месяцев образовался сильный разнобой. Там были и патриоты, и скептики, и пораженцы. Не без иронической усмешки большинство осведомлялось:

— Долго вы там будете еще черепа друг другу раскалывать?

— Это всецело зависит от вас, тыловых; от размеров вашего патриотического азарта.

— А чем все это кончится?

— Революцией кончится.

Я убедил редакцию отправить вместе со мною на фронт кого-либо из сотрудников. Выбор пал на Александра Яблоновского как наиболее ретивого защитника газетно-патриотической крючковщины. [1]

И вот мы сидим с Яблоновским в поезде, едущем в Люблин. Вместе с нами в купэ едет подпоручик — универсант и сестра милосердия — курсистка. Она говорит о своем спутнике: мой муж, а он о курсистке: подруга детства. В вагоне шумно и весело.

Сидим в большом уютном номере люблинской гостиницы. В гостях у нас два офицера: Болеславский и вновь назначенный прапорщик — поляк Виляновский. Через час царь проедет под окнами нашей гостиницы.

На тротуаре под окнами гостиницы масса народу в ожидании царя. Царь промчался в закрытом автомобиле.

— Это будет позором для человечества, если Вильгельм умрет своею смертью — услыхал я вдруг голос Яблоновского.

— А Ника-милуша? [2] — спросил я.

---

[1] Кузьма Крючков — знаменитый герой казенной патриотической печати.

[2] Ника-милуша — прозвище, данное царю Амфитеатровым в его известном сатирическом фельетоне „Семейство Обмановых".

Он взглянул на меня с испугом и показал глазами на прапорщиков.

Обедаем с Базуновым и адъютантом инспектора артиллерии М. М. Червинским. Он только-что с позиции. Говорит очень много, и все разговоры приправлены обычным душком.

— А знаете, Радом и Кельцы остались нетронутыми. Говорят, что жители откупились огромной контрибуцией. Из деревень всех лошадей угнали, а на жалобы жителей немцы иронически отвечали: все равно вы получите лошадей, когда русские нас побьют. Среди простонародья немцы распространяют икону ченстоховской богоматери с изображениями Вильгельма и папы Венедикта по бокам. Это в знак того, что сам папа благословил Вильгельма на освобождение Польши.

— Я завтра уезжаю в Киев, — обращается Яблоновский к Червинскому, — и мне бы очень хотелось знать, в каком положении наши военные дела?

— В блестящем, — отвечает адъютант. — Вся армия победоносно идет вперед. Наш корпус продвинулся к югу на триста верст. Идем мы на Краков; и всего вероятнее, что нашей дивизии поручена будет осада Кракова. Штаб корпуса сейчас в Скальмерже, верстах в сорока от Кракова.

Яблоновский кряхтит и охает. Все щупает пульс и меряет температуру. Ночью Яблоновский жалуется с отчаяньем в голосе:

— У меня температура поднялась на четыре десятых. Это все от холодного клозета. . . Послушайте, скажите по чистой совести, как вы можете все это выносить на протяжении стольких месяцев? Неужели вам так нравится пушечная пальба?

— Да, нравится. В грохоте орудий есть своя правда. Как бы это объяснить вам? Война отнимает у мира все тайны. Она разрушает стены, дома; она добирается до самых потайных уголков и выволакивает на вольный воздух все, что замуро-

вано в железо и камень. Мне ясно, что война не только разрушительница. Что под ударами пушек из пепла сожженных городов рождается новый мир.

— Но ведь раньше всего нужна победа; мечтать будем после, — говорит сонно Яблоновский. — Иначе чорт знает что получится. Вспомни Пушкина: «Не дай нам бог русский бунт, бессмысленный и жестокий».

— Когда бунтовщик вооружен дальнобойной пушкой, то он превращается в революционера. Хотите видеть, как это делается, поезжайте со мною на фронт.

— Спасибо. Итти на каторгу вы меня не уломаете. Покойной ночи.

Решено: Яблоновский возвращается в Киев, а я в бригаду. До Холма едем сегодня вечером вместе. В Холме получу машину из автомобильных мастерских, которая и доставит меня на фронт. Базунов еще остается на месяц в Люблине.

Бродим по городу. У земских складов длинные очереди пострадавших: старики, старушки в боа, подростки в шляпках. Но ни одной крестьянки и ни одной еврейской физиономии. Спрашиваю, кому выдают? Отвечают: только полякам, городским жителям.

Идем в Саксонский сад. При входе — доска с выразительной надписью:

«Разрешается входить всем без различия национальностей лицам чисто одетым».

Входим. На скамейке знакомый капитан.

Человек он прекрасный. Это один из немногих офицеров, которые всячески щадят население и по возможности стараются обойтись без реквизиций.

— Вы ранены? — спрашиваю его. — Как вы сюда попали?

Капитан горько улыбается:

— Прислан с фронта отсидеть пятнадцать суток на гауптвахте.

— За что?

— За реквизицию в Галиции. . . Дело вышло на фольварке. Лошади вторые сутки без корма. Кругом ни души. А на фольварке закрома ломятся от овса. Стал просить: продайте. Вышла молодая паненка, повертела хвостом и объявила: «не хочу». Я — умолять, уговаривать — не действует. Спрашиваю твердым голосом:

« — Это ваше последнее слово?

« — Да, — говорит. И смеется.

« — Тогда я вынужден буду взять силой.

« — Посмотрим!

«Ну, приказал я солдатам: сами берите. Только это начали они замки сбивать, откуда ни возьмись — подполковник русской службы. И давай ругать матерно:

« — Это разбой! Мародеры! Под суд!

« — Я не мародерствую, — говорю я ему, — я деньги предлагаю. — Выскочила паненка: «Это ложь!» И в слезы. Подполковник по-польски успокаивает ее. А дальше и выяснилось, что это его галицийская родня. Подполковник поехал в штаб, нажаловался, наврал на меня, и вот результаты: пятнадцать суток ареста. . .

Капитан безнадежно махнул рукой:

— Э, все равно. Сколько ни горевать, смерти не миновать. Надо кончать самоубийством.

———

В Холме очутился поздней ночью. На пути стоял санитарный поезд, отходящий в Минск. До утра забрался в одну из теплушек, переполненную ранеными пленными. Им отвели особый вагон, так как класть их с нашими ранеными невозможно. Положили как-то одного пленного офицера. Наши раненые сейчас же подняли крик: «это он мне руку, это он мне ногу искалечил». Да и пленные смотрят волком: всё боятся, что их отравят. И приходится сестрам при них же глотать лекарство, чтобы их успокоить. Зашел в теплушку с ранеными-военнопленными. Теснота до-отказу. Лежат на полу и

под койками. Большинство мадьяры и австрийцы. Много чехов. Некоторые совсем старики. Один седоусый чех, сверкая глазами, говорил:

— Против пруссаков мы бы не так сражались! Дайте нам лишь дорваться до них. Мы все братья-славяне. Мы должны объединиться, чтобы с лица земли стереть этих изменников-пруссаков. Мы помогли им раз победить, и в благодарность за это четыре года спустя они задавили нашу вольность. А Марию-Терезу мы тоже не забыли...

Неожиданно выяснилось, что поезд немедленно отходит, и надо выгружаться. На вокзале ни души. Ночевать негде. Обращаюсь к городовому на перроне:

— Нельзя ли добыть извозчика в 7-ю автомобильную роту?

Через десять минут городовой является:

— Есть.

Сажусь. Едем куда-то на окраину города и через минут сорок приезжаем неизвестно куда.

— Что за часть? — спрашиваю часового.

— Московские казармы.

— А где седьмая автомобильная рота?

— Не могу знать.

Толкаюсь туда-сюда. Везде один ответ: не знаем. Наконец кто-то указал. Спрашиваю у караульного: где шофер такого-то корпуса Крюгер? — Неизвестно. — А у кого справиться? — Не могу знать. — Стучу, бужу, добиваюсь. Никто не знает. Хочу узнать: где офицеры, где канцелярия, где штаб? Никому неизвестно. Требую: ведите к заведующему гаражем. Привели. Еле добудился. Мямлит сонным голосом: «А чорт его знает». — Кто же знает? — «Адъютант знает». — Ведите к адъютанту. — Прихожу — спит. Добудиться никакой возможности. Двери заложены на крюк, звонка нет, а спят где-то далеко в глубине. Наконец появился писарь. Я к нему — не знает. Начинаем стучать вдвоем. Вышел делопро-

изводитель из соседнего корпуса — не знает. Стучим все трое. С трудом добудились. Ругаясь и отплевываясь, адъютант кое-как раскусил, в чем дело, и сказал, что Крюгер уехал в Львов, но это не нашего корпуса шофер. Наш не Крюгер, а Кригель. Завтра приедет за бензином, и тогда ему можно будет передать предписание штаба. А сейчас никому неизвестно, где он, так как он в седьмой роте не числится и только временно к ней прикомандирован.

Между тем рассвело. Выхожу к своему извозчику и поражаюсь его видом. Пара сытых коней. Экипаж солидный и прочный, без номера. На козлах мальчишка в казакине.

— Ты чей? — спрашиваю.

— Из имения.

— Из какого имения? Как ты сюда попал?

— Из имения послали, за генералом Войниловичем, к поезду. Я в ихней сестры имении служу. Отсюда пятнадцать верст.

— Чего жы ты порядился?

— Мне городовой приказал вас везти.

Бедный генерал Войнилович!

НОЯБРЬ.

1.

Трое в автомобиле: я, мой денщик Коновалов и шофер. Холодно, ветрено. Над полями сизый густой туман. Дорога ровная, гладкая. Мчимся с скоростью сорока верст. Пролетели мимо Горбова, Конской воли. Меньше чем через два часа мы в Новой Александрии и, не задерживаясь, летим дальше по радомскому шоссе. Проезжаю местами, где происходили октябрьские бои. Только нераспаханные поля и сожженные избы говорят о недавней бойне. А люди уже все успели забыть. На улице Новой Александрии и Званеня кипит суета. В Зва-

лене ярмарка. Площадь стонет от грохота телег. На возах поросята, кабаны, битая и живая птица. Люди орут торгуются, спорят. Сотни зипунов, кожухов и свиток сбиваются в кучу и расступаются, чтобы дать дорогу автомобилю; и потом вновь рассыпаются по площади.

К трем часам в Радоме. Грязные мощеные улицы. Двухэтажные каменные дома. Кое-где шикарные особняки. Много еврейских магазинов. Черные шпили старинного костела, с строгой музыкально-торжественной архитектурой. Певучие звуки еврейского жаргона мешаются с польской речью. Жители совершенно не жалуются на немцев, больше того — они их хвалят и рассказывают нам в поучение, что офицеры за все добросовестно платили, не насильничали и женщин не обижали. Познанские солдаты, знающие по-польски, проводили все время в магазинах, служа добровольными переводчиками и посредниками между населением и войском. Разграблены были только брошенные хозяевами дома. И еще подверглись разгрому все вокзальные здания: водокачки, пакгаузы и амбары.

В Радоме немцы пробыли 23 дня. Первыми отступили германцы. Отходили в полном порядке. Лишь в первый день отступления замечалась какая-то тревога. Сразу выступили из города все части: артиллерия, кавалерия и пехота. За ними беспорядочно двинулись вереницы автомобилей. Но уже на второй день не было ни малейшего замешательства. Некоторые части уходили даже с музыкой. Не похоже было на бегство и отступление австрийцев, сопровождавшееся ужасным грохотом, так как с двух часов ночи они начали взрывать железнодорожную станцию и вокзал.

В гостинице чисто, всю ночь горит электричество, но адски холодно: в городе ни куска угля. Топят торфом, но и тот на исходе.

За Радомом сразу попадаешь в царство старины и ветхой

истлевающей жизни. Странное впечатление производит крепкое, точно стальное, шоссе, которого не сумели испортить даже немцы. Сейчас оно в полной исправности и весело бежит от одного средневекового польского городка к другому: Ильжа, Кунов, Нетулиско, Островце, Опатов. Высоко на горе, еще задолго до въезда в Ильжу, виднеется серая круглая каменная башня старинного баронского замка.

К сожалению, в своем настоящем виде Ильжа мало похожа на поэтическую легенду, которой она окружена. Это очень прозаическое местечко, состоящее из грязных домиков, жалких и ветхих, которые в два ряда расположились вдоль длинной, узенькой улички. Но серая каменная башня невольно настраивает на фантастический лад. Вблизи она еще величавее. Угрюмая и неприступная, она высится, как каменная баллада, и в ее мертвых развалинах таится какая-то волнующая тайна. Неудивительно, что вокруг этой башни наслоилось много таинственных рассказов.

Пока шофер возился с лопнувшей камерой, старый ксендз успел рассказать мне некоторые из этих преданий.

Этот старый ксендз, эта причудливая башня и эти ветхие оборваные евреи на улицах Ильжи — все показалось мне так мало похожим на современность, что я невольно воскликнул:

— У вас, достопочтенный каноник, наверно имеется напиток из корня мандрагоры, который сильнее камня, смерти и тайны? . .

Ксендз хитро подмигнул мне и сказал:

— Не, я сам не держу. Но у жидов найдется, у жидов все есть.

Опатов еще фантастичнее Ильжи. При въезде в город древний костел, у таких же дряхлых городских ворот. Костел этот связан в преданиях с именем пана Твардовского. Внутри городка чрезвычайно ветхие домики с заплатанными крышами, гнилыми крылечками и подслеповатыми оконцами. На

заборах кучи тряпья. И люди, населяющие этот нищенский городок, такие же дряхлые и убогие, как их дома. Весь городок с пятитысячным нищим населением напоминает декорацию из ветхого театрального реквизита. Запуганные евреи тревожно услужливы. Стоит вам обратиться к одному из них с вопросом, как десятки других наперебой стараются ответить, бегут за автомобилем, показывают дорогу.

Зато Кунов и Нетулиско сразу низводят с романтических небес на бедную землю, побывавшую в руках немецких завоевателей. Кунов — небольшое местечко, почти деревня. Сижу в корчме, пью чай и беседую с хозяйкой — белобрысой и краснощекой полькой. С большим раздражением рассказывает о немецком постое: простояли тут пять недель, сожрали на сто пятьдесят рублей сала — и всё даром, ни гроша не заплатили. А сколько добра попортили! Было их тут шестнадцать тысяч. Две недели германцы стояли, а три недели австрийцы. Артиллерия, пехота и обозы. Обращались с жителями как с быдлом (скотом). И всё забирали: лошадей, коров, птицу, хлеб, сало, перины, одеяла. Чуть что — приставляли револьвер к голове и грозили убить. В корчме поместился штабс-капитан. Поминутно кричал во все горло: давай хлеба, давай гуся, давай масла, давай кофе! Не дашь — застрелю. Когда отступали, обмотали колеса у пушечных лафетов тряпками, подушками, одеялами. Лошадям морды перетянули, чтобы не ржали. В пушку по десяти выносов впрягали и потихоньку глубокой ночью выбрались на шоссе. В Нетулиско (в двух верстах от Кунова) большой чугунно-литейный завод, закрытый после забастовки в 1906 году. В нем были австрийские казармы. Уходя, австрийцы увезли оттуда припасы на 150 самоходах (автомобилях). Были также «соколы» в четвероугих шапках с польскими орлами на гербах. Большинство подростки 16—18 лет. Начальнику лет под тридцать. Пели польские песни. Хотели забрать в свое «червонное войско» и местных парней. Мы — говорили они — добро-

вольцы. Идем по своей охоте. Польшу спасаем. У нас денег много. «Соколы» не обижали. Только в Кунове двух жидов забили. Хвалились: заберем скоро Варшаву. Они молодые и глупые. Три дня шли через Кунов и Нетулиско «соколы».

— А русские стояли в Кунове?

— Раньше стояли. Когда пришло русское войско его все кормили. Отдавали последнее. Русские солдаты не обижали. Только казаки. Да и те брали без денег у евреев; а у поляков мало брали.

— Немцы женщин не обижали?

— Не, женщин не трогали, — тех, что с мужьями. А без мужей — крепко обижали.

От Опатова до большого села Кобыляны и дальше мимо Иваниско, Батории и Сташова тянутся колоссальные окопы и фундаментальные земляные укрепления. Но боя здесь не было. Немцы отошли, даже не пробуя защищаться.

Вечером приехали в Сташов, уездный городок Келецкой губернии, расположенный на холмах. В городе еще не зажигали огней. Жители толпились у лавок и крестьянских возов.

Я обратился к ним с просьбой указать мне гостиницу. Мигом дюжина бородатых евреев заспорила между собою, где мне будет удобней. И в конце концов порешили, что нет лучше места, как у Хаима Бельцера, где все господа останавливались. На поверку, однако, квартира Хаима Бельцера оказалась грязным и вонючим клоповником, откуда пришлось бежать без оглядки. Долго кружил я по Сташову. Наконец, подъезжаю к магистру и спрашиваю:

— Нельзя ли у вас переночевать?

— Можно, только у нас очень холодно.

— А протопить?

— Дров нет.

— А достать?

— Негде.

— А все-таки? . .

В нашем дорогом отечестве автомобиль обладает магической силой убеждения. Всякая просьба в устах военного человека у нас равносильна приказанию. Но когда военный сидит в автомобиле, то каждое его слово заряжает мирного обывателя энергией автомобильного двигателя. По первому зову обыватель кидается навстречу автомобилю и повинуется всякой прихоти его хозяев. Через пять минут автомобиль наш стоял во дворе магистрата, а мы сидели перед камином, в котором весело потрескивали пылающие дрова. Прямо перед окнами магистрата высилось одноэтажное здание с небольшим решетчатым окошечком и лаконической надписью на дверях: «Сташевский детенционный арест».

Вся арестантская была завалена съестными припасами и вещами, которых немцы не успели захватить с собой при отходе. Сташевские летописи сохранили много рассказов о грабительской прожорливости германцев, которые, бросив стыд и щепетильность, предавались ежедневным набегам на обывательские сундуки и комоды. При этом каждый руководился своим собственным вкусом и темпераментом. Романтики уносили часы, зеркала, этажерки; Дон Жуаны брали дамские шляпки, ротонды, сорочки и драгоценные украшения. Скромные мечтатели, воодушевленные, быть может, идиллическими образами Германа и Доротеи, довольствовались перинами, подушками и одеялами. Более черствые души ограничивались кухонной утварью. А будничные прозаики нагружались съестными припасами и везли на родину скот, лошадей и птицу.

Великолепно спится в польском магистрате уездного города Сташова. Проснулся я в десятом часу и пока торопливо укладываюсь и глотаю горячий чай, беседую с евреем, заглянувшим «до пана казначея». Спрашиваю:

— С кем лучше — с казаками или с австрийцами?

— Э! Люди як люди. Голодные «злапàли хлеб и утѐкли»;

молодые «злапàли» девок. Австрийцы як казаки, казаки як австрийцы. На то война.

Допрашиваю дальше:

— Казаки обижали евреев?

— Не дуже. Шукают гроши. Давай гроши. Ну, я просил их, нагодувал (накормил) и вони пошли соби.

— А женщин обижали?

Мой собеседник долго молчит. И потом произносит с болью:

— Було, пàни. Ой, було! Ночью ходят, пытают, где цурки (дочери) есть...

Слушаю это отрывочное повествование и вспоминаю рассказ одного трезвого созерцателя — офицера. Где-то, во время боев под Львовом, вошел офицер в халупу и потребовал сена. Хозяйка тупо взглянула и молчит. Он громче. — Молчит. Тогда, осерчав, он размахнулся нагайкой и крикнул: «Да ты что — оглохла?» Баба тяжело вздохнула и легла на постель.

В магистрат являются сташевские власти. Наскоро прощаюсь с ними, сажусь в автомобиль, и мы опять несемся по гладкому келецкому шоссе. Опять деревни, местечки и городки, больше похожие на сновидения и на тени далекой старины. Миновали Стопницу, Буск, мчимся по дороге к Пинчову. Издали глухо доносится орудийная пальба. Навстречу попадаются группы пленных и раненых.

— Как дела? — спрашиваю у раненых.

— Отступаем. Невозможно было итти. По двадцать шрапнелей одну за одной выбрасывает. Били германскими орудиями, а дрались австрийцы.

От Пинчова до Дзялошице — польские (проселочные) дороги. Автомобиль продвигается с трудом. Раненые попадаются все чаще. Двое судейских в военной форме сидят на краю дороги и машут платками.

— В чем дело?

— Довезите до штаба.

— А где штаб? В Скальмерже?

— Нет, перешел в Перкошицы.

Подобрали судейских и едем. Один, пожилой, желчный, мрачно размышляет вслух:

— Ютимся в жидовской хатке. Вещей не раскладываем. Ведь не знаем долго ли простоим. Все настороже. Нас ведь с левого фланга обошли. Пять дней шли бои. Теперь отступили. Кромский полк подвел. В плен сдался почти целиком. Только один батальон уцелел.

В Перкошицах никого не нашли: штаб перешел в Лопаты. Приехали туда — штаб собирается уходить.

В штабе тревожно. Обширный двор экономии, в которой разместился штаб, весь усыпан навозом. По двору шатаются казаки, шоферы, караульные. Стоят двуколки, экипажи, автомобили, лошади. Ищу адъютанта, дежурного офицера, телефониста, перехожу от группы к группе, спрашиваю: как добраться до головного парка? Никто не знает. Справьтесь у командира телефонной роты, — советует кто-то. Телефонная рота помещается в дымной халупе. Стучат аппараты, несколько человек разговаривают со штабом дивизии, передают приказания полкам и в бригаду. Двое спят у самых дверей. В халупу все время заходят бабы, и, не обращая на них внимания, телефонист передает секретные распоряжения: ударить в такое место под прямым углом; дожидаться смычки с 21-м корпусом и т. д. Однако, вид у всех чрезвычайно конспиративный, и только с большим трудом мне удается узнать, что головной парк находится в Грушове.

— Далеко это?

— Верстах в пятнадцати.

На дворе ночь. Штаб занят своим делом. Какое ему дело до того, куда я денусь и как доберусь до парка. Какой-то штабс-капитан бросает мне на ходу:

— Обратитесь к жиду: у него в сарае есть лошади.

Долго уговариваю хозяина: нашлась, наконец, свободная запряжка, и мы выезжаем на дорогу, освещенную заревом далекого пожара.

2.

Как и следовало ожидать, в Грушове парка не оказалось. Головной парк стоит в Скальмерже. В Грушове я застал дивизионный лазарет в полном составе. Там я узнал, что шестые сутки на нашем участке идет отчаянный бой. Сейчас обнаружилось, что нас обходят с левого фланга. 83-я дивизия отступила и обнажила нашу дивизию. Кромский полк оказался окруженным и был частью перебит, частью сдался. Остальные части нашей дивизии сильно пострадали. Раненых без конца. За последние шесть дней через дивизионный лазарет прошло 1 200 человек. Но это капля в море. Перевязать всех нет никакой возможности. Врачи падают от усталости.

— Мы изнервничались, измучились, — горячится доктор Шебуев. — А отчего? Оттого, что все дело в корне поставлено неправильно. Еще Пирогов учил: война — это травматическая эпидемия, и, как в борьбе со всякой эпидемией, здесь первое дело — организация! Надо прежде всего распылить, разредить скопления раненых. Значит, необходимо привлечь к работе как можно больше народу. В такие решительные минуты, как сейчас, все врачи поголовно обязаны работать. А для этого необходимо искоренить узкий сепаратизм, царящий в нашем ведомстве. У нас врача спрашивают: ты какой дивизии? Иди в свой лазарет. И получается так, что одна дивизия завалена ранеными, ее госпитали не в силах управиться и с половиной работы, тогда как соседние лазареты и госпитали ничего не делают. Ведь это, согласитесь, абсурд! Конечно, человеколюбие приказывает мне мчаться туда, где нужны мои руки и моя хирургическая помощь. И, памятуя врачебную присягу, я, быть может, и склонен это сделать, но ведь там никто меня не накормит, и денег мне там не заплатят, потому что платить мне в праве только моя часть.

«Врачебная организация на войне должна отличаться необычайной подвижностью. И больше, чем где бы то ни было, здесь следует бояться застывших шаблонов и формалистики. Следует мобилизовать врачей моментально. В свободное от боев время они должны натаскивать санитаров и фельдшеров и приучать их к асептике.

«Такие помощники на войне — залог успешной работы. Врач, работая до изнеможения, по двадцать четыре часа в сутки, больше пятидесяти человек не перевяжет, что же делать с остальными, куда их девать? . . А ведь вся-то врачебная помощь сводится к простой перевязке. Операции ведь делать не станешь, когда знаешь, что каждую минуту лазарет может сняться, а у тебя не один и не два, а сотни раненых на руках. Подготовка к одной ампутации занимает не менее получаса. Да еще понадобится участие в операции всего медицинского персонала. А что прикажете делать той веренице раненых, которая ждет? Немедленно образуется пробка! И это в то время, когда с минуты на минуту ждешь приказания: возможно скорее убрать лазареты и обозы!

«А ведь важно не только перевязать, но и накормить раненых. Должны быть выработаны раз навсегда строго организованные методы борьбы с «травматической эпидемией» на полях сражений».

— Вы забыли еще одну эпидемию, — говорит д-р Железняк, — эпидемию шпиономании, которой охвачены офицеры и солдаты. Вчера опять «поймали шпиона». Прибежали солдаты, возбужденные, радостные: «Нашли!» — Кого нашли?— «Да шпеона, вот, пымали! Полезли к пану в погреб картошку искать. А он что-то соломой накрыл. Глянули: телефон». . .— Конечно, все это выдумки.

— А в чем дело? — спрашиваю я. — Откуда эта подозрительность?

— Снарядов нет. Артиллерия не может работать.

С утра дали знать по телефону в Скальмерже о моем приезде. Меня сразу охватила позиционная атмосфера. Трещат пулеметы. Хлопают орудия. Пачками рассыпаются ружейные залпы. Позиции совсем близко. В Грушов заехали за мной солдаты головного эшелона головного парка. Второй день они не у дел: снаряды все вышли. В местном парке [1] в Стопнице — снарядов нет. Послали эшелон в Мехов — и там нет. Говорят, завтра из Пинчова привезут. Нехватает ни снарядов, ни патронов. С батарей все время присылают с запросом:

— Можно ли открыть непрерывный огонь?

А снарядов нет. Два дня тому назад, за два часа расхватали весь парк. И солдаты злобствуют.

— Не на кулачки же драться.

В Скальмерже среди офицеров настроение не лучше. Все повторяют:

— Есть и люди, и мужество, а снарядов нет.

С негодованием рассказывают такой случай. Вчера наши эшелоны метались по всем направлениям в поисках ружейных патронов. По дороге встретился им местный парк, переезжавший из Стопницы в Мехов. Стали просить у них снарядов. Ответ:

— Не дадим!

— Да выручите, — просят солдаты. — Совсем нехватает, придется из-за этого отступать.

А им преспокойно: «Никак нельзя. Не дадим. В дороге мы не парки, а транспорты».

Это напоминает классический ответ лазарета одного из госпиталей под Шахэ. Шли толпы раненых. Навстречу им лазарет. Просят: возьмите нас, — кровью истекаем. А им в от-

---

[1] Местными парками называются базисные склады, откуда получают питание парковые бригады, доставляющие снаряды на батареи и в полки. Обыкновенно местные парки устраиваются в районе ближайшей железнодорожной станции, в товарных вагонах.

вет: «Невозможно. В пути мы не госпиталь, а транспорт. Возим шатры, а не больных».

3.

Проснулся от непривычного грохота, казалось, кто-то огромной дубиной колотит по железному барабану, и от этого бешеного грохота содрогаются окна, дома, телефонные столбы и все предметы. Это бухали тяжелые австрийские пушки вперемежку с беглым огнем полевых орудий. В комнате стоял шум людских голосов. Ругались, кричали и требовали снарядов. Некоторые солдаты чужих (не нашей) дивизии кланялись в пояс и жалобно просили:

— Много их; без конца. Бьют из тяжелых орудий по окопам. А у нас всего одна цепь. Не выдержим, отступим, если артиллерия не поддержит. Христа ради, снарядов, хоть малость...

Потом в помещение вихрем врывается офицер в романовском полушубке:

— Здесь парк такой-то дивизии? Где командир бригады Базунов?

— Зачем вам? Он в Люблине.

— У вас много снарядов. Мне начальник нашей дивизии поручил узнать, почему не отпускаете?

Ему объясняют положение вещей.

Он ругается, неистовствует, угрожает судом и всякими карами.

Прапорщики Растаковский и Болконский, отправленные за снарядами, не давали о себе никаких сведений; и на запросы батарейных командиров, когда ожидаются снаряды, приходилось отвечать чрезвычайно уклончиво, что приводило их, конечно, в негодование. В то же время вследствие непрерывного движения создалась крайне тяжелая обстановка для парков. Люди не обедали по два дня. Лошади также оставались

без корма, нечищенные и почти не разамуничивались ни днем ни ночью.

Полупарк, находившийся в Климантове, подвергся жестокому обстрелу.

После обеда прибыл прапорщик Растаковский с эшелоном из Мехова. В течение нескольких минут все привезенные гранаты и винтовочные патроны были разобраны. Неприятельские орудия не затихают ни на минуту. Офицеры режутся в карты. Время от времени из полков присылают за патронами, и мне приходится давать пространные пояснения. Все роли давно перепутались: доктора дают стратегические советы, отпускают снаряды и патроны, если есть, а офицеры вмешиваются в медицинское дело, прописывают лекарства и дают врачебные наставления. Все это считается в порядке вещей и не только нами, но и солдатами принимается, как нечто совершенно законное.

Игра в карты продолжается до рассвета, и всю ночь не смолкает австрийская канонада. Из-за темных гор, сотрясая морозный воздух, удар за ударом доносятся пушечные раскаты. Бьют из тяжелых орудий и мортир. Полевые пушки молчат. Через каждые полчаса стучатся солдаты за патронами. Но патронов нет. Солдаты со злобой спрашивают:

— Неужто с голыми кулаками драться?

И глухо ворчат о каком-то генерале, продавшемся немцам и задерживающем доставку снарядов.

Просыпаюсь, засыпаю и вновь просыпаюсь. Идет жаркая игра в карты. Лица нервные, напряженные. Перед каждым кипа бумажек. Выкрикивают крупные ставки 200, 300, 500 рублей.

В выигрыше заночевавший у нас артиллерийский капитан из Чернигова. Джапаридзе первый встает из-за стола и, вытянувшись во весь свой гигантский рост, ударяет энергично кулаком по столу:

— Баста, с сегодняшнего дня я больше в азартные игры не играю.

Командир 2-го парка Пятницкий меланхолически замечает:

— У меня такое настроение еще вчера было.

— Теперь и умереть не страшно, — восклицает Костров. — До нитки очистился. Яко наг, яко благ.

— На войне умереть никогда не страшно, — говорит, позевывая, Джапаридзе. — Мне кажется, на войне о смерти не думают. Некогда: или воюют, или в карты играют. Сплошной азарт. Мысли о смерти, это — принадлежность мирного времени.

Согласно диспозиции, нашим паркам приказано разбиться на полупарки и эшелоны. Создалось чрезвычайно странное положение. Полученные в ничтожном количестве снаряды были израсходованы с молниеносной быстротой. Требования из полков совершенно не удовлетворялись. От командиров 1-й и 3-й батареи беспрерывно получались запросы: можно ли открывать огонь и не будет ли недостатка в снарядах? Не добившись ответа и забрасываемые неприятельским огнем, обе батареи, повидимому, решили отодвинуться. И действительно, видно было простым глазом, как батареи меняют позиции и все ближе и ближе придвигаются к Шклянам. Вскоре головной эшелон уже стоял на одной линии с батареями, и неприятельские снаряды стали ложиться невдалеке от зарядных ящиков.

Между тем от прапорщика Болконского получилось новое донесение.

В Пинчове столпотворение вавилонское. Съехались 4 парка почти в полном составе:

2-й парк нашей бригады,
1-й „ 83-й бригады,
2-й „ 83-й бригады,
1-й „ 46-й бригады.

Снаряды доставляются автомобилями из Кельц в очень ограничен-

ном количестве. Все парки набрасываются на них, как голодные волки. Приходится брать патроны с бою.

Сейчас послано 17 патронных двуколок и 10 зарядных ящиков. Остальные надеюсь добыть завтра, хотя большой уверенности в этом нет.

Все, что получу, немедленно отправлю.

Прапорщик *Болконский.*

Из Мехова от прапорщика Растаковского получались сведения, еще более печальные. Там в ожидании очереди скопилось 14 парков.

Слухи о полученных нами семнадцати патронных двуколках и десяти снарядных ящиках мигом распространились. Примчались из всех соседних дивизий. Солдат 46-й бригады со слезами на глазах упрашивал:

— Коленопреклонно молю вас, господа начальство! Хоть один ящик шрапнели.

Пришлось тронуть неприкосновенный запас. . .

В это время между командиром нашего корпуса и командиром дивизии шла оживленная телеграфная полемика. Командир дивизии доносил:

Согласно В. приказанию остался на месте. Кромского полка не существует. Весь почти погиб в штыковом бою. Прошу в т о р и ч н о разрешения отступить. 83-я дивизия обнажила левый фланг моей и без того ослабевшей дивизии.

В ответ на это последовала следующая лаконическая телеграмма:

Никакого обнажения дивизии нет. Приказываю собрать полки и перейти в наступление.

Одновременно по всему корпусу был разослан следующий боевой приказ:

Приказ № 712. 8 часов утра.

Дерзкий враг решил сегодня напрячь все усилия, чтобы сломить наше мужественное упорство и смять левый фланг нашей армии. С божьей помощью я верю, что мы исполним свой долг до конца.

Да здравствует наш царь, родина и армия!

С богом на врага.

Генерал-лейтенант *Р.*

Приказ читается вслух и сопровождается офицерскими комментариями.

— С богом, — сквозь зубы произносит Джапаридзе, — но без снарядов.

— Да-а, усмехается адъютант Медлявский. — Теперь на запросы батарейных командиров, можно ли открыть непрерывный огонь, будем отписываться: попробуйте, только не шрапнелью, а «божьей помощью».

— Ой, елки зеленые! — громко хохочет Костров. — А хорошо бы зарядить пушку... кой-кем... Хор-рошо!

4.

Какое удивительное утро! Седьмой час. Солнце чуть зарделось, как вспыхнувшая граната. В прекрасной торжественной чистоте стоят холмы, покрытые морозной пылью. Вдали, за холмами, лежит еще утренняя тьма, в которой задорно и весело перекликаются мортиры. Странно сказать, но эта музыка услаждает ухо.

Не надо обладать ни талантом, ни красотой изложения, надо только с полной правдивостью рассказывать все, что сейчас совершается кругом, — и для каждого станет ясно, что это не просто бой, а какой-то сатанинский поединок, не нами начатый и в который мы втянуты помимо собственной воли.

Слепое буханье пушек победоносно и радостно перекатывается из долины в долину. Голова теряет власть над чутко настороженным телом, которое жадно прислушивается к свирепой музыке батарей. Я чувствую, как с канонадой и трескотней пулеметов на меня накатывает волна какой-то боевой хлыстовщины. Мне хочется гаркнуть, чтобы грозно прокатилось по всем холмам:

— Сибирь идет, етитная сила, держись!..

Так кричали сибирские стрелки, пришедшие на защиту Варшавы и прямо из вагонов бросавшиеся в бой.

— Шевелись! — лихо покрикивает фельдфебель. И весь

захмелевший от собственного крика порывисто повторяет в каком-то буйном азарте:

— Эх! — Хорошо бы теперь выкатить на позицию и скомандовать: Первое! Второе! Лупи! На, получай, мерзавец!..

Канонада все крепнет; захлебываясь, трещат пулеметы. Ружейные залпы рассыпаются лихорадочной дробью.

— Снарядов! — орет взбудораженным голосом батарейный. — Чего копаешься? Ползешь, как мокрая вошь...

— А много «яво» набили? — любопытствует кто-то из солдат.

— Как клопов, — солидно отвечает батарейный. И тут же, загораясь, выкрикивает:

— Окоптил души чортов Вильгельм! Да дай ты мне его, сволочь смердящую, сюда, я бы ему голыми руками семь смертей сделал!

Без конца тянутся раненые и пленные. Выглянул в окно за обедом: вся улица запружена австрийскими шинелями. Лица измученные, синие, как шинели. На плечах белые одеяла. Ежатся и подрыгивают от холода. Все столпились вокруг нашего обоза: везет на позицию сухари. На глазах у всех происходит откровенная мена. Наши солдаты прикладываются к австрийским манеркам, а австрийцы жадно грызут наши сухари. Выхожу на крылечко. Маленький бородатый солдат заявляет с наивным изумлением:

— В каждой жестянке водка!

— А ты почему знаешь? — спрашивает Джапаридзе.

— Ну вот. Сами отведать дают. Я и отведал.

В стороне стоят пять офицеров; один, молодой, в темно-синей корткой шубке, отороченной черным барашком, что-то говорит по-венгерски, и пленные весело идут дальше.

Вереницы раненых с землистыми лицами и окровавленными жгутами на руках и ногах сеют тревогу своими рассказами. По их словам, положение безнадежное. Окопы завалены трупами, масса убитых офицеров: убит командир Лохвицкого

полка Фотиев, убит штабс-капитан Переяславского полка Баташов, прапорщик 4-й батареи Филонов. А снарядов все нет, и батареи все время вынуждены задерживать и ослаблять огонь.

Среди пленных оказались тяжело раненые. Их вместе с нашими ранеными поместили в заброшенной хате и оставили на произвол судьбы. К утру половина из них скончалась. Меня поражает равнодушие солдат перед трупами, и я не знаю, результат ли это фатализма или военной обезличенности? На наших глазах подъезжали телеги с трупами. Трупы сваливались в разрушенной избе, — без окон, без крыши. И никто даже не полюбопытствовал заглянуть, кого привезли. К трупам относятся так же, как и к письмам, которые валяются в окопах. Иной раз подберет кто-нибудь такое письмо, прочитает несколько строчек, скажет небрежно: от жены, от брата, от матери — и снова бросит на землю. Это не столько эгоистическое равнодушие к чужому горю, сколько желание отгородиться от слез. Страховка собственных нервов. Кругом трупы, трупы и трупы. Развороченные внутренности, запекшаяся кровь, раздробленные черепа. А живые солдаты проходят мимо, словно не замечая ни крови, ни мертвых. Они улыбаются, смеются, поют и между трупами выгребают картошку. В их шутках — намеренная бравада.

Из жажды жизни рождается боевой фатализм. Из боевого фатализма вырастает равнодушие к чужой смерти: так суждено, так полагается на войне!.. Это закон природы. Вот отрывок интересного офицерского письма, подобранного в окопе:

Только-что вернулись с позиции и уже второй день отдыхаем. Девятнадцать дней мы были в бою. Жаркий и непрерывный бой днем и ночью, днем и ночью... Сколько жизней угасло! Но не нами предначертан закон, потому что война — закон природы. Иначе представить себе нельзя. Прохожу мимо убитых — и хоть бы что. Вид их не трогает меня, как будто так и должно быть. Они уж мне не кажутся людьми. Т.-е., понимаете, совсем не такими людьми, как я, вы... Они жертвы рока. И этих обычных при взгляде на мертвых вопросов они уже не пробуждают во мне. Или у меня уж такой характер? Но ведь раньше, бывало, проходишь мимо трупа — и зажимаешь нос, гримас-

ничаешь или приходишь в ужас, а здесь, на позициях, совсем не то: как-то по-особому черствеет душа, и мертвых просто не замечаешь...

Страшная обезличенность воюющих еще резче подчеркивается борьбою с невидимым врагом. Сражаются не люди, сражаются механические орудия. День и ночь, день и ночь извергают они с бешеным грохотом потоки свинцовой лавы. На сотни верст простирается власть грохочущих чудовищ. Дикий вой пушек, трескотня пулеметов и свист пуль сливаются в единую огненную песнь. Не пехота, не кавалерия, не армии решают судьбу сражений, а пушки, мортиры и пулеметы, устилая трупами землю, разворачивая окопы и окрашивая кровью Вислу и Сан. Люди, миллионы людей, стоящих друг против друга, — только беспомощные пешки в этой дьявольской игре. Как гигантские глыбы, сталкиваются враждебные армии, и в этом стихийном столкновении нет места ни воодушевлению, ни личной отваге. Солдат стреляет, убивает и умирает, не видя в лицо своего врага. Так проходят дни, недели и месяцы. Измученный бессильным ожиданием смерти, солдат начинает смотреть на себя как на игрушку в руках жестокой судьбы. И бойню, устроенную людьми, он принимает за глубокое таинство. Рычание мертвых механизмов и раскаленные ядра — за трагическое веление свыше.

На этой почве и вырастают всевозможные легенды и страхи, которые обыкновенно приносят раненые с полей сражения. Помню, после боев на Висле, услыхал я солдатскую легенду о белом всаднике, который в ночь перед боем заговаривал наши окопы. «Емки слова его и забористы, — рассказывал с воодушевлением старый солдат, — крепче щита булатного, жестче железа каленого, и ножа вострого, и когтей орлиных...» Это он послал нам победу на Висле. Он знает, кому суждено умереть в бою. Когда он объезжает окопы в ночь перед боем, тот, перед кем остановится его белый конь, останется цел. Есть солдаты, которые встречались с ним лицом к лицу: те в бою никогда не будут убиты.

Сегодня услыхал я от раненых новую сказку. К сожалению, начало сказки затерялось в грохоте ураганного огня. Передаю ее в том отрывочном виде, как она дошла до меня:

... Вошел странник в избу, в пояс хозяйке поклонился и скинул котомку с плеч.

А хозяйка тем часом и ужин сготовила. Хрестьянский ужин известно какой: покрошила луку в миску, налила квасу, хлеба коровай урезала — вот и весь ужин.

Ужинает странник и на хозяйку поглядывает. Ласково, этта, посмеивается.

— Ну, касатка, говори теперь про горе свое.

И стало на душе у хозяйки светло от слов ласковых. Поверила страннику и рассказала всю правду.

Послушал, покачал головой странник, да и говорит:

— Не печалься, голубка, помогу я горю твому. Не убьют твоего Федора на войне. Вот, на, бери корешок такой, одолим-трава называется. Навяжи ты его на гайтан Федору. Навяжи, не бойся. Освящен корешок с давних-стародавних времен и имеет он силу врагов одоления... Кругом пули дзынкают, бьют людей, как капусту режут. А с таким человеком ничего не сделается. Никакой ему враг не страшен. И пока «одолим» на нем, — всех он врагов своих одолит...

И вот, поди ж ты, чудное дело! Вышло так, как странник сказал. Всех кругом как градом побило. А Федора пуля не берет...

5.

Временами я смотрю на себя как на участника какого-то феерического маскарада: меня нарядили в форму военного врача и заставляют присутствовать при самых необычайных зрелищах. События мелькают передо мною с такой молниеносной быстротой и в таких потрясающих картинах, что я почти забываю, кто я. Иногда я чувствую странную приподнятость и воинственность, вся земля из конца в конец наполнилась рычанием пушек и жужжанием шрапнелей.

Но бывают дни, когда каждый выстрел больно ударяет по нервам. И хочется очнуться, хочется сорвать с себя погоны и шашку и втоптать их в грязь. Вот стоит солдат с перебитой рукой и тупо, как грязная свинья, трется боком о дышло: раненая рука не дает ему возможности расправиться с назойливой вошью. Вот куча солдат у костра выжигает вшей из рубах и тут же, над котлами с картошкой, вытряхивают полуобгорелых паразитов. Может быть, следует сердиться на солдат за их отвратительную нечистоплотность? Может быть, еще более отвратительно то, что за братскими могилами, за буграми, где почивают в терновых венцах вчерашние герои и мученики, их боевые товарищи сегодня устроили отхожее место? Может быть, матерная брань под грохот мортир и пушек носит особенно кощунственный характер? Но когда молодые и сильные тела, как падаль, сваливаются в ямы, когда жирное воронье справляет радостный пир, а миллионы людей — обездоленные, голодные и неоплаканные — умирают в грязных и холодных окопах, когда прекрасные, крепкие тела покрываются струпьями и гноем, когда собственными глазами видишь, что на смену XX веку быстро надвигаются XV, XIII, XI века, не веришь ни слуху, ни зрению и ко всему относишься с полным безразличием.

Какое мне дело до всех разговоров об изменниках и шпионах? Два раненых офицера состязаются в злобных измышлениях:

— У вас где имение? — спрашивает один. — В Орловской?

— Телегиных знаете? Межа с межой рубим.

— Знаю, знаю. Не люблю Орла: рвань город.

— Что вы? 80 000 жителей.

— Рвань! Чего хорошего! Маленькая Москва. Москва — рвань, а Орел — рвань рванью. Получше Тулы. Но Тула совсем сволочь! Там все беглые дезертиры прячутся. «Рябые» — знаете? Теперь там, куда ни плюнь, — жид сидит.

— А мы одного на днях с поличным накрыли, — оживляется второй. — Долго мы понять не могли, почему это, едва орудия установят, сейчас по нашим батареям палить начинают. И что же? Нашли телефон у жида в сарае.

— И чего с ними церемонятся — не понимаю, — возмущается противник Орла. — Ведь в каждом аптекарском магазине вы найдете жида-шпиона.

— Да, да, — захлебываясь от радостного волнения, говорит орловский помещик. — У нас в другом месте поймали тоже солдаты жида-шпиона. Сидел в картофельной яме и по телефону все немцам передавал. Повели его к командиру; но по дороге не выдержали: прикололи мерзавца.

— И среди панов тоже довольно этого добра, — говорит первый. — Пошли наши козули (казаки) по картошку, а в погребе пан сидит, что-то соломой прикрывает. Глядь — аппарат. Ну, конечно, тесаком по башке долбанули — и крышка!

— Мне один разведчик передавал, что в синагогах жидовских телефоны прячут.

— А как же! Они еще не то делают. Пошли наши ночью в атаку, а нам издали по-русски кричат: «не стреляйте, это сибирский полк». Ну, конечно, мы стрелять перестали. А те подошли и половину наших перебили. И что же оказалось? Взяли немцы в плен двух еврейчиков из студентов, которые нарочно кричали.

Этими злыми юдофобскими небылицами пестрят все разговоры в госпиталях, лазаретах, на биваках, в окопах, на батареях и в штабах. Кто-то усердно сеет эту отравленную ложь и ловко вплетает ее в наш боевой обиход. Возмущаться? Опровергать? Все равно истоки этой отравы не здесь.

Давно стоят крепкие морозы, а наши солдаты раздеты и разуты. Я раза два заговаривал об этом с Джапаридзе. Сегодня он с первобытной откровенностью объяснил мне:

— Придется солдатам мерзнуть. В пехоте другое дело: там с мертвых можно снять — с кого сапоги, с кого полушубок. А у нас на это рассчитывать нельзя. Придется всю зиму мерзнуть. А впрочем, знаете что? Поезжайте в Люблин к Базунову и доложите ему об этом.

Вечером после беседы с адъютантом Медлявским решено было привести в исполнение план Джапаридзе: я еду с донесением о бедственном положении бригады.

6.

... И вот я опять в тылу, в Люблине.

Предо мною снова люди, ведущие счет неделям и дням и мечтающие о любви, о театрах, о жалованье. Снова улицы с экипажами, дамскими шляпками и вывесками нотариусов, парикмахеров, портных, адвокатов и акушерок. Вижу красиво освещенные рестораны, кокоток, похожих на раскрашенные манекены, трогательно-веселые лица детей.

Но я знаю, что все это — сплошной маскарад, пестрая кукольная комедия, фальшивая яркость которой померкнет от первого соприкосновения с нами — с теми, которые не считают ни дней, ни недель, ни жизней. Ибо нас ведет смерть.

Базунов молчит и как будто что-то обдумывает. Ему не особенно нравится донесение Джапаридзе. Он не любит указаний со стороны, но в нем достаточно такта, чтобы не сердиться на такие вещи. Сегодня, на третий день после моего приезда в Люблин, он впервые вернулся к своему обычному ироническому тону:

— Пришла мне в голову одна игривая комбинация. Не хотите ли проехаться в Киев?

— Зачем?

— За полушубками для бригады.

— Но ведь у бригады нет денег.

— Но... имеетесь вы. У вас там теперь союз союзов, сво-

бода свобод... Одним словом, не удастся ли вам выклянчить для бригады... в разных ваших комитетах... теплых подарков к Рождеству? Что вы на это скажете?

— Это идея. Ручаться не могу, но попробую.

7.

Сижу в Киеве: добываю теплые вещи для солдат. Какая это мерзость — наш тыл. У всех тут такой парадный вид и такие юбилейно-торжественные лица, как будто на свете совсем не существует ни зловония, ни вшей, ни зубовного скрежета позиций. Лик и душу войны узнаешь на позициях, но истинные пружины ее раскрываются только здесь, в тылу. Тут сразу ясно: не война, а рынок. Рынок любви, орденов, наживы. И при этом пошлая мелочность. Искренней жалости ни в ком. Большинство втайне радуется безопасности и филантропически миндальничает с фронтом. Для многих это путь к ордену или дорога в передние чиновных особ. В неумении организовать снабжение армии обнаружилась вся бездарность и непрактичность наших крохотных демократов, тщетно порывающихся доказать свою гражданскую зрелость и общественную мудрость.

... Наконец-то мы едем. Везем полушубки, валенки, шарфы, руквицы, сало и окорока. На этот раз мне удалось добиться от редакции «Киевской мысли» более удачной кандидатуры: на фронт вместе со мною отправляется в качестве лица, сопровождающего посылаемые подарки, старый партийный работник, социал-демократ К. П. Василенко.

ДЕКАБРЬ.

1.

Все номера в люблинских гостиницах заняты Зебелиным — главным уполномоченным по снабжению армии — и

его многочисленным штабом. Частные квартиры также все переполнены. Поселились мы с Василенко у какой-то весьма сомнительной польки-пенсионерки, промышляющей, кажется, главным образом, сводничеством. С трудом уломали ее сдать нам тесную каморку за два рубля в сутки. Тут же офицерские углы — по рублю за кровать. Постояльцы — офицеры с позиций, приезжающие на день-два «для свидания с женой». В городе обычная суета. Только в поведении люблинских обывателей как будто больше уверенности и независимости: значит, мы отступаем.

Через три дня ветеринарно-питательный пункт свертывается, и мы с Базуновым отправляемся в бригаду. Вместе с нами едет и Василенко. Сегодня я весь день осматриваю команду, и меня поражает дикая, непонятная грубость командующих прапорщиков. У некоторых это принимает характер злобного издевательства. Особенно гнусно ведет себя прапорщик 46-й бригады Прусецкий. В его окриках чувствуется нескрываемая ненависть к солдатам.

— Только остается, что морды бить! — хлестко повторяет он на каждом шагу.

Физический осмотр команды производится в его присутствии. Один солдат заявляет:

— На мне третий месяц тельная рубашка не мѣняна, вся истлела и вшами проточена.

— Ну что ж? — свирепо отчеканивает Прусецкий. — Это уж дело твое. Добывай, как знаешь!

— Кабы я вольный, — говорит робко солдат, — а то где ж я добуду?

— Разве в Люблине мало жидовских магазинов? — усмехается прапорщик.

В ожидании очереди солдаты теснятся в передней.

— Чего лезете? — нагло орет Прусецкий. — В морду бить буду. Вот еще скоты неумытые!

Прислуживает при осмотре краснощекий, чистенький,

умильный и гаденький бригадный фельдшер, который при каждом окрике прапорщика почтительно и сладко улыбается. Показывает ездовой отмороженный палец, который не сгибается и немеет на холоде. Просит дать ему рукавицы.

— А твои где? — набрасывается Прусецкий.

— За два месяца изорвались, ваше благородие.

— Изорвались? Что ж тебе новые заказывать? Для тебя одного по особому заказу! . . Публика!

У другого правая кисть не действует, пальцы не сгибаются и всегда растопырены. Прапорщик презрительно обрывает его жалобы:

— На печку захотел?

— Никак нет, — солидно заявляет солдат. — Я от работы не отказываюсь, если бы только за номера. А за конем ходить не могу без руки.

— Знаем, знаем! Все вы, бездельники, так ноете! — кричит прапорщик, и в каждом слове его кипит свирепая злоба к солдату. Она проявляется с такой беззастенчивой откровенностью, что мне становится жутко. Я теряюсь и совершенно не знаю, что мне делать.

— Ради бога, не кричите так,—говорю я Прусецкому.— Вы мне мешаете работать.

Солдаты молчат. Лица у них безучастные, равнодушно-презрительные. Что думают они в эти минуты о своем начальстве?

Вечером ужин в Быстржицах. Имение — старое барское гнездо. Массивное здание, круглые каменные колонны, большие службы, толстые стены, паркетные полы. Ужинаем шумно, с обильными возлияниями. Произносятся тосты за армию, за Польшу, за Афродиту Вислы, за командира, за всех присутствующих и за каждого в отдельности. Неожиданно подымается прапорщик Кузнецов и говорит, обращаясь к Василенко:

— В честь добровольцев, едущих на передовые позиции и в тылу не забывающих о нас.

К. П. Василенко, настроенный пораженчески, был чрезвычайно сконфужен таким приветствием и произнес в ответ:

— Я не доброволец, я представитель общественных организаций — союза городов. Далеко не все русское общество охвачено тем патриотизмом, за который распинается Меньшиков. Но все русское общество, вся Россия душой находится теперь там, на передовых позициях. И да послужит это порукой единения между народом и армией. Пусть жертвы, принесенные армией, будут чреваты благими последствиями для всего русского народа.

Не думаю, чтобы речь Василенко дошла до сознания присутствующих. Сын владельца имения, пан Раевский, был всецело занят Евгенией Федоровной, дочерью одного из офицеров 46-й бригады. Пан Стефан Лятошинский (управляющий) пил много и энергично и довольно скоро размяк. Он никого не слушал, язык у него развязался, глаза иронически сверкали. Болтливо и грубо он выбалтывал свое немудреное политическое credo: австрофильство и жидоедство. К офицерам относится насмешливо. Он передразнивает зычные офицерские выкрики: Баш-ма-ков! Пав-лов! (имена офицерских денщиков). И, посылая убийственные взгляды в сторону молодого ксендза, саркастически добавляет:

— Я уже могу быть командиром, не правда ли?

Ксендз скромно улыбается и весьма нескромно поглядывает на дам. Пьет он очень много, но пьет спокойно, молча прихлебывая небольшими глотками и солидно отставляя бокал.

Опьянели и дамы. Жена управляющего, панна Галя, моложавая и декольтированная, томно играла затуманенными глазами и кокетливо просила:

— Спойте что-нéбудь цыганское!

Панна Зося, сестра Пана Лятошинского, и панна Марья сестра панны Гали, томно вздыхают.

— Как хорошо теперь в парке...

Но внимание офицеров всецело сосредоточено на рюмках. Только прапорщик гренадерского полка Александр Вейс пристает с либеральными разговорами к пану Лятошинскому.

— Как можно, — говорит он, волнуясь, — как можно, мечтая о собственной свободе, как мечтают поляки, так угнетать евреев?..

— Вы этого не понимаете, — горячится Лятошинский. — Мы вовсе не юдофобы. Мы погрома делать не будем, как... в Кишиневе. Но мы желаем иметь свою собственную буржуазию. Мы с жидами воюем за господство над нашим собственным рынком. Польша для поляков, а не для жидов. И буржуазия должна быть польская!

— При чем тут буржуазия? — пожимает плечами Вейс.— Во времена Костюшки вы все увлекались идеалами равенства и братства, но никому и в голову не приходило освободить своих крестьян. Это, извините, у вас национальная черта: поляк увлекается внешностью... Говоря откровенно, вы очень чванные господа; у вас все показное: ваши перчатки и панталоны внушают больше доверия, чем ваши поступки.

— О, пан поручик хороший еврейский адвокат, но должно быть вы еще очень плохо знакомы с еврейской нацией...

— Пойдем, — тихонько шепнул мне Василенко, — нам тут нечего делать.

Весь день бродили по старому Люблину. От грязных улиц с мрачными домами и заплесневевшими подвалами веет удушливым унынием гетто. Здесь город кажется сплошь населенным евреями. На улицах слышится только еврейская речь, продаются только еврейские газеты, снуют еврейские дети. Здесь же на земляном валу — тюрьма; вернее, старинный замок, превращенный теперь в тюрьму. В замок ведут прекрас-

ные ворота, на которых изваяны розетки в виде сердец; по бокам остроконечные башенки с секирами. За воротами двор, окаймленный залами и коридорами трехэтажного замка. Все здание, несмотря на могучие каменные плиты, высится легко и стройно, весело сверкая на солнце узкими стрельчатыми окнами, круглыми башнями и тонкими шпилями. Вокруг замка остатки древней стены с насыпью и огромные рвы, наполнявшиеся водою, чтобы затруднить подступы к замку. Ныне рвы эти отделяют замок-тюрьму от еврейских кварталов Люблина.

— Не наводит ли вас это на ироническое раздумье, — заметил Василенко, — старый, прекрасный замок превращен в тюрьму, а люблинские евреи как жили пятьсот лет назад, так и сейчас живут в том же заплесневевшем гетто... Не далеко же шагнула человеческая свобода за полтысячи лет.

С насыпи, на которой стоит замок, открывается широкий вид на Люблин и знаменитый доминиканский костел. Заведующий тюрьмой, проявлявший к нам всяческое расположение и с провокаторским простодушием повторявший: держу пари, что мы с вами г д е - т о встречались, посоветовал нам обратиться к ректору костела за разрешением осмотреть его подземелья.

— Кстати, — добавил, лукаво улыбаясь, заведующий, — пускай он вам скажет, почему на стенах тюремного костела в замке все фрески заделаны и вырублены?

Когда мы пришли в костел, богослужение еще не кончилось. Красиво пел хор девушек из училища урсулинок. Молящихся много — серое городское мещанство. Лишь изредка мелькнет среди согбенных молящихся старый потертый шляхтич в такой же старенькой потертой шубенке. По окончании богослужения мы обратились к ректору. Сухой, сдержанный, с оловянными глазами, в очках. Лет сорока. Окинул сверлящим взглядом и молча согласился. Потом добавил скрипучим голосом, указывая на Василенко:

— А этот пан вольный кто есть?

Я объяснил ему: везет вещи нашим солдатам на позицию. Ксендз хитро прищурил правый глаз и бросил скороговоркой:

— Только хорошо отвезите, чтобы попало не к жидам, а к солдатам.

— Знаете, пан ректор, времени у нас мало: всего мы осмотреть не успеем. А нам бы очень хотелось заглянуть в подземелье.

Ксендз сухо ответил:

— Подземных ходов я вам не покажу. Там нет ничего интересного. Сыро. Холодно. Подвалы набиты костями умерших королей. И только.

— А нам хотелось бы все осмотреть, расписаться в книге и опустить в кружку костела благодарственную лепту.

— О, пожалуйста, — сразу смягчился ксендз. — Только мне некогда, и я пошлю к вам закристина.

Через минуту явился закристин с тяжелыми ключами, и, пройдя ряд длинных ходов и коридоров, мы опустились в подземелье. Оно действительно оказалось полно человеческих костей. Но все кругом говорит о муках и пытках. На многих скелетах еще не истлело платье — по большей части лохмотья монашеских сутан. В стены ввинчены крепкие кольца, на которых болтаются остатки ржавых цепей.

— А может быть, вы нам скажете, отчего это выскоблены фрески на стенах тюремного костела?

Закристин весело улыбнулся:

— Э, панове, скажу вам по совести: этого никто не знает. Говорят, во времена Даниила Галицкого там была православная церковь, и на стенах изображены были православные святые. А когда православная церковь опять превратилась в польский костел, то фрески были заделаны и вырублены по приказанию католических бискупов. . . Может это так, а может и не так. Кто знает? . .

Делаем закупки для Василенко. Спрашиваю в еврейских лавках:

— Как живете с поляками?

Евреи отвечают со вздохом:

— Как живем? Если бы они могли, они закопали бы каждого еврея на пять аршин под землей.

— А вы их на десять?

— Ну, что же нам делать? Теперь еще ничего, когда началась война. А перед войной они объявили евреям бойкот. Давали по пять и по десять тысяч рублей полякам, чтобы они свои лавки устраивали. Ставили мальчиков возле еврейских лавок, чтобы те следили, какие поляки покупают у евреев. Так что же вы думаете? Все-таки шли к евреям.

— Почему?

— Потому что поляки продают костюм за тридцать рублей, а еврей за восемнадцать. Это такая разница, что никакой бойкот не поможет. За двенадцать рублей поляк вам не только от бойкота, а и от Варшавы откажется.

Вечером ходили по Саксонскому саду. Сад не особенно большой, разбит на уступах и прорезан извилистыми дорожками.

В саду было тихо и пустынно. Изредка пробегали торопливой походкой щеголеватые паненки, четко отбивая шаги лакированными сапожками на высоких каблуках и ведя на шнурах суетливых остромордых шпицов.

Незаметно мы очутились по ту сторону сада — на окраине города — перед люблинскими казармами. В освещенных казармах шла обычная солдатская суета — с топотом, матерщиной и голосистыми окриками. У самых казарм — бетонные площадки для летних палаток, расположенные несколькими параллельными рядами — штук по сто в каждом ряду. Все они превращены в клозеты, покрыты грудами экскрементов и распространяют удушливое зловоние.

Рядом — шоссе, по которому тянутся крестьянские фурманки. Группа растерянных евреев мечется от фурманки к фурманке и просит подвезти их до Красника. (Был канун каких-то еврейских праздников, и евреев пугала перспектива остаться в Люблине.) Они суетятся, упрашивают, хватаются за карманы. Крестьяне соглашаются; но как только евреи собираются сесть на подводу, мужики ударяют по лошадям и с хохотом едут дальше, оставив евреев на шоссе дожидаться следующей фурманки.

— Зачем вы это делаете? — обратился Василенко к одному из крестьян, молодому парню.

Тот хлестнул по лошадям и, отъехав несколько шагов, гаркнул во весь голос:

— Бойкот! Бойкот! . .

2.

С утра погрузились и ждем. Уже пять часов стоим, но надежды на скорую отправку нет. Обратились к коменданту станции с просьбой поскорее отправить наш эшелон. Комендант — картавый барин, лет тридцати пяти, весь издерганный, вспыльчивый — сразу вскипел:

— Ну что я сделаю? Все требуют: отправляйте не в очередь. Вот видите этого полного полковника? Личный адъютант военного министра! Везет царские подарки! Надо его не в очередь пустить? Да этот еще ничего: человек воспитанный. А вот другой такой же, вон тот высокий. Воображает, что на нем весь свет держится. При всем народе орал на меня; грозит: — Вам худо будет! . . Я ему не смолчал. Я на него сам напустился: — Не грозитесь, господин полковник! Можете жаловаться на мои неисправные действия. Только да будет вам известно, что есть правила для комендантов. Если вам они незнакомы, могу вам дать: почитайте! — Вот такие-то господчики,—патетически восклицает комендант,—чины получают, а работнички думают, как бы из-за них под суд не попасть.

Проходит еще три часа, и еще три часа. Обращаемся к дежурному офицеру по станции:

— Скоро нас пустят? Ведь мы с утра ждем.

— С утра? — пренебрежительно удивляется офицер. — Здесь некоторые эшелоны по две недели стоят.

Через три часа обращаемся к помощнику дежурного по станции:

— Есть надежда выбраться нам отсюда?

Тот хладнокровно заявляет:

— Бывает, что по пятьдесят дней дожидаются!

Наконец является Базунов и в радостном возбуждении кричит:

— Едем! Нашелся старый приятель, инженер Корольков. Научил, как говорить надо: везем-де-теплые вещи на позицию и едем по требованию корпусного командира. Как сказал коменданту эту магическую фразу, так все как по маслу пошло. Один взглянул, другой черкнул, а третий еще добавил: дайте им сопровождающего чиновника, чтобы дальше задержек не было.

— Где же этот ангел-хранитель?

— Уже в вагоне сидит.

В одиннадцать ночи двинулись. Но не успели мы отъехать и двух верст — внезапный толчок и остановка. Стояли, стояли. Уже спать полегли.

Как вдруг поезд отчаянно дернулся и пошел скорым ходом вперед. Проехали верст десять и к ужасу своему заметили, что едет только паровоз и наш классный вагон, а остальные сорок две теплушки оторвались во время толчка и остались сзади. Добрались до станции и бросились к машинисту:

— Твоя как фамилия?

— Риль.

— А, вот как! Ты немец?

Тот затрясся:

— Какой я немец? Я — поляк. Тридцать лет служу на дороге.

— Ну ладно, поезжай за оторвавшейся частью.

Посадили на паровоз прапорщика Кузнецова и помчался наш Риль на всех парах. Через час привезли весь состав и покатили дальше, заручившись обещанием Риля, что к четырем часам дня будем в Ивангороде. Вдруг Базунов срывается с места и кричит на весь вагон:

— А где же чиновник, который должен сопровождать наш поезд до Радома? Понимаете, какой прохвост! Германский агент — наверно!

Бросились искать по теплушкам: как в воду канул. Фантазия бурно всколыхнулась. Посыпались догадки, предположения. Неожиданно чиновника обнаружили на верхней полке: он сладко спал, ничего не подозревая о происшедшем. Его моментально разбудили и поставили на ноги.

— Для чего вы сюда назначены? — накинулся на него Базунов.

— Следить за временем: чтобы поезд не застаивался на станциях.

— Хорошо вы исполняете свои обязанности!

— Третью ночь не сплю, — смущенно оправдывался чиновник.

К четырем часам, согласно обещанию Риля, поезд пришел в Ивангород.

По дороге от Ивангорода до Радома к нам в вагон подсела группа гвардейских офицеров. Разговор идет о кавалерийской разведке. Вниманием владеет молодой ротмистр, живо передающий один из боевых эпизодов.

— Нам сказано было переправиться через мост. Мы были уверены, что немцев там нет. Только успели мы переправиться, как прямо в нас — тра-та-та-та-та...

«Затрещали пулеметы. Бросились кто куда. Совершенно

инстинктивно я ринулся в канаву — вдоль шоссе. За мной солдаты. А пулемет так и жарит. Пули ударяются об шоссе, разбивают камень. Подождали, пока затих пулемет; выбрались: все целы.

«Приказываю двигаться шагом. Потому что, если скомандовать рысью, — только в Петергофе эскадрон соберешь. Едем. Поглядываем по сторонам. Вдруг сзади — та же музыка с двух сторон. Тра-та-та-та-та-та-та... Омерзительное трещание! Эскадрон без приказания полетел во весь дух. Казалось мне, летим мы часа два. Хотя на самом деле больше трех минут не прошло. Слышу — пулеметы стихли. И только ружейные выстрелы со всех сторон. После пулемета от ружейной пальбы ни малейшего впечатления. Но назад обернуться, посмотреть, что там сзади — сил нет. Так и гонит вперед без оглядки. Слышу, кто-то сзади кричит не своим голосом. Вижу, падают люди с лошадей. Знаю, что-то надо бы сделать, разобраться. Да не могу! Наконец, собрал все остатки своей порядочности — оглянулся. Вижу, догоняет нас пеший солдат. Бежит, вопит не своим голосом. Остановил я лошадь. А он добежал, за стремя цепляется, лезет ко мне на седло. Останавливаю его, кричу:

— Да куда ж ты лезешь, дурак? Вот лошади без седоков, которые от убитых остались. Садись на любую.

А он ухватился за стремя и все одну фразу повторяет:

— Ваше благородие, подсоби: жить хоцца!..

Насилу дурака успокоил. А как опомнились — оказалось: неприятеля давно и след простыл. И летим мы сломя голову сдуру».

Другой офицер, начальник обоза рассказывает:

— Под моей командой сто шестьдесят девять подвод из Киевской губернии и двадцать шесть солдат из запаса — охранная команда. При каждой подводе хозяин и пара лошадей.

«Дисциплины никакой, и все поголовно воры. Друг друга обкрадывают. Харчи и фураж им от казны полагаются. Если им чего не додашь — беда. Первому встречному генералу в ноги бухаются:

« — Ваше превосходительство, овса не дают, хлебом не кормят.

«А где взять, когда нет? Как попали в Галицию дядьки — так принялись за хищения. Пробовал их уговаривать — и слышать не хотят. — А зачем их царь нашему войну объявил? Надо их разграбить!»

— О, что касается грабежа, — вставляет другой гвардеец, — лучше наших мужиков на всем свете не найдется. В газетах все пишут, что немцы Польшу разграбили. Так ведь это ноль по сравнению с тем, что мы в Восточной Пруссии сделали. Мы там все в пепел превратили.

— Порядок такой, — продолжает свой рассказ начальник обоза. — Объявляют по деревне, что нужны охотники, по добровольному найму. Ну, разумеется, никто не идет. Тогда волостной писарь составляет список хозяев, которые обязаны дать лошадей и повозки. Конечно, богатые мужики откупаются, а идут такие, у которых по восемь душ детей и лошадей одна пара. Понятно, они о том только и мечтают, как бы вырваться и домой убежать.

«Почему-то пошел среди них слух, что каждые четыре месяца их будут сменять другими. А сейчас перед праздниками от них житья нет, требуют: пиши бумагу о замене. Главное, обовшивели все.

«Началось это так: заболел у меня один мужик падучей. Положил я его в Сташове в госпиталь. Утром прибежал, весь трясется!

« — Ваше благородие, дозвольте назад в обоз!

« — Что такое?

« — Не могу. Всю ночь обеими руками вшей отгребал. Загрызли.

«И вот с того времени и пошло. Наш обоз теперь прямо рассадник вшей. Избавиться от них — никакой возможности нет; разве сжечь весь обоз дотла. А ведь возим мы хлеб, и продукты, и одёжу солдатскую».

Некоторое время вагон молчит. Потом тот же начальник транспорта говорит:

— Через мои руки прошло за это время 5 000 фурманок. Я все время под Кельцами служил. Там с четырех сторон роют окопы, возят колючую проволоку, починяют шоссейные дороги. Для всего этого нужны рабочие руки, лошади и подводы. А между тем часть деревень в руках неприятеля. В других местах жители разбежались. Высшее начальство знать ничего не хочет, твердит в один голос: чтоб было — и никаких! Но где же взять, когда нет? Крестьяне бегут. Лошадей кормить нечем. Люди голодные, озябли, еле прикрыты.

«Денег людям не платим. Население пока терпит. Кое-как исполняют приказания. Но при малейшей военной неудаче они клочка соломы не дадут, не то что лошадей.

«Как дальше изворачиваться будем, не знаю. В тридцати верстах под Кельцами имеется 90 свободных фурманок, 180 прекрасных лошадей. Но они лежат на площади и подыхают с голоду. Ездили две недели и ни клочка сена не получили. Люди еле на ногах стоят. Из выгребных ям вылавливают куски съестного...

«А начальство требует! — Дай — и никаких разговоров.

«Я вот теперь разослал казаков за пятьдесят верст во все концы от Келец. Добудут подводы — хорошо, а не добудут и сам не знаю, что делать. У меня 135 пулеметов для трех полков три недели стоят: подвод не было, чтобы отправить. Все комнаты у меня до потолка офицерскими вещами набиты: дожидаются очереди.

«По четыре недели сидят. Один есаул силой отбил у меня 30 фурманок. Я хотел на него командующему армией жало-

ваться — да пожалел его. Я ведь отлично знаю, что некоторые офицеры стоят с солдатами на шоссе и подкарауливают первых попавшихся лошадей.

«А тут еще раненых возить надо, да солому для лазаретов, да картошку, да овес на батареи.

«Как я до сих пор с ума не сошел, сам не понимаю».

Некоторое время лежим молча. В вагоне темнеет. Холодно. Кто-то опять начинает говорить:

— Пройдоха этот Мезин! Слышали? — в ремонтной комиссии состоит. По 5 000 лошадей в год пропускает. Этакий плут! Это вы считайте только по 5 рублей на лошадь и то 25 000 рублей в год. Богатейший, должно быть, человек. Выйдет после войны в отставку — сразу большое имение купит. А теперь ходит в рваном пальто и очки всем втирает. Рассказывает, что во время мобилизации в первый раз большие деньги увидел и на радостях погребец себе купил. Знаем мы таких!

— Взятки, что ли, берет? — любопытствует чей-то голос.

— Зачем взятки? Он в ремонтной комиссии состоит!

— Приведут ему лошадей, продержит их лишние сутки — вот и вскочило за прокорм. А кормит он, нет ли—это уж его дело. Только в кармане, смотришь, лишняя сотня и завелась.

Мимо Радома проехали, не останавливаясь. В Кельцах тревожно. Часто и гулко бухают тяжелые орудия. Под Хенцинами, верстах в двадцати от Келец, идет жестокий бой. Но улицы переполнены публикой. День ясный и солнечный. И все ждут появления немецких аэропланов. Два дня тому назад аэропланы сбросили более 10 бомб, не причинивших, однако, никакого вреда.

Днем часа в три над городом показался аэроплан и сбросил над казармами пачку прокламаций. Через полчаса мы проходили мимо казарм. Стоял взвод солдат с ружьями наготове.

Но аэроплан летал высоко и, плавно кружась над Кельцами, снова бросил прокламации.

С трудом добыли 8 фурманок у уездного начальника. Три фурманки захватили на большой дороге.

Завтра отправляемся походным порядком в Галицию, где сейчас находится наша бригада.

В ожидании подорожной сидим у келецкого уездного начальника. Это полный, добродушный и словоохотливый сангвиник, который со всеми старается ладить. Вид у него комичный, а тон строгий, полуобиженный. Обрадовался неожиданным слушателям и рассыпается в жалобах:

— Были в Кельцах австрийцы, были германцы, были «соколы». Никто меня не обидел, нитки не пропало. Австрийские офицеры пришли ко мне на квартиру и, видно, был с ними человек знающий. Мой курьер рассказывал, как они хвалили меня: «он человек порядочный, справедливый». И курьеру наказывали: «смотри, береги квартиру, чтобы ничего не пропало». А пришли наши... Такое натворили! Поместился тут штаб 17-го корпуса — забрали мое ружье, — подарок сыну, забрали велосипед, столовые часы забрали... Э, да что говорить: сами знаете, какие у нас порядки. Вы вот послушайте. Приказали мне раздобыть как можно больше картошки. Приказал я свозить. Завалили мне все управление, весь тюремный двор. А приказ за приказом шлют да шлют: картошки, побольше картошки! А в это время уже стали счета присылать. Мужики — те молчат, а помещики и жиды денег требуют. Несколько десятков тысяч. Я — к губернатору. Тот отрекается: мне картошки не нужно. Ну, тут я пустился на хитрость. За мужицкую картошку не плачу; жидов — в шею; а помещикам — кто деньги требует — заявляю: можете забрать свою картошку назад. Теперь у меня на тюремном дворе столько картошки, что хоть шоссе мостить. И продаю всем желающим — по 33 коп. за фунт.

«С губернатором у нас беда. Дров нет у нас, угля тоже. А квартира у губернатора огромная. Приказывает: доставить дрова! Из леса, верстах в двадцати отсюда, возить приходится. Докладываю губернатору: нет подвод. А он: должны быть! Вот и изворачивайся как знаешь.

«Вы, кажется, из Киева? Как увидите там Ив. Вас. Лучицкого, скажите ему: есть у вас в Кельцах родственник Павел Петрович Исаевич, уездный начальник. Так он совсем измотался. И скоро этого родственника у вас не станет: сожрут без остатка».

В это время в комнату входит прапорщик:

— Я к вам. Разрешите мои сомнения. Я наблюдаю за починкой дорог, сгоняю местное население на работы. В некоторых деревнях крестьяне оказывают сопротивление, ругают моих солдат. Могу я арестовать зачинщиков?

— Ради бога. Прошу вас об этом. Моим именем арестовывайте, сажайте в тюрьму, делайте, что хотите — вплоть до полевого суда. А лучше всего — ко мне присылайте, в Кельцы. Я как на две недели в холодную закачу—перестанут у меня бунтовать.

Последняя фраза произносится таким ленивым, таким апатичным голосом, что все невольно смеются.

— Ах, господа! — произносит с печальным вздохом келецкий уездный начальник, — если б вы знали, как это все мне осточертело. Мужики, картошка, подвалы, лазареты, прапорщики, дрова, солома, помещики... Бьешься, из шкуры лезешь — и ничего, кроме неприятностей и выговоров. А вот какой-то корпусный интендант, говорят, получил Владимира с мечами за своевременную доставку икры из Петрограда.

Ветрено. Глухо грохочет канонада. Говорят, неприятель отошел на 6 верст после неудачной попытки прорвать фронт.

Вторые сутки обоз наш находится в пути. Нам предстоит сделать около 300 верст. Дорога твердая, крутая, звонкая и

слегка скользит под ногами. Идем пешком за обозом. Злой колючий ветер швыряет миллионы острых снежинок, которые хлещут в лицо, слепят глаза, бьют в нос и в рот, так что захватывает дух. Белая прыгающая пурга застилает дали и треплется огромной кисейной пеленой перед глазами. Возчики — босые, закутанные в тряпьё, угрюмо шагают у возов. Кто-то уверил их, что раньше как через два месяца их не отпустят. Деревни — верст на тридцать кругом — почти все опустели.

На ночь расположились биваком в Лисовье, в доме ксендза. Ксендз — мужчина лет сорока, чисто выбритый, умеренно полный, очень дипломатичный. Нас называет «российски жолнежи». Кажется, отлично говорит по-русски, но с нами все время объясняется по-польски. Лишь изредка вставит русское слово, которое произносит легко и без акцента. В выражениях крайне осторожен. Рассказывая о казачьих грабежах, говорит как-то неуловимо-сдержанно. Чуть усмехаясь, передает он ласковым тоном:

— По ночам приходят в крестьянские дворы, забирают телят, гусей, птицу; ищут в молитвенниках денег. Кто такие — не знаю, не скажу. Может быть, это казаки, а может быть, воры, переодетые в казачье платье.

— То есть не воры, а грабители?

— Да, злодеи, похожие на казаков. И не знаешь, кому на них жаловаться. Казачье начальство как-то внимания не обращает. У меня стояли четырнадцать казачьих офицеров. Так они такое вытворяли, что я решил уйти из своей квартиры. Кричат, танцуют, пьянствуют всю ночь. Гостей полон дом. Заняли всю мою квартиру.

Об австрийцах говорит сдержанно. Но иногда в разговоре прорываются такие замечания:

— У меня 4 морга земли. Австрийские офицеры верить не хотели. Думали, что как у ихних ксендзов — по 200 моргов надел. А я уже четвертый месяц жалования не получаю. Чем жить, когда население совсем обнищало? Да и нет его,

разбежалось. А кто остался — в разгоне: кто с фурманкой взят, кто дорогу чинит, окопы роют или убитых хоронят.

Всякий раз в беседе ксендз возвращается к казакам и в полунамеках дорисовывает истинную картину.

— Конечно, если платят за корову 50 рублей, когда цена ей 150, и одного доходу за год дает она не меньше 50 рублей, то это достаточное разорение для мужика. Но армия смотрит на корову как на мясо, до остального ей дела нет. С своей точки зрения она права. Но с какой точки зрения смотрят казаки, когда они ничего не платят, я не понимаю... Вообще, понять их довольно трудно, — говорит, усмехаясь, ксендз. — У всех у них были кровати, но почему-то они приказали натаскать в мои комнаты соломы...

Ксендз очень любезен с нами, ходит за нами по пятам и больше всего опасается, чтобы мы не заглянули в боковые комнаты, где иногда мелькают женские юбки за занавеской.

Любопытство у ксендза колоссальное. Неотступно расспрашивает: куда идем, зачем, какой части? А где стоит такая-то дивизия? А скоро ли будут двинуты новобранцы? и т. д., и т. д. Кто-то во время разговора, шутя, посоветовал ему:

— Знаете, народу у вас ежедневно бывает тьма. То наши, то австрийцы, то германцы. Новостей вы от них получаете множество. Вы бы газету начали издавать.

Ксендз хитро улыбнулся и сказал с нескрываемой иронией:

— Разве вы думаете, что у меня мало шансов быть повешенным и без газеты?

В передней у него стоит огромный шкаф, из которого дует, как из погреба. Офицеры волнуются: уж не подземный ли это ход? Мы успокаиваем их:

— Если бы здесь был подземный ход, верьте, — ксендза давно бы повесили.

Спрашиваю ксендза:

— Что это у вас там?

— Пивница (погреб). Верно забыли наружную крышку закрыть — вот и дует.

Уходя спать, ксендз вежливо говорит:

— Добрà ноц.

Прапорщик Болеславский вздыхает:

— Вот положение? Ведь с этой же фразой он должен обращаться и к немцам, и к австрийцам.

— Ну так что? — удивляется Василенко.

— Ненормальное положение!

— Напротив, — говорит Василенко. — Раскраивать друг другу черепà — вот ненормальное положение. А что ж ненормальнога в том, что человек ко всем относится хорошо?

За столом после ужина сидят все офицеры. Несмотря на близость канонады, у всех на душе легко. Двадцативерстная прогулка на свежем воздухе и сознание, что предстоит такое же вольное, веселое и утомительно-приятное путешествие, наполняет всех бодростью. Приятно чувствовать себя сытым, здоровым, крепким, готовым к долгой и упорной борьбе с ветром, колючим снегом и. . . далеким врагом.

Базунов в превосходном настроении духа. Он чувствует себя центром внимания и с увлечением сыплет анекдотическими рассказами из юнкерской жизни:

— Был у нас преподавателем знаменитый эсаул-академик Мечников, который в качестве академика носил на одной ноге шпору, а в качестве казака — другая нога была без шпоры: брынь-тук, брынь-тук — выстукивали при походке каблук и шпора. Однажды он задал вопрос на экзамене:

« — Как добывается углекислота?

«Юнкер ответил:

« — Сажают под колокол воздушного насоса мышь и ждут, пока она вдохнет весь кислород; тогда останется углекислота под колоколом насоса.

« — Ну, это очень медленный способ, — невозмутимо заметил Мечников.

« — Для ускорения процесса, — нашелся догадливый юнкер, — можно посадить крысу».

Рассказы идут все в том же духе.

В комнате тепло. Все смеются. А бой между тем разгорается. Орудийная пальба все ближе и ближе. На дворе так светло, что в окна видны очертанья деревьев, темный купол костела и далекие сопки, покрытые лесом.

— Доедем мы с нашими вещами? — спрашивает кто-то.

— Доехать-то доедем, — шутит Базунов, — но попадем прямо в Германию.

Наши спят. По дому крадутся чьи-то легкие шаги. Экономка? Неистово лает дворовый пес. Ксендз приоткрывает двери.

— Чего это собака лает? — спрашиваю я.

— Это она так приучена: как только издали заслышит запах солдатского полушубка, так сейчас лай подымает.

Бедный ксендз! Он все перепутал. Эта шутка, вероятно, имела успех у немецких офицеров. Повторять ее русским гостям — довольно рискованно. Но что прикажете делать, если деревня эта переходит из рук в руки, и он, как женщина, легко меняющая привязанности, незаметно начинает путать имена и привычки своих любовников. Кто знает, чем кончится сегодняшняя ночная канонада? Может быть, завтра в этой комнате уже будут ночевать австрийские офицеры? И ксендз, уходя в свою опочивальню, будет вежливо говорить им:

— Добрà ноц!

Война с каждым часом все глубже внедряется в жизнь страны. И это выражается не только в том, что больше становится безлошадных, голодных и разоренных, но, что гораздо страшнее, — в полной психологической неустойчивости. Население ко всему начинает относиться с апатическим

безразличием. Оно теряет устои, понятия о чести, теряет привязанности к месту, стране, жизни. Оно ни во что не верит и знает лишь одно: есть пушки, которые бухают, и только их надо бояться. А все остальное — трын-трава.

Выехали в восьмом часу. Попрежнему завывает пурга. Едкий ветер гонит клубами снежную пыль. Вьется змеею поползуха по шоссе. По бокам тянутся волнистые поля, перерезанные круглыми холмами. Через каждые три-четыре версты деревня с высоким костелом на пригорке. Иногда, по одну сторону деревни — костел, по другую — господский двор. Выстрелы доносятся глухо: вероятно, ветер относит звуки в сторону. Привал делаем в Хмельнике — местечке, густо населенном евреями. Остановились в доме учителя-поляка, проживающего в Хмельнике уже 34-й год. Сын — в солдатах. Дома еще пятеро. Квартира чистенькая, опрятная. Чувствуется некоторый достаток.

В Келецкой губернии мобилизация не состоялась, так как австрийцы пришли прежде, чем приступили к мобилизации. В передаче одержимого патриотизмом учителя это звучит так:

— Поляки ходили и в Андреев и в Кельцы, но им губернатор сказал: куда я вас дену? Идите домой.

«А жиды — известно: их никогда нет дома. В Хмельнике должны были пойти 106 запасных, а явилось только 4. Казаки здесь пограбили евреев. А так войско наше за все платит... где можно».

Зверства германцев, предательства евреев и благородство поляков — это здесь любимая тема.

— Немцы так грабували (так грабили), — жалуется учитель. — Познанские немцы (среди них много поляков), те лучше обращаются. А германцам был отдан приказ: как перейдете русскую границу — все уничтожайте. Где-то под Буском один поляк хотел спрятаться в сарае, но жид указал

на него немецкому офицеру. Тот бросился к поляку, хотел застрелить его. В это время разорвалась над ними шрапнель и убила и жида и офицера наповал.

От Хмельника до Буска шоссе идет по крутым подъемам и скатам. Непрерывной лентой вьется широкая каменная тропа, окаймленная рвами, и то исчезает в сосновой чаще, то опять вырывается на широкий простор, где сыплет колючими иглами пурга, и жалобно стонут телеграфные провода; где тонким куревом стелется седая поползуха; где сидят рядами, нахохлившись, черные грачи.

Ветер сбивает с ног и устилает дорогу скользкой крупой. Холодно. Мутная пелена застилает небо и землю, и кажется, будто все это какой-то странный, тяжелый сон, который будет длиться еще дольше, долгие дни. С изумлением думаешь: для чего мы здесь? Куда идем? Неужели это война? Со стороны никто не поверит, что так воюют. Но именно это и есть война. Вы все, сидящие за тридевять земель от полей сражений и жадно глотающие с утренним чаем эффектные реляции о победах, вы хотели бы всюду видеть мужество и героизм. Но их нет. Есть лишь усталые, полуголодные солдаты, продрогшие возчики, скрипучие возы, скользкие или грязные дороги, зябнущие от холода лошади, испуганные жители и бухающие пушки. И только на узенькой линии, где соприкасаются две воюющие армии, серые будни войны на мгновение вспыхивают смертоносным энтузиазмом, который устилает землю грудами человеческих трупов и духом опустошения и скорби наполняет сердца.

Когда подъезжали к Буску, вечерело. Исхлестанные колючей крупой, продрогшие и голодные, остановились в старом нетопленном доме, в квартире, брошенной на произвол судьбы и холодного ветра. Из сеней дует. Двери не прикрываются. Топить нечем. Ничего не поделаешь: надо смотреть сквозь пальцы на ловкую работу артиллерийских тесаков,

разрубающих на топливо обывательские заборы. Две чашки горячего чаю и несколько бутербродов проясняют настроение. Все снова смеются. Раздражение и усталость улетучиваются. Двадцатичетырехверстный переход начинает казаться пикником, после которого теперь по жилам переливается сладкая истома.

На дворе потеплело. Сквозь незавешенные стекла ясно видны темные силуэты телеграфных столбов и далекие крыши, покрытые синеватым снегом. Издали глухо доносятся редкие удары тяжелой артиллерии. Как не хочется умирать в такую ночь, и сколько жизней угаснет сегодня под этим звездным небом. Во имя чего? . .

Выступили в начале девятого. День теплый, светлый. В мягком воздухе ясного утра сердце радостно бьется, и мечты вьются как жаворонки на солнце.

В двух верстах от Буска-местечка находятся бусские минеральные воды. Сейчас же за местечком тянется ровная шоссейная дорога, окаймленная двумя густыми аллеями, ведущими в Буск-курорт. По шоссе, потрескивая и ухая, катятся штабные автомобили, несутся во весь опор казаки, гарцуют офицеры на щеголеватых, подстриженных лошадях. По бокам раскинулись красивые двухэтажные дачи с пестрыми, многоцветными окнами, сверкающими на солнце и похожими на фейерверки из цветного стекла. Минеральный парк щеголевато разукрашен: мостики, площадки, гроты, эстрады, казино, уединенные скамейки. Все это так мало похоже на войну. И так не хочется верить, что красивые, полновесные звуки, наполняющие воздух могучим гулом, выбрасываются жерлами пушек, что в девяти верстах от безмятежного Буска идет ожесточеннейший бой.

Темнеет. Над белыми полями протянулись фиолетовые тени. Вдруг, мягко прокатились звуки военного оркестра.

Откуда это? Прошли еще верст восемь, прежде чем выяснилось, что музыка долетела из имения помещика Заранского — Щеглин. В имении живут двое служащих, заведующих лабораторией по селекции семян. Отвели нам три комнаты, рамы разбиты, замки вывернены, ящики выломаны, — следы недавнего пребывания казаков — как пояснил нам сторож.

К ужину мы пригласили управляющего с помощником. Те пришли с граммофоном и часа два угощали нас цыганскими романсами и польскими патриотическими песнями, а в промежутках занимали разговорами о свекле, об опытных полях, о преимуществах польских семян перед германскими. Вид у наших хозяев запуганный. Все время чувствуется, что мы чужие друг другу люди — с различными интересами и совершенно различными симпатиями. О войне говорят они неохотно, вяло, как будто речь идет о событии, происходящем за тридевять земель и не имеющем никакого отношения к обитателям Щеглина. В половине одиннадцатого Базунов деликатно напомнил хозяевам о нашем завтрашнем раннем выступлении, и они, испуганно съежившись, торопливо вскакивают с мест.

. . .Утро, тихое, ласковое. Длинным цугом вытянулся наш странный обоз. Впереди командирский кучер Драчев на двуколке, за ним Базунов, потом управленские возы с фуражом и, наконец, одна за другой крестьянские фурманки. Фигуры возчиков печально-комические. Большинство без сапог. Трое в солдатских полушубках. Люди всех возрастов — от седоусых стариков до безбородых юношей. Шагают понурые, угрюмые. Каждое утро они выдумывают десятки новых болезней и просятся домой. Падает мягкий, крупный, пушистый снег. Деревья, осыпанные снегом, стоят длинными, ровными рядами, как на оперных декорациях. Мы подъезжаем к пограничной переправе.

3.

22 декабря, в половине второго по петербургскому времени, мы перешли через понтонный мост и очутились в Галиции. Кучками стояли солдаты, теснились военные и обывательские подводы, валялись груды обтесанных бревен для строящегося моста. От переправы сразу же начинается ровное, австрийское шоссе, идущее вдоль Вислы. По бокам шоссе толстые, короткие ветлы с сердито растрепанными верхушками из голых прутьев. На повороте белая, большая доска, на которой четкими буквами обозначено по-польски: «Королевская область Галиция. Уезд Домбровский. Местечко Щуцин».

Щуцин — небольшое галицийское местечко с двухэтажными, каменными домами, старым костелом и большими лавками. Но все это в прошлом. Сейчас Щуцин совершенно — мертвый поселок, по которому, как по кладбищу, блуждают наши солдаты. Дома все разрушены, окон нет, печи разворочены, на полу сено, рваные еврейские молитвенники, много битой посуды, тряпки и зловонная грязь. Лишь кое-где, на задворках мелькают робкие, обывательские фигуры. И дальше, за Щуцином, такая же мертвая тишина. Деревни покинуты. Над крышами ни дымка, в окнах пусто. На дворе ни гусей, ни скота, ни телег. Даже на деревьях, растущих вдоль шоссе, — ни одного воробья. Изредка встречаются обывательские фурманки с молчаливыми польскими мужиками, приветствующими нас низкими-низкими поклонами. На одной фурманке, погоняемой поляком, сидел чернобородый галицийский еврей. Один из наших молодых возчиков, проходя мимо него, хлестнул его батогом, о чем радостно сообщил нашим солдатам.

Часам к четырем добрались до Ривана — большой деревни, расположенной перпендикулярно к шоссе. Свернули и пошли вдоль узкой реченки, обсаженной ветлами. Останови-

лись в просторной крестьянской хате. В доме порядок: большие, коричневые, кафельные печи, деревянный пол, крашеные скамьи. Во дворе — сараи с навесами для лошадей, бетонный колодец, чистый, деревянный клозет. Хозяйка, баба лет сорока пяти, плачет и громко вздыхает.

— Чего ты?

— Да у меня уж стояли и наши войска, и русские, и казаки. Забрали лошадей, коров, гусей. С тех пор, как русские солдаты пришли, житья не стало. Достать ничего нельзя. За керосином надо за Вислу ходить и платим по 25 копеек за фунт.

Спрашиваю Кубицкого:

— Нравится тебе здесь?

— Да, во всем порядок. Каждая каморка — всё хозяйственное.

— Хорошо живут,—вмешивается Драчев.—Отчетливо. Только зачем бежали? Здесь бы жили — от нас нажились бы.

— От нас не разживешься! — смеется Кубицкий.

— А все их император,—солидно продолжает Драчев.— Не схотел жить в мире, весь свет взбаломутил. Вот как бы бог помог в колодки его заковать — знал бы, как войны устраивать.

Кроме нас, в Раване стоят две роты седлецкого полка. Солдаты угрюмо советуют:

— Какая уж тут дневка, тут и ночью ничем не разживешься.

Едем дальше. Дорога размытая, грязная и скользкая. Лошади подвигаются с трудом. Гнилой ветер гонит густые, рыхлые облака. На полях талый снег. Бегут потоки талой воды. На проталинах зеленая травка. Вообще весь пейзаж таков, каким он бывает у нас ранней весной, в начале марта. За два часа с трудом сделали восемь верст и заночевали в Домброве.

И здесь та же картина. Жителей почти нет. Дома заняты

нашими войсками: понтонным батальоном, госпиталями, хлебопекарнями и обозами. Сунулись в магистрат, в аптеку, в комендатуру — везде битком набито. Дома разграблены. Из лавок все вынесено, и они превращены в конюшни. Усталые, злые и голодные бродили мы со всем обозом от дома к дому. Уже совсем стемнело, когда мы узнали, что где-то на окраине города приютился киевский лазарет, врачи которого, киевляне, согласились дать нам ночлег. Встретили нас гостеприимно, и через полчаса уже завязалась обычная интеллигентская беседа.

4.

Подъезжаем к Тарнову. Грохочет страшная канонада: позиции верстах в трех от дороги. Над Тарновым дымки разрывающихся снарядов. Повременам — вспышки наших пушечных выстрелов.

Издали Тарнов похож на Владивосток: те же голубоватые горы и сбегающие вниз по уступам каменные дома. Живописно раскинутые предгорья Карпат; а за ними — вдали, теряясь в облаках — синеют карпатские вершины. Вся обстановка — точно батальные декорации Верещагина: горные хребты, котловины, дымки шрапнелей, блеск пушечных выстрелов, зажженные домики... Над ними все время реют два моноплана и один биплан. Биплан желтого цвета, кажется, австрийский.

В Тарнове мы разыскали второй парк нашей бригады — под командой Пятницкого. Он расположился за городом на дальней окраине. В гостях у нас несколько летчиков из близ находящегося ангара. Один из летчиков, молодой, черноволосый юноша, рассказывает о гибели Нестерова, с которым он долго служил. Нестеров все время носился с мыслью об устройстве троса для борьбы с неприятельскими аэропланами. Идея такая: на длинной проволоке привешена тяжелая гиря. Проволока только слегка прикреплена к аэроплану. Трос

направляется так, чтобы попасть в неприятельский пропеллер и запутать последний. Долго возился Нестеров со своим приспособлением и, наконец, план осуществлен был на деле. Как только раздался шум мотора и показался австрийский аэроплан, Нестеров, нацепив трос, поднялся вверх. Но вскоре опустился, так как наверху очень трудно ориентироваться. Несколько минут спустя он снова поднялся, рванувшись вверх почти без разбега — только ему одному известным приемом, и очутился над немецким аэропланом. Несколько минут оба аэроплана сходились и расходились. Вдруг оба противника бросились в разные стороны и через мгновение рванулись стремительно вниз. Нестеров ударился головой обземь и совершенно сплющился. По странной случайности его противником оказался барон Розенталь, в имении которого стоял Нестеров.

Другой летчик, только-что вернувшийся из госпиталя, с большим комизмом передает свои дорожные впечатления. В теплушку, где находились раненые офицеры, заглянул интендантский полковник и, брезгливо морщась, спросил:

— Это здесь мне отведено место, кондуктор?

— Так точно.

— Разве здесь нет классных вагонов?

— Никак нет.

— Как же так? Я занимаю высокое положение, я не могу в таком вагоне, в простой теплушке. Я пойду выясню: это какая-то чепуха.

Авиаторы, расположившиеся на верхней полке, шутят: если он привык занимать высокое положение, пусть ляжет с нами рядом.

Проходит минут пять. И в теплушку является женщина-врач, комендант санитарного поезда. Решительным голосом она обращается к санитару:

— Надо освободить внизу отделение.

— Это никак невозможно.

— Почему невозможно? Кто тут едет?

— Два авиатора, трое раненых офицеров, один прапорщик и один вольноопределяющийся — тяжело больной.

— А вольноопределяющийся зачем здесь? Нижним чинам не полагается занимать место в офицерском вагоне. Вольноопределяющегося удалить! Обейте внизу одеялами стены и устройте из одеяла занавеску!

Мигом вольноопределяющегося выставили. Забегали, засуетились. Достали гвоздей. Устроили подобие отдельного купэ из одеял. И через полчаса, кряхтя и пыхтя, ввалился виновник всей кутерьмы — интендантский полковник. Он долго устраивался и сердито ворчал:

— Чорт знает что! Адски холодно. Раненому, конечно, ничего — его хоть на ледник положи. А я не могу. Занимаю такое положение — и в вонючей теплушке...

...Ночью, часу в одиннадцатом, послышалась чрезвычайно сильная канонада. Казалось, что снаряды рвутся над городом и падают где-то совсем близко. Это длилось минут восемь. Базунов выскочил из своей комнаты:

— Послушайте, вы держите связь со штабом? А то ведь теперь время такое, что каждую минуту надо быть на-чеку.

— Да мы здесь уже двенадцать дней и каждую ночь такая же стрельба. Днем молчат, а ночью палить начинают. Ведь здесь два штаба стоят. Столько частей. Если что-либо случится, мы сразу увидим.

Часа через два стрельба опять повторилась. На улицу высыпали жители. Всюду тревожные голоса: такой пальбы еще не слыхали здесь. Вскоре распространился слух, что по городу стреляли из броневого автомобиля, прорвавшегося сквозь наше сторожевое охранение.

...Нашли квартиру недалеко от парка, на Львовской улице. Три хорошо меблированных комнаты с ванной,

электрическим освещением и всякими удобствами. Хозяйка, пожилая еврейка, говорит по-польски. Обратилась к нам:

— Дам все, что хотите: кровати, дрова, подушки, перины, лампы; все бесплатно; денег мне не надо; только пусть все будет цело. Дети мои уехали. Дочь у меня красавица. Испугалась, все бросила и утекла с мужем. Я одна осталась. Квартиранты все выехали.

— Будьте спокойны: у вас ничего не тронут.

Она посмотрела на нас благодарными глазами и протянула руку полковнику:

— Благодарю вас, очень.

Но сейчас же вслед за хозяйкой явился плутоватый, угодливый, немолодой еврей и, галантно расшаркавшись, объявил:

— Совладелец дома. Русский подданный. Служу у князя Сангушко. Так как князь Сангушко также русский подданный, то и все служащие ясновельможного пана Сангушко тоже русские подданные.

При этом он извлек из кармана какую-то бумажку, в которой за подписью сотника Павлова сообщалось, что предъявитель сего документа Гриншпан должен быть освобожден от всяких повинностей и действительно является совладельцем занятого нами дома. Документ был написан вполне грамотно и снабжен печатью воинской части.

— Чего же вы собственно хотите? — обратился к Гриншпану Базунов.

Тот ласково улыбнулся и, угодливо извиваясь, ответил:

— Я ничего... Я так...

И мгновенно ретировался. Цель его визита так и осталась невыясненной.

Роскошествуем и отдыхаем. Утопаем в плюше и бархате. Всюду зеркала, диваны, мраморные умывальники, белые ясеневые стулья, часы, безделушки, электрические ночники и множество портретов на стенах.

С утра бродим по городу. На улицах грязно. Город переполнен военными. Всюду бросается в глаза странная смесь русского с немецким. Масса наших солдат вперемежку с жителями Тарнова. На дверях ресторанов и магазинов русские надписи: «Ресторация для господ офицеров», «Продажа сахару и меду». На стенах объявления на двух языках: старые — от австрийского коменданта — по-польски и новые— от нашего коменданта — по-русски. Особенно пестро выглядит фотографическая витрина, где рядом с группой австрийских офицеров выставлены карточки наших солдат и казаков в лихо заломленных фуражках. Привлекает внимание курьезная афиша кинематографа «Гелиос», на которой аршинными русскими буквами напечатана такая программа:

1. Ижасное престипление, сенсациощая драма с угощиа (с участием?) в главной роли Шерльока Шолмеса.
2. Железная дорога с натура.
3. Пыль страсйшь, веселая комедіа в 3 ак.
4. Первая забава, очем комічная.

Преобладающий элемент среди оставшегося населения — старики и дети. Днем город не кажется таким пустынным: много открытых магазинов, в витринах пестрый товар, грохочут извозчики. Но с вечера сразу бросается в глаза городское безлюдье. — Большинство домов утопает во мраке. Улицы кажутся испуганными и мертвыми. Лишь кое-где из офицерских квартир струятся полоски света, да в мелких лавчонках зажигаются робкие огоньки. Только рестораны, биллиардные и кофейные озарены по-праздничному и во мраке безлюдных улиц горят их полузавешенные окна. Самое большое оживление на вокзале, где сосредоточены лазареты. Идет погрузка и перегрузка раненых. В воздухе носится крылатая матерщина санитаров. Щеголевато семенят по перрону сестры. Чинно прогуливаются доктора. Подъезжают и отъезжают штабные автомобили. А ночью почти

всегда, около половины двенадцатого, начинается адская канонада. Неприятельская артиллерия развивает ураганный огонь, и зловещие вспышки каждого выстрела мелькают широкими зарницами в небе, обливая трепетным светом далекую окраину города. Тогда из ворот выбегают испуганные жители, слышится хриплый лай собак, и офицеры начинают тревожно прислушиваться к гулу орудий. Но через полчаса все успокаиваются, и город погружается в мирный сон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В ЗАВОЕВАННОЙ ГАЛИЦИИ

1915 г.

ЯНВАРЬ.

1.

Сегодня канун нового года. Временно все три парка собрались в Тарнове. С утра раздаем привезенные подарки. Солдаты очень довольны. Смутил нас только Асеев своей сектантской несговорчивостью. Для него отобрали отличный романовский полушубок, валенки, ватные шаровары, папаху и рукавицы — полное зимнее обмундирование. В подборе вещей участвовала вся бригада. Отбиралось самое лучшее, но Асеев сурово заявил:

— Не возьму. Не надобно мне.

Его уговаривали, упрашивали, но он твердо стоял на своем:

— Не для ча. Не надобно мне.

— Ну, Асеев, вы просто обижаете нас, — обратился к нему Василенко, — мы из Киева подарки везем, а вы отказываетесь.

Асеев подошел к Василенко, отвесил ему поясной поклон и сказал твердо и решительно:

— Не хорошее мы дело делаем: людей убиваем, грабим, малых детей, как кутят, на мороз выбрасуем, а нам за это жертвенные вещи шлют. Разве ж можно? . .

Всем стало неловко. Даже Базунов промолчал. Только фельдфебель Гридин не утерпел, чтобы не вставить тоном Иудушки ехидного словечка:

— На что Асееву шуба? Он у нас как праведник андельский. Ему и на холоду как в божьем раю.

Адъютант Медлявский, втайне питающий некоторую слабость к толстовству, резко набросился на Гридина:

— Гридин, отчего лошади вспотели?

На что тот ответил со своею обычной подловатою вкрадчивостью:

— Это, ваше высокородие, оттого, что лошадки два дня на холоде стояли. А теперь из них холод и выходит, в свое состояние они входят.

После раздачи подарков мы с Василенко до вечера бродили по городу и осматривали кафедральный собор. Собор был заперт. Мы обогнули его кругом. Заходящее солнце ярко освещало окна собора, и он горел как огромный фонарь. Обошли второй раз собор. Вышел пан пробощ — полный, высокий, благообразный ксендз, похожий на бабу. Обратились к нему — он вежливо отворил двери и согласился быть нашим провожатым. Вначале был любезен, но холоден. Понемногу разговорился и стал рассказывать:

— На постройку собора, — объяснил он нам, — затрачено больше миллиона крон. Достроен он пять лет назад. Жертвовали все три Польши. В настоящее время на нем еще сто тысяч долгу. По грандиозности это первый собор в Польше. Такого нет ни во Львове, ни в Кракове. Строил собор львовский профессор доктор Зубржицкий, оконная живопись по проектам Стефана Матейко. Два больших окна обошлись по шести тысяч крон. До сих пор бог миловал: собор не пострадал. Но, говорят, швабы подвозят сюда свои тяжелые орудия, и собору грозит серьезная опасность.

— Для чего вы запираете собор? — спросил Василенко.

— Собор запирается с двенадцати часов дня, так как был случай, что кто-то взобрался на колокольню. Во избежание неприятностей я сам просил о назначении стражи. Недели две тому назад мне пришлось пережить очень печальное

столкновение с вашим офицером. Дело было вечером, уже стемнело, вдруг врывается ко мне на квартиру офицер с револьвером в одной руке, с нагайкой — в другой и в сопровождении солдат.

« — Вы ксендз этого собора?

« — Я.

« — Вы сигнализируете огнем! Я застрелю вас!

И нацелился револьвером.

« — Господин офицер! Я не младенец. Меня запугать нельзя. Если вы имеете право и основание меня застрелить — стреляйте. Только я хотел бы знать, в чем дело?

« — Это мы сейчас увидим. За мной — на колокольню! Там сигнализируют.

« — Но этого быть не может. Ключи у меня, костел заперт. Наконец, повторяю вам, я не ребенок и не стал бы сигнализировать, сидя в городе, посреди ваших военных частей.

« — Марш на колокольню. За мной!

« — Я отворил собор и стал взбираться по лестнице, но почувствовал себя дурно.

« — Г. офицер, я не могу итти.

« — Нет, ты пойдешь!

« — Я старый человек. У меня слабое сердце. Я не могу.

« — Молчи!

«И снова направляет на меня револьвер, размахивая у меня над головой нагайкой.

« — Г. офицер! Я итти не могу... Не забывайте, что вы имеете дело со служителем церкви и с человеком культурным. Я два года обучался в Льеже — том самом Льеже, который варварски уничтожен швабами; два года — в Париже... Ведь вы имеете полную возможность приставить ко мне стражу, чтобы я не удрал, пока вы будете обыскивать собор.

«Офицер подумал и смягчился. Приставил ко мне двух

солдат, а с остальными полез на хоры и колокольню. Шарил часа два и, разумеется, ничего. Стал я его расспрашивать, и выяснилась очень простая вещь: мимо собора проезжал освещенный автомобиль и сквозь широкие оконные стекла фонари автомобиля осветили внутренность костела. Проезжавшему с другой стороны офицеру показалось, что это огненные вспышки, которые он принял за сигнализацию. Отсюда и весь сыр-бор загорелся. На другой день я поехал с жалобой к коменданту, полковнику Беру. Это — гуманная и весьма культурная личность. «Кильтуральный чло́вік!» — произнес несколько раз с ударением пан пробощ. Спрашивает меня: как фамилия офицера? какой части? Но разве я знаю? Человек грозит нагайкой и револьвером. Станет он при этом рекомендоваться?.. Обидно, что я совершенно не заслужил такого обращения. Да и подобает ли такой образ действий русскому офицеру? Ведь это не грубый шваб!»...

Когда ксендз высморкался, то под сводами точно загремела труба архангела. Ксендз аккуратно сложил батистовый платочек и продолжал:

— Заходил ко мне в собор один русский генерал и говорит: «Наши интересы солидарны. Наша победа есть ваша победа, победа Польши. Если мы были к вам несправедливы, то только по наущению и настоянию ваших теперешних союзников — пруссаков».

«И я скажу вам откровенно, что вполне разделяю точку зрения этого генерала. Злейший враг Польши — Пруссия. Надо знать ее так, как знаю ее я, чтобы почувствовать это со всей силой. Ведь Пруссия умышленно издевается над нами! Как? Быть владельцем земли и не иметь права строиться на ней. Быть гражданином страны, платить налоги, служить в армии — и быть лишенным возможности говорить на своем родном языке! Что можно придумать ужаснее и наглее подобной гражданской пытки? И будьте уверены, что мы, поляки, не питаем большой симпатии к Пруссии. До таких изде-

вательств над нами никогда Россия не доходила. Не говоря о том, что Россия нам просто близка по духу. Вот мы оба говорим на двух языках, но мы прекрасно понимаем друг друга. Это родство языков является лучшей гарантией близости духовной. А попробуйте столковаться со швабом.

«И сколько горя, сколько нищеты из-за этой проклятой войны. Приехал ко мне на-днях представитель варшавского комитета, просит об оказании помощи разоренцам из Царства Польского. Но откуда нам взять? Посмотрите на Тарнов: ведь тут повальная нищета. У меня было десять тысяч прихожан, а теперь едва три наберется. Все разбежались. Осталась одна беднота, да еще совершенно беспомощная. Мужья на войне, дома только дети и женщины. Позвали меня сегодня к больной. Прихожу. Муж убит на войне. Мать в постели. А детишки — мал-мала-меньше, пять душ. Дал я им три кроны. На долго ли хватит? На два-три дня. А дальше — голод и смерть. . .».

Когда мы вышли из собора, было уже темно. Но по улицам сновало еще множество еврейских детишек, оборванных и грязных, которые настойчиво предлагали прохожим пряники, булочки, какие-то подозрительные конфеты, папиросную бумагу, сыр, махорку, старые газеты, пуговицы, свечи, открытки, испорченные батареи и крашеные патроны. Старухи протягивали руку за подаянием. Те, которым удается выпросить несколько гривенников на покупку муки, завтра же из нищих превращаются в торговок и с той же настойчивостью, с какой сегодня просили милостыню, завтра будут навязывать прохожим свой товар. Улицы кишат нищими. «Жить нечем» — этой фразой по-польски преследуют офицеров десятки старых евреек и детишек.

. . . Вечеринка в полном разгаре. На-лицо все наши офицеры и множество гостей. Публика разбилась на три группы в трех комнатах. Большинство играет в карты. Центром

вниманья является Кордыш-Горецкий; разговоров он не любит, и весь его несложный словарь исчерпывается вне служебных отношений четырьмя выразительными словами: шикарно! шикардос! слабеджио! и пардонато. Во второй комнате собрались любители выпить. Отсюда поминутно выскакивает денщик Болконского, неуклюжий Момут, и растерянно докладывает скороговоркой заведующему хозяйством:

— Так что ошибка вышла, ваше благородие, стакан разбился.

— Как же он разбился?

— Так что я почти-что уронил его на землю.

В третьей комнате идет нескончаемый спор при участии Базунова, Кострова, Джапаридзе, Василенко и нескольких гостей. На этот раз застрельщиком выступил Медлявский.

— А ведь, знаете, Асеев ведь прав... Он только смелее многих...

— Дурак ваш Асеев! — резко вмешивается Джапаридзе. — По совести его бы надо под суд отдать.

— Нет, по совести говоря, за что его под суд?.. Вы только подумайте, из-за чего мы воюем? Отчего безропотно плетутся по колено в снегу обозы? Отчего бредут, спотыкаясь, раненые? Отчего покорно гниют и зябнут в окопах солдаты? Даже лошадь — и та вдруг ляжет — и ни с места! А мы, нехотя, против воли, зябнем, мерзнем, голодные, вшивые, раскалываем друг другу черепа, лезем на штыки и не выпускаем до самой смерти винтовки из коченеющих пальцев. Отчего?

— Отчего, отчего?.. От страха, — с оттенком брезгливой иронии в голосе говорит Базунов и, по обыкновению, пускается в язвительное резонерствование. — Вы думаете, когда солдаты прут друг на друга в штыковом бою, это делается из молодечества? Как бы не так! Это — храбрость отчаяния. Не пойдет — расстреляют, а пойдет — может быть уцелеет. Да он и не рассуждает. Страх подсказывает ему,

что надо повиноваться. Вы думаете, если у нас не стреляют свои же по отступающим из пулеметов, — все равно: каждый солдат постоянно чувствует за своей спиной наготове такой же пулемет.

— Совершенно согласен с вами, — сдержанно заявляет Василенко,—я всецело согласен с вами, Евгений Николаевич. Если б затратить одну десятую тех жизней, которые гибнут на войне, весь мир можно было бы перестроить совсем по-иному... Но у людей не хватает нужного мужества.

2.

Первому парку вместе с управлением приказано передвинуться в селение Рыглицы. Идем вдоль фронта по крутым подъемам и скатам Карпатского предгорья. Первые 5 верст— довольно сносные. Потом начинаются топи, измолотое шоссе, выбоины, засасывающие колеса и лошадей. Едем со скоростью двух верст в час местностью, напоминающей юго-западную часть Келецкой губернии, с холмами и крутыми провалами. Чем дальше на юг, тем выше холмы и громче удары пушек. Обычная человеческая жизнь, «штатское положение», как говорят солдаты, отходит куда-то в сторону, прячется; и начинается откровенный быт войны: ряды резервных окопов, земля, развороченная фугасами, каменные скелеты сожженных домов, группы пленных, уныло подгоняемых сзади, вперемежку с группами раненых, ковыляющих по колено в грязи, скрипучие артиллерийские возы, всадники, едущие с фуражировки и еле видные между двух вьюков сена, зарядные ящики, шестерики, выбивающиеся из сил, ядреная солдатская брань, хмурые, серые солдаты с винтовками и патронташем, бредущие на отдых с позиции или возвращающиеся с ночевки в окопы, и, наконец, стрекотание пулеметов и отчетливая пальба пачками.

Война, таинственная в тылу, для нас давно потеряла это свойство. Жажда волнующих настроений утоплена и исчер-

пана до дна. Чувствуешь только необходимость беспрерывно продвигаться вперед, жить готовым приказом, убивать понятия и желания, таящиеся где-то в глубине души, умалять до ничтожества свою личность и довольствоваться древними радостями человека, необходимыми нам по свойству нашей животной природы. Это не так ужасно, как кажется. Ломая инерцию привычки, человек легко приучается жить не думая. Смотришь сквозь пальцы на грабительскую работу солдат на стоянках. Какое нам дело до этой худой и слезливой бабы с подвязанной щекой, раздражающей нас своими плаксивыми причитаниями: чиста руина, хлеба нима, соли нима, люди знищенны...[1] Какое нам дело до этой группы грязных, оборванцев, в сапогах, обмотанных тряпками, бледных, измученных, которые называют себя изборским полком. Или что нам до того, что такая масса солдат без сапог, в одних портянках, шагает по холодной грязи? Разве мы сами не выбиваемся из сил, и ветер не сбивает нас с ног?

В два часа дня мы подъехали к Тухову, местечку, где накануне еще были австрийцы. Они установили свои орудия на горе, за костелом, и наши, обстреливая их позиции, совершенно разгромили местечко. Уцелели только костел, магистрат и аптека. Остальные здания сожжены и разбиты снарядами. Повсюду снесенные и развороченные крыши, высаженные рамы и двери, груды жести, камня и балок. Людей не видно. Лишь кое-где попадаются растерянные фигуры обывателей да мелькают военные санитары. Здесь помещаются санитарно-питательный пункт Государственной думы и два лазарета. Но едва мы устроили привал на краю дороги, в сравнительно уцелевшей хатке, как десятки детишек столпились вокруг нашей походной кухни. Они стояли с разинутыми ртами и жадно, как собачонки, набрасывались на каждый кусочек хлеба.

---

[1] Сплошное разорение, хлеба нет, соли нет, все обнищали.

Из Тухова двинулись в Седлиску. Дорога лежит через мост на реке Бяле. Но самый мост взорван, и переправляться приходится пониже, в стороне от насыпи, по очень топкому месту. Потянулись мучительные часы. Лошади валились в грязь и, обессиленные, надорванные, ни за что не хотели подняться. Кричали, били, подталкивали — не встают. Собралось десятка три понтонеров и принялись словесно подбадривать лошадей. Но и это не помогло. Упавших лошадей пришлось выпрячь и оставить, пока наберутся сил, в грязевой ванне. Только к вечеру дружными усилиями артиллерийских кнутов и понтонерских увещаний лошади были вытянуты из грязи, и мы двинулись дальше.

Едем где-то близ самого фронта. Щелкают ружейные выстрелы. Дзынкают пули.

Вечереет. Чем гуще тьма, тем злее солдатские слова.

— Говорят, царь в главнокомандующие хочет, — доносится злобно из темноты.

— Ага! Егория захотел, — поясняет другой голос.

— Кому что: царю Егория хочется, а царице Григория (Распутина)...

Проехали версты две и опять очутились в непролазной грязи. Темно. Дороги не знаем. Люди и лошади измучены. Решаем вернуться в Тухов и там дожидаться рассвета. Совершенно случайно в Тухове набрели на дряхлый домик, в котором одна половина — комната с кухней — отлично сохранилась. Выбиты только наружные стекла. Внутри тепло, уютно и чисто. Хозяйка, 67-летняя старушка, почему-то чрезвычайно обрадовалась нам, уступила нам все помещение, и только выпросила себе за гостеприимство свечку, так как ни в Тухове, ни в окрестностях ни свечей, ни керосину достать нельзя. Детей у нее нет; все близкие померли. С шести часов вечера ей приходилось оставаться одной впотьмах и молча прислушиваться к канонаде. О чем думает старушка в эти долгие сумеречные часы?

В десятом часу я был уже на ногах. Разбудил меня странный шум: суетились, кричали.

Выглянул на улицу: пожар. Горит потребительская лавка. Густые темные клубы дыма легко подымаются кверху и, чуть-чуть колеблемые ветром, колышатся, как черный султан, над домом. Пламя медленно расползается по дверям, по оконным рамам и ставням. Возле дома столпилась кучка солдат и равнодушно потягивает цыгарки.

— Может от папироски загорелось? — высказывает свои соображения один.

— Верно, не иначе, как от ней, — соглашаются другие.

— Может костер палили? — продолжает первый свои догадки.

— Искрой вдарило — и готово! — подтверждают хором другие.

Жители уцелевших домов испуганно суетятся.

— Яка біеда, яка біеда! — повторяет в страхе наша хозяйка. Ей кажется, что пламя сейчас перебросится на ее домик. Она рассыпается в жалобах, которых я понять не могу, и сердито упрекает за все несчастия «российско войско».

Я успокаиваю старушку и мимоходом делаю попытку «вразумить» ее.

— Напрасно вы гневаетесь, хозяйка, на наших жолнежей. Не нам воевать хотелось, а вашему Францу.

Старушка горячо возражает:

— Не, не, наш старушек нé хтцял войны. Цалэ нещѐнстье иде от Вильгельма прусскéго (нашему старичку не хотелось воевать, все зло от Вильгельма).

До выхода еще остается полчаса.

Заглядываю в разоренные дома. Везде навоз, так как большинство помещений превращено было нашими войсками в стойла. Кое-где разбитые шкафы, обломки посуды, кучи мерзлой картошки. Среди обгорелых камней и бревен валяют-

ся металлические части седел, телег, домашней утвари, швейных машин. Тут же помятые и закоптелые рукомойники, чайники, дверные ручки, гвозди, замки и масса патронов; целые пачки нераспечатанных патронов. Вероятно, солдаты, роясь в мусоре пожарища, клали все, что находили, в подсумки и для этого разгружали их от патронов.

Выступили в начале двенадцатого.

День был морозный, ясный. За ночь сковало лужи, и дорога плотной черной лентой вилась между гор, сверкающих белоснежной гладью. Несмотря на мороз, солнце грело как летом. Мы шли пешком в расстегнутых шинелях. Воздух, насыщенный озоном, опьянял как вино. Гулко перекатывались орудийные выстрелы. Четко потрескивали винтовки. Откуда-то из-за гор вылетело и повисло в солнечном воздухе молодецкое ура, повторенное стоголосым эхо и дружно подхваченное другими частями. Бросились в атаку? Или это вспомнилось сидящим в окопах, что сегодня 1-е января? Все равно. Горы, потрясенные новыми залпами, уже глотают и перекатывают с холма на холм другие звуки.

Мы весело подвигаемся вперед. С крутой вершины на фоне чернеющего леса виден Тухов с тонким шпилем уцелевшей костельной колокольни и красной ратушей. Особенно приветливо выступали сводчатые ворота чьей-то красивой виллы, казавшиеся издали входом в какой-то волшебный грот. В действительности внутри и около виллы расположился головной перевязочный пункт, где люди задыхались от вони и грязи и где в нетопленных комнатах на полу матрацы кишели вшами.

Но можно ли думать о вшах, о навозе, об изувеченных пальцах, когда кругом на сотни верст все горит таким великолепием? Когда и горы, и воздух, и могучие хвойные леса дышат неукротимой радостью жизни? Когда так возбуждающе... грохочут пушки, и высоко над головой, как царствен-

ная птица, в потоках света кружится с дробным жужжанием аэроплан?

Справа от дороги, почти не отставая от всех ее изгибов, долго путалась и кружилась узкая глубокая речка Бяла, которая, повернув под мостом, разлилась озерами по долине и побежала на запад.

Мы шли на юг. Дорога становилась все живописнее и круче. Точно из-под земли неожиданно вырастали одинокие хуторки. Журчали горные речки. Пыхтели и постукивали молотилки. Шипели и, сверкая, вертелись мельничные колеса. Над конскими трупами черною кружевною сетью кружились стаи ворон. И бодро грохотали горные пушки. Сколько раз видел я эти картины, и красота их все еще не исчерпана для меня.

Не доходя до Рыглицы повстречались мне два солдата Лохвицкого полка, корявые, хлипкие, низкорослые. Один с перевязанной рукой, второй — прихрамывает — ранен в ногу.

— Куда идете?

— В лазарет.

— Где ранены?

— Наши позиции верст двадцать отсюда.

— Каковы дела?

— Плохо.

— Чем плохо?

— Много нашего брата выбивает. Орудий у него без счету. А у нас одна горная батарея. Выпустит десять снарядов и замолчит. А он все шрапнелью кроет. В окопы не спрячешься. Потому земля у них там такая, что воды под ней много. Хоть высоко, а капнул на один штык лопатой — ключом бьет. И ночью уйти некуда. «Он» на ночь в халупы прячется, а наши халупы попалил. Утром видно, как «он» целыми взводами в окопы идет. Ну наши постреляют из пулеметов, а палить нечем: снарядов таких нет, чтобы палить.

— А пулеметов много у вас?

— Нет. Четыре австрийских пулемета: за Вислой отобрали. Да наш один. Только для нашего мало лент. А австрийские ленты не годятся: пуля вылетает, а патрон плющится и орудие портит. Мы его из четырех пулеметов, а у него всякого орудия больше тыщи. Совсем пропадать приходится. Больше половины из каждой роты выбито. Да ветры такие лютые, что страсть.

— А разве на неприятеля ветер не дует?

— Ему что? Он всю ночь в халупах прячется. Песни поет. Позиции наши на 400 шагов: каждое слово слышно. Начнешь стрелять, а он по-русски кричит:

«— Не стреляй, дурак. Много тебе земли надо?

— Пошли наши в секрет, а на том месте листы лежат. По-русски все писано: «Православные христиане! переходите до нас. У нас всего есть: и тепло, и пища, и всякие права. Варшаву вашу мы уже забрали, а теперь дальше идем...»

— Что оно такое — не знаем. Врут ли, нет ли?.. Прямо по-русски сказано: православные христиане!

— А в плен не сдаются австрийцы?

— Никак нет. Да они не австрийцы.

— А кто же?

— Манджары какие-то (мадьяры).

3.

В Рыглицу пришли часа в два. У входа в местечко стояла красивая молодая полька, лет семнадцати, и, улыбаясь, смотрела, как мы шагали по грязи, с трудом вытаскивая калоши.

— Далеко до местечка? — обратился я к ней.

— Да это и есть местечко.

— А квартиры свободные имеются?

— У нас стоят офицеры, все помещение занято. — Девушка кокетливо улыбалась, и улыбка ее как будто бы лука-

во добавила: «Я знаю, что тебе хочется поселиться поближе ко мне, но это тебе не удастся... Не удастся!»

Мы отошли. А девушка продолжала смотреть нам вслед с той же хмельной улыбкой на губах. И вид у нее был такой завоевательно-дерзкий, как будто не мы, а она вступала в завоеванный город. Может быть, она так же, как и мы, захмелела от солнечного света и горного воздуха?

Поселились мы — втроем с командиром — в просторной, опрятной комнате маленького мещанского домика. На стенах зеркала, картины, ковры; по углам мягкие кресла, на комоде безделушки, открытые письма, цветы, статуэтки, молитвенники, часы. Говорят, здесь жила учительница, которая уехала из Рыглицы с переходом местечка в наши руки. Но вещи ее и платья остались, и вся комната носит живой и уютный вид. Я затрудняюсь, однако, определить по обстановке и украшениям комнаты возраст хозяйки. Судя по старым истрепанным молитвенникам, это скорее старушка. О почтенном возрасте их обладательницы говорят и ветхие часы на комоде. В антикварной лавке за них уплатили бы большие деньги.

Вечером заглянул к нам главный врач Новиков вместе со священником и доктором Железняком. Новиков — толстый, огромный, прожорливый, с крошечным черепом хитрого пигмея. Младшие врачи изображают его каким-то чудовищем. Он позволяет себе самые гнусные вещи:

— Я могу вас заставить полы мыть, — кричит он им.

— По какому праву? — возмущаются младшие врачи.

— А вот! — указывает он торжественно на увесистый том дисциплинарных взысканий. — В этой книге все так написано, что я могу с вами сделать все, что мне вздумается.

Он почему-то считает себя либералом и потихоньку от врачей передает мне секретные приказы. Сегодня он всунул мне незаметно секретную телеграмму Радко-Дмитриева. Привожу ее целиком:

Телеграмма № 138.

31/XII, 12 ч. 20 м. пополуночи.

Начальник 33, 44, 70 пехотной дивизии.

Копия командиру 21 корпуса.

В последнее время противник, сознавая свое бессилие бороться с нами теми средствами, которые освящены обычаями честной войны, стал прибегать к приемам, недостойным благородного врага. К нам часто подбрасывают прокламации самого возмутительного содержания, приглашая наших доблестных воинов изменить долгу-присяги и сдаваться в плен, причем противник пользуется религиозной чувствительностью мусульман и национальными тенденциями поляков и даже святою преданностью русского человека к царю; пленным обещают всевозможные блага, стараясь прикрыть позор плена разными якобы гуманными идеями. Надеюсь, что этот подлый способ ведения войны врагом будет оценен нашими доблестными войсками по достоинству, и они ответят на него подобающим презрением. Прошу вас привлечь внимание офицеров на этот возмутительный способ действия неприятеля, дабы они путем беседы с нижними чинами разъясняли все лукавство врага и на всякие попытки подбрасывать в какой бы то ни было форме прокламации ответили энергичным действием, оружием пристреливая на месте всех тех перебежчиков и военнопленных противника, у коих будут найдены подобные прокламации. Разъяснить нижним чинам, что попавшим в плен ведется строгий учет и оценивается обстановка их пленения, а потому если бы, вопреки ожиданиям, нашелся способный соблазниться сдачей без сопротивления с оружием в руках до последней крайности, то такому чину не может быть возврата на родину.

811. Генерал *Радко-Дмитриев.*

Верно: штабс-капитан *Лауренц.*

Все время грохочет пушечная пальба. Протяжным рычанием разносятся выстрелы горных орудий. Изредка долетает с севера, вероятно, из-под Тарнова, глухое буханье тяжелых снарядов.

Приехал ординарец из Тарнова и передал, что по городу стреляли. Выпущено было восемь снарядов. Некоторыми из них разрушен вокзал. Штаб корпуса передвинулся: осколок снаряда упал возле почты. Над городом все время кружился

неприятельский аэроплан. Не выяснено, были ли это выстрелы из тяжелых орудий или бронированному автомобилю снова удалось, как в первый день нового года, прорваться сквозь нашу цепь.

4.

Ночь была беззвездная. Вместе с Виляновским и Василенко бродили мы по сонному местечку. Говорили о поляках и о польском вопросе. Рассказывали Виляновскому о встречах с ксендзами. Вспоминали слова Евгения Николаевича, что нет никакой черты, отделяющей Зап. Галицию от Царства Польского («что между ними границу провели, это пустяки»), что это один народ, живущий единообразной жизнью по обе стороны границы, и что никакими усилиями нельзя истребить в нем чувства единства. Виляновский понемногу таял. Стал рассказывать о волынских и подольских помещиках, которые поддерживают неослабную связь с Варшавой. Говорил о двух культурно-идейных центрах Польши: Варшаве и Кракове.

Незаметно мы перешли через мостик и очутились на окраине местечка, где расположились обозы. Перед нами развернулась картина, полная глубокого настроения. Неподвижно стояли темные очертания гор. В густом мраке, прорезанном огнями костров, шевелились и плавали людские тени. Фыркали лошади. Гремел по камням ручей. Пугливо вздрагивал воздух от орудийных залпов. То тут, то там обрисовывались отдельные возы, конские морды и серые солдатские группы, выхваченные пламенем из темноты. Мы подошли к костру. На большой охапке сена, завернувшись в шинели, дремали два бородатых солдата, а над головами у них кружили тысячи искр. Трое других сидели на корточках вокруг костра. Четвертый поддерживал огонь, подкладывая заборные колья, и оживленно рассказывал:

— Только мы разгрузились и отъехали с полверсты, —

как затрохотало и прямо через дорогу бухнуло. Ну, ладно. Едем мы дальше. А оно опять как загудит: будто под нашими ногами. Глянули, а уж на вокзале что-то горит. Ну, ладно. Узнали, куда попало, и дальше. Так четыре раза оно гряхнуло, и от разу до разу минут по двадцать. Два снаряда через дорогу перелетели, а двумя в вокзал попало. После сказывали, он по городу стрелять начал. Только нам уж не видать было.

Слушали, молчали.

Подошел бородатый солдат, покряхтел и неопределенно бросил в пространство:

— Хорошо бы полежать у огня.

— Ложись, где снегу побольше: мягче бокам будет, — шутливо ответил голос из темноты.

Подходили другие солдаты, с тяжелыми бревнами на плечах, складывали у костра свои ноши и молча смотрели в темноту, где огненными волнами колыхались такие же костры, вокруг которых сидели такие же бородатые фигуры. Вдруг, щемя и волнуя, поплыла печальная песня:

Ой не спится в ночь осеннюю,
Льются слезы, слезы частые,
Подкатилось горе лютое,
Подкатилось, присосалося.
Сирота ль ты, сиротинушка,
Горемычная головушка,
Да ты спой-ка с горя песенку
Про житье свое военное.
Не крута гора, не горушка,
Ты тяжка-высока крученька;
Середь поля-долу чистого
Из костей мужицких выросла,
Где катилась речка малая,
Берег с берегом не сходится:
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью русскою,
Кровью русскою солдатскою.

Уж ты смой, вода студеная,
Ты стуши нам раны жгучие,
Припокровь, сосна зеленая,
Ты головушки победные.

Пение оборвалось. Раздался внезапный треск: это осел домик, откуда таскали бревна.

Фыркали лошади. Гремел ручей. Чутко вздрагивал воздух, сотрясаемый тяжелыми выстрелами.

Углубясь в темноту, Василенко тихо заговорил, как бы думая вслух:

— Почему-то эта картина переносит меня к австрийцам. Когда рассматриваешь австрийские окопы, невольно бросается в глаза их основательность и прочность. Я даже сказал бы, если бы это не звучало кощунством, их любовь к труду и культуре... Там, на Западе, все с точностью измерено, вычислено и приведено в ясность, а у нас все беззаботно, лениво и по-чеховски грустно, как эти великолепные ночные узоры. Там — военная четкость, дисциплина, биваки, а у нас халатность, костры и ленивый чумацкий табор. Там — твердое желание воевать, а у нас — мечтательность, пение и тоска... Кто ж победит в неравном споре.

5.

С раннего утра грохочет горная артиллерия. Позиции как будто придвинулись ближе. От каждого удара вздрагивают оконные стекла и отчетливее слышны разрывы. Из-за гор долетает урывками ружейная трескотня. С каждой минутой я все больше вживаюсь в быт войны. Знаю, что где-то за горами, окружающими наше крохотное местечко, тянутся грязные дороги, соединяющие нас с остальным миром. Но с каждым днем эта связь становится призрачнее.

... Сеет мелкий осенний дождь. Небо обложено влажными тучами. Холодный ветер мечется из стороны в сторону и,

подхватывая отдельные выстрелы, перекатывает их с ревом по холмам. Завтра с утра Василенко собирается уезжать.

За обедом были интересные разговоры о причинах войны, о роли Англии, о возможном исходе, о немцах. Дельно и хорошо говорил Василенко. Он многое выяснил нашим офицерам. Те слушали его с большим интересом и горячо благодарили за сообщенные сведения.

Поводом к беседе послужил спор между Джапаридзе и Костровым: к кому присоединится Италия? Василенко доказывал, что морская и колониальная политика Италии находится в противоречии с интересами Англии и толкает ее в сторону тройственного союза. А континентальные соображения диктуют ей дружбу с Францией и Россией. Вследствие этого Италия до последней минуты будет стараться держать нейтралитет, оказывая в то же время политические и экономические услуги Германии. Много говорилось также о роли Америки, Японии и Китая.

Прощались тепло. Джапаридзе сказал с кавказской экспрессией:

— Когда дома остаются такие люди, как вы, то нам здесь не страшно воевать. Просим вас почаще заглядывать к нам. Если война затянется — непременно приезжайте.

На дворе темно, дождливо, грязно. Шумят ручьи, сбегающие с гор. Грохочут орудия. Посреди улицы образовались колоссальные лужи.

В комнате уютно, тепло. Не хочется ни говорить, ни думать.

Расхаживаю молча из угла в угол и слушаю, как Евгений Николаевич фрондирует по адресу Брусилова:

— Надо взять под уздцы Брусилова. Это он все зарывается. На кой чорт мы полезли сюда? . .

Слова не доходят до сознания. Я мотаюсь по комнате, ловлю бессознательно удары орудий и жду наступления вечера. Я знаю, что в этом теперь будет заключаться вся моя жизнь в Рыглицах: днем я буду ждать ночи, а ночью наступления дня.

За ужином адъютант рассказал о суде над «шпионом». Несколько солдат задержали на позициях человека с бомбами в руках. Доставили его в штаб корпуса. На допросе выяснилось, что он австрийский солдат. По его словам, он лежал в русском госпитале, куда попал после боя. Потом его выписали и отпустили. Выдали ему штатское платье. Надумал бежать. Набрел на наши позиции. Увидел бомбы и взял, чтобы отнести своему офицеру, но был схвачен.

Так как не было никаких улик, на основании которых можно было думать, что он собирался кому-либо причинить вред своими бомбами, и бомбы, действительно, были русские, австрийца оправдали и приказали доставить его в качестве военнопленного в штаб дивизии. По дороге он был убит казаком, которому надоело с ним возиться.

. . . Прибыл последний эшелон 1-го парка (он тоже шел через Кельцы). Ему приказано расположиться в двух верстах от Тарнова — в деревне Воля Рженьдинска. 2-й парк по предписанию из штаба попрежнему остается в Тарнове. Не взирая на это распоряжение, Базунов настаивает на переходе 2-го парка в Шинвальд, так как иначе, по его мнению, парк неминуемо будет взорван.

Вообще, настроение у всех довольно унылое. Жалуются на плохие дела и повторяют в один голос, что не видят основания, почему бы им стать лучше. Шесть месяцев немцы сидят на чужой земле, и ни у нас, ни на Западе нет никакой возможности не то что прогнать их, а с места сдвинуть. За эти шесть месяцев они настроили грандиозных укреплений, наготовили новых орудий, быть может, даже перевооружили

свои суда такими пушками, которых нет у англичан; и будут дальше вести войну с таким же упорством, с каким вели до сих пор. Кто знает, не разгромят ли они скоро английский флот? А раз прекратится морская блокада Германии, она станет непобедимой. Очень возможно, что Австрия и Турция будут разгромлены, но Германия от этого нисколько не пострадает, скорей даже останется в выигрыше. Она расширит свои владения за счет этих государств и включит в состав своей территории Тироль, Моравию, Чехию и т. д.

На питательном пункте в Тухове имеются какие-то сановные сестры. С их слов передают, что до февраля не предвидится никаких перемен: война будет оставаться позиционной. Среди высшего командного состава, говорят офицеры, существует твердое убеждение, что война будет длиться еще долго, но никак не дольше осени.

День чудесный. Встал в семь часов. Морозно, безветрено. На небе ни облачка. В десять часов подали телегу, и мы поехали с Евгением Николаевичем в ближайший лес. В лесу, расположенном на горе, пахнет ранней весной. Всюду молодые, зеленые побеги. Весело пружинятся папоротники. Распускаются ранние маргаритки. Расправила листочки прошлогодняя земляника. Низко стелется по земле широкими зелеными листьями дикая малина. Много зеленой хвои. Ярко сверкают на солнце белыми стволами березы. В лесу тепло, пахнет свежей травой. Сейчас же за лесом — окопы, залитые водой и наполовину разрушенные снарядами. Тут же валяются осколки немецких снарядов, неразорвавшиеся шрапнельные стаканы и множество наших патронов.

С горы за лесом далеко открываются Карпаты. Высокие холмистые склоны лишь в немногих местах еще покрыты снежными плешами. Всюду зеленеет трава, голубоватым куревом окружены деревья, весело дымятся трубы домов, разбросанных в одиночку по всем концам. Даже гро-

хотанье пушек разносится радостными раскатами по горам. Слышится отчетливое хлопание орудия, звонкий полет ядра, похожий на вспышку огромного фейерверка, и оглушительный грохот. Но на душе спокойно, весело. Кажется, если бы снаряд разорвался у самых ног, радостное возбуждение нисколько б не изменилось. Горный воздух и теплое, весеннее солнце наполняют жилы неукротимой отвагой, и хочется петь, улыбаться и кричать навстречу синему небу и ласковым солнечным лучам.

Спускаясь с горы, мы остановились у небольшой усадьбы. Здесь живут две молодые монахини, — молчаливые, спокойные в белоснежных косынках (velum) — сестра Леонтина и сестра Иордáна. Солдаты почтительно отзывались об их храбрости. Говорят, снаряды разрывались над усадьбой, в соседнем домишке полопались стекла, а они спокойно сидели на крылечке. С ними поселились в усадьбе два обозных офицера и очень довольны их гостеприимством.

Не успели мы отъехать от усадьбы монахинь, как послышалось дробное постукиванье аэроплана. Прямо над нами, сверкая ярко окрашенными концами желтых крыльев, плавно кружился австрийский биплан. А вправо, повыше, как большой коршун, распластался в воздухе черный германский моноплан. Оба летели в сторону вражеских позиций, изучая, повидимому, сверху расположение наших резервов. Вдруг биплан стал круто спускаться. Заблистали желтые крылья. Сверкнули красные круги. Воздух наполнился громким жужжанием мотора.

— Бросил, бросил, — закричали солдаты.

Видно было, как с аэроплана полетел какой-то сверток и медленно рассыпался в воздухе белыми сверкающими пятнами.

— Листки, — сказал кто-то из солдат.

— Прокламации, — подтвердил офицер.

Минуту спустя, биплан уже реял чуть заметной точкой.

6.

Второй день Тарнов с окрестностями обстреливается из 42-сантиметровых орудий. По счастливой случайности повреждения от снарядов чрезвычайно ничтожны. За обедом получено следующее донесение командира 2-го парка:

Сегодня около 4-х часов дня в 10 — 15 саженях от парка упал и взорвался неприятельский снаряд весьма крупного калибра. Благодаря тому, что парк был защищен двухэтажным зданием, поражений осколками не было, за исключением одной взводной повозки, в которой разбит бок; люди и лошади были в это время в парке, где происходила вечерняя уборка, и благодаря этому, кажется, потерь в людях и лошадях не было. Переклички еще не делал, поэтому утверждать не могу. Выяснив, донесу. В силу того, что имею предписание штаба корпуса, в случае обстрела парка немедленно перейти, — я перешел в деревню Ладна, на старый бивак, где жду ваших распоряжений. Шт.-кап. *Пятницкий.*

Ординарец, привезший донесение, передает, что в городе началась невообразимая паника. Каменный двухэтажный домик впереди парка разрушен. В нем погибло семь человек — евреев. Говорят, внизу в сарае находилась свинья. Сотрясением воздуха ее перенесло на крышу соседнего дома, но не убило. На следующий день стрельба по Тарнову повторилась. Было выпущено четыре или пять снарядов в районе вокзала и центральных улиц. «По слухам» земечена была сигнализация с купола синагоги. Арестовано несколько евреев, президент магистрата и два поляка. С трех часов канонада утихла. Дорога подмерзла. К вечеру наступила мертвая тишина. Местечко как будто вымерло. Кое-где мерцают в домиках тусклые огоньки. Угрюмо затихли горы, и странным, загадочным кажется это молчание после недавней канонады. Офицеры с изумлением спрашивают друг друга: отчего не стреляют? Не подготовляется ли ими прорыв?

Рано разошлись по домам, рано легли в постели. Всю ночь душили кошмары. Снились мне какие-то скрюченные трупы, непролазные дороги, стрельба. Но, когда я просыпался, по-

прежнему царила мертвая тишина. В пять часов утра я оделся и вышел. Падал снег. Вся земля и горы, и крыши, и деревья были покрыты белым ковром. Почва подмерзла, и вчерашняя грязь затвердела, как камень. Только шесть-семь часов назад все кругом увязало в непролазных болотах. Грузли зарядные ящики, повозки, лошади. Люди выбивались из сил, чтобы восстановить движение по раскисшим дорогам. Но огромные колдобины и лужи немедленно всасывали бревна, камни, землю, вязки, лозы, хвойные настилки, и по всем направлениям попрежнему тянулась одна сплошная непобедимая жидкая трясина. И вот пришел пятиградусный мороз, дохнул, пронесся холодным ветром и сковал размякшую землю, перекрыл из конца в конец огромным, прочным, устойчивым мостом.

Я шел по дороге. В морозном воздухе гулко разносились мои шаги. Никто не окликал меня в темноте. Ни на площади, ни у парков не было ни одного часового. И мне самому ни на минуту не приходило в голову, что мы в неприятельской стране, что в нескольких километрах от нас расположены неприятельские части, что австрийские разъезды и австрийские разведчики-шпионы шныряют по всем направлениям и каждое мгновение могут взорвать на воздух и нас, и наши парки, и всю безмятежно спящую деревушку с нашими войсками. Быть может, это молчание было тайным и бессознательным перемирием. И если бы я тут же повстречался с вооруженным австрийцем, мы, вероятно, оба спокойно прошли бы мимо. Долго бродил я по дороге без цели, без мыслей и, придя к себе, уснул крепким сном.

Проснулся в начале одиннадцатого. На столе лежала книга приказов. Между прочим приказ генерала Иванова о шпионах-евреях. Раз пускаются в ход приказы об еврейских шпионах, значит где-то, без сомнения, завелась сильная червоточина и прикрыть ее надо испытанной заплатой — еврейским шпионажем. Старые «козлы отпущения» извлекаются

из старых средневековых могил без отвращения, несмотря на то, что они насквозь прогнили. Напрасный труд. В мирное время это, пожалуй, еще вполне пригодный политический громоотвод, привлекающий к евреям молнии народного гнева. Но на войне с такими аргументами далеко не уйдешь, и самая свирепая, самая убийственная антисемитская декларация не в состоянии заменить ни одного пулемета.

Пробую заговорить на эту тему с Базуновым, — конечно, дипломатически отмалчивается.

После обеда меня позвали наши солдаты к больной еврейке.

— А что с ней? — спрашиваю фельдшера Шалду.

— Родители жалуются: не в своем уме — говорят. А между прочим, что с ней — неизвестно.

Вошли. Грязное помещение. Налево — офицерская лошадь. Потом тесные, заваленные балками сени. Направо — низкая комната, в которой помещаются три солдата, молодой еврей в долгополом платье, старуха мать и на широкой кровати — молодая бледная женщина, лет двадцати пяти. Лицо изможденное, печальное, но довольно красивое. Черные волосы красиво убраны. На теле чистая, но ветхая рубашка, расстегнутая на груди. Грудь тощая, кожа чистая, белая, без расчесов.

— Что с вами? — спрашиваю я больную.

— Я несчастна. Жила в Германии. Меня вытребовали телеграммой от имени матери. Приехала я сюда. А тут холодно, грязно, нищета. Эта женщина называет себя моей матерью. Но разве стала бы мать так мучить свое родное дитя? А этот пан выдает себя за моего брата. На самом деле он хочет меня извести, чтобы поселить здесь потом свою жену.

— Но если здесь холодно и грязно, к чему этому пану помещать свою жену?

— Не знаю. Я несчастна. Меня кормят чем-то соленым

и содой. И надели на меня платье, которое обжигает меня электричеством. Они всем говорят, что я сумасшедшая. Но спросите ваших солдат, сказала ли я хоть одно неразумное слово? Они уложили меня в постель, чтобы я не распутничала. Но разве я потаскушка? Я честная девушка. Жила скромно, никого не знала. Я очень несчастна; очень, очень несчастна. Пусть скажут ваши солдаты.

— Так точно, — поспешно заявляет один солдат. — Они мне рассказывали о земле и о небе — так куда: я того не знаю, что они знают. Они очень образованные. Когда я уезжал в Тарнов, они мне сказали: желаю вам счастливой пути. А когда приехал я на другой день, так они засмеялись мне в окошко: вот видите я вам пожелала счастливой пути, с вами ничего и не случилось. Ну, а мать за это осерчала на них. Молоко пробовал, что им дают: — сладкое; а они говорят: соленое. Только, может быть, как я выйду, действительно соли подсыпают.

Мать и брат начинают плакать. Я обращаюсь к ним:

— Расскажите, в чем дело?

Мать всхлипывает, передает:

— Мы были очень богаты. У нас было два дома и больше, как 50 000 гульденов. Муж помер, и мы совсем стали нищие. А дочь моя была в Пруссах. Мы написали ей: приезжай домой. Она приехала, увидала, какие мы нищие сделались, и от горя ума лишилась. Все плачет с тех пор, жалуется, что она несчастна, и кричит, что я ей не мать.

— Разве это не мать вам? — обращаюсь я к больной.

— Мать, — говорит она печально. — Но раз она меня так мучает, то я думаю: не может родная мать так мучить своего родного ребенка. Я очень несчастна.

— Конечно, это ваша мать. Вы видите, как она горько плачет? Ее материнскому сердцу больно, что родная дочь отрекается от нее.

Мать заливается слезами. Брат — тоже. Я говорю больной:

— Вы будете принимать лекарства, которые я пропишу вам?

Она мягко улыбается и говорит, краснея:

— Я простая, бедная девушка. Если такой знатный господин навестил меня в моей нищете и говорит, что я хворая, то я, конечно, выпью лекарство. Но к чему?

— Пейте лекарство, и вам веселее будет. Вы такая молодая, красивая. Пейте лекарство: и вам, и матери вашей легче будет.

— Нет, я уже отсюда не выйду. Они меня замучают. Я прошу: отпустите меня в Америку или в Пруссию. Но они не хотят. Они меня мучают. Я очень несчастна.

— За что они вас мучают?

Больная резко приподымается с постели, смотрит на меня испуганными глазами и произносит сдавленным шопотом:

— За то, что я... жидовка.

За обедом явился юный прапорщик из 2-й батареи нашей бригады, по фамилии Кучмин. Он был ранен в ногу (случайно, выстрелом из револьвера), лечился в Буске и подъехал с нашим первым парком до Тарнова.

Пригласили к обеду. Стал рассказывать об обстреле Тарнова.

Говорит, что стреляют из 16-дюймового орудия.

— Почему вы так думаете?

— Очень просто. Точно из таких же орудий нас обстреливали, когда мы были под Краковом. Там меня и капитана Карпенко оглушило таким снарядом. Снаряд упал в пяти саженях от нас. Мы упали навзничь, головой вперед, и я почувствовал, как меня тянет в воронку. Встал как ни в чем не бывало. Впереди — огромная яма, целая канава. Кру-

гом все живы, только попадали наземь. А саженях в 80-ти в пехотных окопах оказались раненые осколками. Снаряд весом в 47 пудов летит со страшным грохотом высоко вверх и рвется широким веером. В Тарнове я видал воронку, вырытую таким же снарядом: 5 саженей ширины и в 6 аршин глубиною.

Во время обеда пришел Кромсаков — прапорщик двадцати трех лет, член киевского атлетического клуба. Статный, крепкий, веселый с повадками трактирного остроумца.

Был адъютантом нашей артиллерийской бригады, но за самовольную отлучку на пять дней в Тарнов разжалован в обозные. Теперь живет у монахинь с товарищем и лечится от последствий тарновского гульбища. Очень забавно говорит о польской религиозности.

— Везде у них понаставлены идолы. И с такими ужасными лицами, что дьяволу впору, а не святым угодникам.

«А тут, недалеко от Рыглицы под Шинвальдом, на перекрестке, сидит в часовне компания святых, один так руку поднял, как будто по банку хлопнуть собирается.

«Жил я у одного здешнего мужика: старый, больной, жрать нечего, а каждые полчаса на колени бухается.

«Оттого они и голодные, что только богу молятся и костелы строят. В каждой деревушке у них костел, да еще какой богатый, — с двумя ксендзами. Сами с голоду пухнут, а у ксендзов тройные подбородки и шелковые сутаны.

«Вообще, низкопоклонство у польских крестьян ужасное. Лижут руки как собаки. В одной хате шестнадцатилетняя девчурка — хорошенькая, прелесть, — потянулась к моей руке! Я ей, шутя, щеку подставил, а она в щеку чмок... Чорт ее знает. Что я — святой?»

У Кромсакова красный темляк и два Георгия. Но он както удивительно небрежно говорит о наградах.

— Конечно, всякому Георгия заработать хочется. Но в

конце концов это пустяки. Все от того зависит, как написать. Где командир умеет расписать, там и сыплются Георгии. А может ничего того и не было, что написано командиром... Вот вы мне лучше помогите подпрапорщика выкурить. Поселился он рядом с нами у монашек и только мешает. Прихожу я к нему сегодня:

« — Убирайтесь-ка вон отсюда. Вы, мол, дисциплины не знаете, в моем присутствии курите.

« — Никак нет, — отвечает, — как же я дисциплины не знаю, если я первый, можно сказать, по чинопочитанию во всем Бендерском полку. Я чинопочитание даже очень знаю.

«И не уходит. Хоть тащи его за шиворот — не иначе».

7.

Вечером все вместе пошли в гости в дивизионный лазарет, к докторам. Живут они в доме ксендзов, которые отвели им две комнаты. В комнате ординаторов застал младшего ксендза, — викария, — молодого, белокурого, в очках, лет двадцати пяти. Зовут его Марьян Габэла. Лицо бледное, добродушное, мягкое. Сразу располагает к себе и внушает доверие. Кажется, — искренне верующий. Пытается говорить по-русски. Отношения с врачами товарищеские.

Шутят, смеются, похлопывают друг друга по спине, борются, говорят друг другу в лицо печальные истины. Доктора спокойно иронизируют. Молодой ксендз легко горячится и впадает в патетический тон.

— Когда вы в первый раз шли под Краков, — говорит он, волнуясь, — все население Галиции приветствовало вас. Вы забирали скот, лошадей, овес, сено, хлеб. Это было тяжело. Но вы относились к нам хорошо. Мы понимали: война есть война. Не станете же вы возить с собой сено и мясо, когда все это можно достать в Галиции. И мы давали, а вы за все платили.

«Теперь вы все превратились в грабителей и мародеров.

Вы забираете последнюю корову и обрекаете на голодную смерть несчастных малюток. Посмотрите на наших детей: они бродят как тени,—голодные, тощие, бессильные. Они тают на наших глазах—и мы не в силах помочь им. Вы вырываете у них изо рта последнюю корку хлеба. Вы издеваетесь над нами. На моих глазах вчера солдаты ваши взяли пару волов и предлагали за них сто рублей. Мужик заплакал: бога вы не боитесь. Тогда солдаты ударили его по лицу и угнали волов, ничего не заплатив. Вся Галиция содрогается при мысли, что вы можете победить. День вашей окончательной победы будет днем революции в Галиции. Вас ненавидят теперь все слои населения. Вы поступаете, как лютые звери. В Дембице ваши солдаты изнасиловали шестьдесят девушек. Это не слухи. Их привезли в Тарнов для освидетельствования, и позор их удостоверен вашими же врачами. У нас в Рыглицах десять солдат в течение ночи насиловали 32-летнюю женщину, к утру она умерла, замученная ими. А вот уже подлинное варварство, от которого пахнет чистейшим гунном: в пяти верстах отсюда ваши солдаты изнасиловали 60-летнюю старуху!»...

У ксендза выступают слезы на глазах. Доктора, чтобы рассеять неловкость, отшучиваются:

— Как бы там ни было, а победа останется за нами.

— Кто знает? — уже шутливо в тон им отвечает ксендз. — Был я сегодня в Тухове. Рассказывали мне там, что наши пошли в атаку и захватили батальон ваших новобранцев.

— Держи карман, пан викарий, — смеются доктора. — Это ваши все в плен сдаются.

— Сдавались, а теперь конец. Больше на это не надейтесь.

Я оставил пикирующихся докторов и пошел на другую половину — к пану пробощу. Я сразу узнал его: это тот самый ксендз, которого мы повстречали два дня назад при

входе в костел. Личность чрезвычайно интересная. Тип — иезуитского ксендза старинного склада: нервный, умный, насмешливый, превосходный спорщик и талантливый актер. У него прекрасно-наметавшийся глаз, сразу приценивающийся к собеседнику. Беседовать с ним — громадное наслаждение. Ни одной ложной интонации, ни одного фальшивого звука вы не услышите от него. Говорит он уверенно, ярко, как искусный оратор. И кажется, что курчавая, черная, чуть посеребренная сединой голова его битком набита интересными мыслями.

В разговор он берет человека сразу, психологически оглушает его, так сказать, своей неожиданной прямотой, в которой все великолепно обдумано и рассчитано.

Едва я вошел к нему, он обшарил меня своими живыми, блестящими, черными глазами с головы до ног и, вежливо сгибаясь, сказал густым, приятным, ласковым баритоном:

— В Кракове есть комендант, полковник Альбори, командир 2-го гвардейского корпуса. Если бы вас поставить рядом с ним, то родная мать не отличила бы, который из вас обоих ее сын. Вы итальянец, конечно?

Ксендз перехватил мою улыбку, отразил ее в собственных глазах и продолжал с эффектной торжественностью:

— Быть может, вы сами того не знаете. Но ваш римский профиль раскрывает ваше происхождение, под платьем русского капитана. Кто знает, не потомок ли вы одного из тех воинов, которые под командой Юлия Цезаря истребляли белокурых германских варваров? Или, может быть, предки ваши произносили зажигательные речи к народу на римском форуме? Вы не чувствуете их присутствия в себе в настоящую минуту?

— Итальянец я или нет, пане ксендже пробощ, я обладаю римским носом и профилем на законном основании. Но откуда у вас, скромного галицийского служителя церкви, облик и темперамент испанского тореадора?

Ксендз мечтательно посмотрел на меня, и, точно доверяя мне сокровеннейшую тайну, сказал с подчеркнутой искренностью в тоне:

— Меня зовут Якуб Вырва, и предки мои все Вырвы — чистейшие поляки. Но в числе моих прабабок имеется одна «жидувка» — крещеная еврейка, в жилах которой, весьма возможно, текла испанская кровь.

— Так что, кто знает, пане Вырва, — быть может, вы не только духовный сын, но и прямой наследник одного из князей святейшей инквизиции? В настоящую минуту вы не чувствуете ли в себе присутствия ядовитого духа святейшего инквизитора Торквемады?

— Пан капитан смеется. А я скажу вам, что дух Торквемады господствует теперь над всем миром. Вся Европа видит дурные сны, которые навеяны инквизиционными ужасами древнейших времен. И сны эти хуже самой мрачной действительности. С тех пор, как началась эта проклятая война, я точно чувствую себя укушенным ядовитой ехидной. По утрам, когда я встаю, я избегаю смотреть на себя в зеркало. Мне стыдно смотреть себе в глаза. Я спрашиваю себя: в какие времена мы живем? Кто мы? — монгольская орда? язычники? варвары? И это называется культурой? Для чего же все исторические, политические и религиозные жертвы? Куда девались все бескорыстные служители идеалов? Где принципы 30-го, 48-го года? Для чего были пролиты потоки лучшей человеческой крови во имя свободы, гуманности и братства? Что же, стало быть, цивилизация, — это только завоевательные наклонности, захват, коварство и взаимное истребление? До чего дошел мир, если от интеллигентных людей ежедневно, ежеминутно слышишь: «О, это культурная нация! Посмотрите, какая у них армия, какой флот!»

«Символ современной культурности — скорострельная пушка!

«Сотни и тысячи лет стоит мир, сотни лет человечеству

проповедуют о боге, о справедливости, о любви, а в результате — пушки, мортиры, пулеметы. Деньги, взятые с нищих и голодных, под видом налогов и податей, — превращают в чудовищные снаряды для истребления таких же нищих и таких же голодных, но одетых не в синие, а в серые шинели. Каждому хочется других заставить, принудить, запугать. Для этого люди врываются в чужие города, превращают костелы и училища в конюшни, обрекают на голодное умирание крошечных детей и с утра до ночи сотрясают леса и горы грохотом пушек. А вы пробовали подсчитать, во что обходится миру один день такой канонады? Я подсчитал. И я скажу вам, что денег, растрачиваемых воюющими державами на море и на суше в течение одних только суток, хватило бы на покрытие школами, библиотеками и приютами всей Галиции. Пусть люди перестанут стрелять друг в друга, и деньги, расходуемые на снаряды и пули, превратят в полезные знания, на защиту угнетенных и слабых, — и тогда на земле тотчас же настанут блаженные времена; воцарится тот золотой век, о котором мечтают все религии мира».

И вдруг, уставившись на меня с таким выражением, как будто он обращался ко мне за окончательным разрешением всех сомнений, сменив восторженный тон на будничный и чрезвычайно смиренный, он осторожно бросил:

— Согласны вы со мной, пан капитан?

— Во-первых, я не капитан, а доктор; а во-вторых... во-вторых, почему вы знаете: может быть, мы оттого и воюем с вами, представителями скорострельной культуры, что перед миром вдруг обнаружились с такой мучительной фальшью разрушительные и разлагающие силы милитаризма? — Если вы сами, будучи служителями церкви, уже не верите больше, что людям дано укрепляться духом в страдании, то не значит ли это, что старая вера умерла? Что среди разрушительных элементов старой культуры зреют какие-то новые семена? Что люди предчувствуют не-

что новое, во имя которого стоит проливать потоки человеческой крови...

Я вдруг остановился. Ксендз смотрел на меня злыми иронническими глазми и громко, язвительно, откровенно хохотал мне в лицо. Но тут же, вежливо изогнувшись, он заговорил с прежней страстностью:

— Так вот что означает это избиение младенцев и насилование старух? Насаждение новой культуры! Так! И это вы, русские капитаны и русские полковники, в союзе с русским казачеством несете Германии и Австрии свет истины? Извините, пан доктор! Я знаю: в России есть много благородных и высоко образованных людей. Вы очень талантливы от природы. Но ведь вы еще обретаетесь в зародыше. По сравнению с нами вы — дикари, вы — варвары! Вы не доросли еще до грязной, изношенной обуви на наших ногах. Вы барахтаетесь еще в тине татарского невежества. Я расскажу вам небольшой эпизод. Пусть это останется между нами. С месяц назад у меня остановился проездом один очень известный ваш генерал. Мы разговорились, разоткровенничались. И вот я обратился к нему с откровенным вопросом: отчего вы не строите школ в России? Отчего не даете вы просвещения вашему умному, крепкому, но такому еще темному народу? Знаете, что он мне ответил? — «И Вавилон, и Греция, и Римская империя, — заявил он с величайшим апломбом, — были счастливы и могущественны лишь до тех пор, пока просвещение не коснулось низов. Дорога к потрясению государственной мощи лежит через народную школу. И доколе мы в силах, мы постараемся уберечь наш народ от ваших европейских бацилл».

«Вы понимаете, пан доктор, что я далек от желания уподобить вас этому генералу. Но поверьте, много еще русских ученых, писателей и бунтарей разобьют себе головы о медные лбы ваших Пуришкевичей. Да и что все ваши отрицатели, нигилисты, журналисты, либералы, скептики, социа-

листы по сравнению с этой генеральской твердыней? . . Вся Россия, это — тюрьма. Замкнутая, заколоченная, без света. Где люди сплотились и доросли до силы каменной глыбы, но еще не доросли до понимания простейших человеческих истин.

«Когда я слушал рассуждения вашего генерала о судьбах Вавилона и Греции, я — признаюсь вам откровенно — думал: и эти господа сулят нам освобождение Польши! Нет, т а к о г о о с в о б о ж д е н и я нам не надо. . .

«Не спорьте, пан доктор! Вы сами понимаете, что это так. Ведь у себя на родине вы не осмелитесь высказать и половины тех мыслей, которые бродят у вас в голове. Какой ужас — сдавленная мысль; мысль, умерщвленная во чреве. Ведь мысль это все; это — созидающая сила вселенной. Люди в отдельности смотрят врозь; сталкиваются, сшибаются, распинают один другого в муках. А мысль, рожденная в этих распрях, творит и учит мир соединяться воедино в любви и братстве. Человек, одетый в форму русского капитана, приходит в качестве завоевателя к другому, одетому в сутану ксендза, а мысль, просвечивающая в каждой фразе, подсказывает обоим с ясной улыбкой, что они совсем не враги; что, быть может, ближе друг другу, чем люди, связанные кровными узами. Не так ли, пан доктор?»

— Вы очень верно судите и чувствуете, пан каноник. Ваши мысли единят вас с лучшими людьми моей родины. Но не старайтесь же затушевать основу вопроса. Ведь именно ваша Европа не верит ни этому благородству, ни этому великодушию. Она верит только в могущество капитала и пушек. К этой заветной цели она движется твердо и неустанно, пуская в ход бесчестность, коварство, истребительные машины и беспощадную ненависть. И надо же положить конец этому новейшему варварству. . . Не так ли? . .

— О, конечно, пан доктор. Не думайте, что вы видите перед собою наивного поклонника Европы. Я ненавижу нем-

цев не меньше, чем они нас: они не забыли Грунвальда и до сих пор со страхом косятся в нашу сторону. Но я изучаю их язык, потому что это вручает мне ключ к тем знаниям, которыми они владеют. Приобщаясь к их нравам, к их культуре, я овладеваю их собственным оружием. И напрасно вы думаете, что Германию можно победить теми средствами, которыми владеете вы. Вы—только пушечное мясо в этой игре, где Англия играет вашими головами. И если победа останется на вашей стороне, то плодами ее воспользуется только Англия.

«Мне даже кажется, что Россия совсем не задумывалась над мыслью, зачем она воюет? Ну, скажем, вы, затратив миллиарды денег и миллионы жизней, получите, наконец, Галицию. К чему она вам? Мне говорили, что если поехать от австрийской границы до конца ваших владений на Камчатке, то путешествие это будет длиться 48 дней. 48 дней и 48 ночей железнодорожного пути будет тянуться все Россия, Россия... Какое же значение может иметь для вас прирезка Галиции? Это все равно, что второй носовой платок для моего костюма. Нет, вы просто игрушка в руках коварной Англии».

Ясное морозное утро скрепило землю, и затвердевшие глыбы, разбиваемые колесами артиллерийских повозок, звенят, как руда. На позициях тихо. Вторые сутки молчат и наши, и неприятельские пушки. Молчание это нагоняет тоску. Скучно изо дня в день переживать безделье походной жизни, скучно прислушиваться к однообразному грохоту орудий, гулкому содроганию гор и далеким отголоскам винтовочных выстрелов. Но еще скучнее чувствовать полное отсутствие опасности на войне. Ибо тогда еще острее и горше ощущаются все ее жестокие стороны.

Война везде. Не только в грохоте пушек и в трескотне пулеметов. Война разбилась, рассыпалась на тысячи мело-

чей, которые захватывают и заполняют весь мир. Она — в сожженных городах, в угодливых улыбках галицийских крестьянок, в испуге, застывшем на лицах галицийских евреев, в затоптанных полях, в жалобах разоряемых жителей, в болезнях, в безумии, в тоске, и, главное — в оскопленной душе воюющих, которая с каждым часом войны усыхает, мертвеет.

Сегодня за обедом пришла крестьянка, и волнуясь, рыдая, стала жаловаться, что у нее забрали последнюю корову. Муж — на войне. Дома — больные дети, старуха-мать. Она молила, плакала, но солдаты безжалостны. Предлагают деньги. Но без коровы ей деньги не нужны. Без коровы семья помрет голодной смертью.

Мы все молчали и слушали с холодной апатией. Со стороны сказали бы: звери! Но что же делать? Найдите сами лекарство, господа проповедники гуманности, на поле битвы. Мы огрубели, очерствели. Но не будь этой нравственной апатии, мы давно погибли бы окончательно. Если мы не истекли еще кровью, то только потому, что мы оградились жестокостью и цинизмом. Но как же иначе? или сытый солдат, или голодный обыватель. Третьего нет. Все остальное: болтовня, лицемерие или грубая ложь.

Сегодня утром я ходил с Евгением Николаевичем в соседний фольварк. Огромный фруктовый сад, взращенный десятками поколений, обнесенный столетними липами, — изломан, изрыт, загажен. К древней разрушенной ограде прижались развороченные окопы, в которых обильно пролилась человеческая кровь. Парники истоптаны. Большая оранжерея запущена, нетоплена. На земле — черепки, помятые клубни, пожелтевшие листья. Дорогие кактусы, бананы и пальмы хиреют от холода. От всей этой экзотической роскоши веет тяжестью разорения и сиротливым, безотрадным унынием. За садом, в поле, груды мерзлой картошки, награбленной и брошенной солдатами.

8.

Жуткое впечатление пережил я сегодня в брошенных окопах.

День был солнечный, светлый. Мы шли по горным дорожкам и широким межам, нырявшим из ложбины в ложбину. Просторные дали то свертывались, задвинутые холмами, то опять раздвигались. При свете солнца ясно голубели горы, покрытые темнеющими лесами; глянцевито белым блеском сверкали далекие снега. И совсем далеко впереди, на высотах виднелась ровная, убегающая цепь горбатых окопов. Высоко над нами раскинулось небо — голубое, спокойное, торжественное. Снегом и солнцем слепило глаза: в ушах раздавалась странная музыка: это рвались шрапнели.

Мы шли по холмистым уступам, вдыхая вольный воздух Карпат. Навстречу нам попадались крестьяне, учтивым поклоном спешившие выразить свою покорность. Вереницей тянулись горные парки со снарядными лотками через седло. Неожиданно вырастали отдельные домики, в тесной ложбине. Вдруг на гребне горы, чуть прикрытые ельником развернулись двумя огромными цепями окопы. Они были оставлены совсем недавно. Всюду валялись патроны, гильзы, рваные патронташи, отрезанные солдатские рукава и голенища, штыки, винтовки, приклады, пояса, подсумки, осколки снарядов, обоймы, коробки из-под консервов, шрапнельные стаканы, обрывки писем и свежие насыпи с крестами. На некоторых крестах простые надписи: «Рядовой 280-го Сурского полка, крестьянин Таврической губ., Мелитопольского уезда, Афанасий Позняков и фельдфебель Григорий Червонихин. Убиты 20 декабря». Возле одного из окопов возвышался могильный холмик, отмеченный небольшим сосновым крестом. На кресте висела простреленная солдатская фуражка, а под ней полустертая надпись карандашом: солдат Кромского полка. Умер геройской смертью 22 декабря, спасая друга. Оба убиты».

Сейчас же за двойной цепью наших окопов, шагах в шестистах расположились окопы австрийские — с характерными коридорами, брустверами и траверзами. Здесь была совершенно такая же картина. Только вместо серых лохмотьев валялись обрывки синих шинелей; вместо белых узких обойм — двойные, широкие, из черной жести, вместо трехгранных штыков — плоские, широкие ножи, вместо желтых консервных банок — белые, вместо русских писем — немецкие и польские, но с теми же нежными словами: дорогой, коханый, милый, любимый. Сколько солдатских писем разметано ветром по всем ложбинам Карпат, по грязным галицийским дорогам...

Мы подобрали несколько писем в окопах, грязных, измятых. Одно из них большое, во многих местах сильно перечеркнутое — неотправленное письмо офицера. Или, может быть, набросок письма, черновик. Оно очень длинное, писано под новый год и набрасывалось второпях. Думаю, что не совершу нескромности, если приведу несколько отрывков из этого письма. На нем лежит печать того фатализма, которым отмечена психология всех воюющих.

... Прошу вас, внимательно прочтите это письмо. Я не ожидал, что вы напишете... Удивляюсь. Но получил: значит, вы меня помните. Это хорошо. Но этого мало. (Боже, как мало.) Мне казалось: мы с вами два разных магнитных полюса. Виноват, я не магнит и вообще нечто совершенно противоположное вам. Я живо помню мое знакомство с вами... Я тогда способен был совершить что угодно, лишь бы разговаривать с вами. Я ушел от вас, опьяненный восторгом. Встречаясь потом с вами, я всегда находился в особенном состоянии: я горел... Всего этого я не в силах забыть даже здесь. Только вы (вы одна) так действовали на меня. Больше никто, никогда. Вы не старались так сжигать меня — выходило независимо от вас. Все это вышло само собой. Не вы того хотели, этого хотела (и хочет?) сама судьба.

Во время мобилизации вы встретили меня — и таким тоном, как будто я для вас самый обыкновенный знакомый, бросили мимоходом: едете?.. Может быть вернетесь калекой? — Это было грубо. Если это

так — оставьте меня, с моими страданиями. Или вы мне скажите: я хочу быть с вами безгранично-искренней. Или я услышу от вас: я вам не компания, и умирайте, не достигнув того, чего жаждали всей душой. Другого исхода у нас с вами быть не может. Поймите: мы не принадлежим к обывательской породе... Вот чего я жду всем существом своим. Простите банальную чувствительность: вы для меня дорогое воспоминание виденного издали рая. Тот сад с благоухающими цветами, которым я любовался издали. Но меня не пустили в этот сад: я там был лишний. Теперь великое мировое дело. И я участник этого тяжелого дела. Но вас не могу забыть. Я часто вспоминаю о вас. Вспоминал вас вчера, вспомнил то письмо, которое вы мне написали еще из Курска. Перебирал все наши встречи, и странно: сегодня получил от вас новое письмо, которое, я считаю, написано только из любопытства и... спешу удовлетворить его. Поздравляете с новым годом? Благодарю вас — и вас так же поздравляю. Интересно вам от нечего делать узнать, что со мною? Я еще жив, и кто знает, быть может, и буду калекой. В Гомеле я сформировал полк и теперь командую им. Много людей, лошадей, пулеметов, а боя никакого. Раньше было мучительно много дела. Бились у Новой Александрии, бились у Кракова. А теперь находимся около Т — ва. В горах. Живу уже три недели в одной халупе (так называются сельские домики в Польше), у поляка-слесаря! В одной тесной комнатке нас шесть человек офицеров; раньше было много движения, почти каждый день и ночь. А теперь отдыхаем. Людям много теплых вещей присылают. Денег тоже много. Корм хороший. Теперь стоим против противника, окопались, и идет маленькая перестрелка. Не то было прежде: гром пушек, непрерывная трескотня ружей и пулеметов. Сейчас затишье. Довольно сильные морозы и большой снег кругом. Описать вам Карпаты? Нет, лучше признаюсь в маленькой нескромности: иногда я позволяю себе мечтать, что после войны мы побываем здесь вместе с вами. Теперь я ношу костюм австрийского офицера. Этот маскарад тоже считают одним из условий нашей победы... Нас не забывают. Это внимание сердечное, искреннее, бескорыстное, эта память о людях, из которых многие не вернутся, — трогает сильно. Необходимо, чтобы мы победили теперь. Хотя бы стоило это потрясающих жертв. Иначе все время будем находиться под угрозой сильного противника. Понемногу учусь говорить по-венгерски и по-польски. Моим успехам содействует хозяйка. Молодая, бойкая женщина. (Мы с ней большие приятели. Часто говорим о любви. Но это флирт безопасный.) В нашем полку есть много раненых. Временами нам приходилось очень плохо. Русские совсем не такие орлы, как это

изображают наши газеты. И война совсем не такая приятная забава, как это рисуется нашим генералам.

Кажется, ваше любопытство удовлетворил? Это для вас сделал я исключение. Я пишу только тем, которые мне пишут не только из любопытства или из вежливости, а действительно интересуются мной. Если хотите, напишите, и я буду с вами переписываться так, как с моим другом-женщиной. Это письмо много продумано моим слабым мозгом. Потому, прошу вас, прочтите внимательно и отвечайте тоже совершенно искренне. Если не поймете, это будет означать «нет». А если поймете, должны написать «да». И тогда мы будем до встречи жить воображением, которое будем корреспондировать друг другу; а потом встретимся. Если судьба разделит нас физически, если буду убит — я верю: вы все-таки сохранитесь для меня в горе о потерянном. Вам это непонятно? Вы знаете, здесь, на войне, человек о многом научается думать по-иному. То, что вам далеко от грома пушек и ежеминутной возможности умереть кажется пустым и неважным, то для нас... Впрочем, не буду нагонять на вас... Ведь вы...

Итак, с новым годом!

Дома застали приказ из корпуса: в срочном порядке приготовить и сдать «журнал военных действий». Пишу всю ночь напролет: некогда оторваться от стола. Вспоминается весь пройденный путь: бесконечные отступления, паническая суета под Красноставом, шрапнели над парком, величественные летние ночи под звездным небом, изрытые окопами поля, тысячи раненых, братские могилы, дождливые осенние ночи, сожженные города, деревни, посады, фольварки, избы, мучительные дороги, лесные дебри, непролазные топи, головоломные кручи, пески, овраги, и опять леса и болота, леса и болота без конца, изнуренные и голодные люди, груды конских и человеческих трупов, валяющихся придорожной падалью, вонючие, грязные стоянки, хилые дети, испуганные крестьяне, заплаканные и трагически-безропотные евреи, погромы, голь, нищета и глухие проклятия войне, солдатам, судьбе и жалкой человеческой доле.

Лег спать в третьем часу. Просыпаюсь, неохотно протираю глаза: с соседней кровати доносится хмурый голос Евгения Николаевича:

— Вот и начался еще один день на Карпатах. Поздравляю вас с 12-м января.

Молчу. Базунов сердито ругает начальство.

— Чорт их знает. Начнут теперь придираться. Сегодня «журнал военных действий» требуют, а завтра запросят экстренно по телеграфу: куда девал два ремешка, которые отпущены тебе были в V веке до Р. Х.? Парки-то наши на попечении у трех ведомств: артиллерийского, интендантского и инженерного. Каждое ведомство по-своему нервы мне вымотывать будет.

— А инженерное при чем? — не выдерживаю я обета молчания.

— Как при чем? Мотыки, напильники, лопаты, топоры. Это еще самое лучшее. У них — не успеет приказ выйти, а они уже шлют: принимай. — А артиллерийское ведомство — вот где вор на воре сидит. Прихожу я как-то в главное артиллерийское управление. По частному делу. Выходит какой-то генерал.

« — А у вас, г. полковник, все есть?

« — Никак нет. Один парк снабжен, а на два парка седел нет, ничего нет.

« — Как так? Не может быть. Пожалуйте, мол, к такому-то.

«Приходим. Какой-то молодой капитан в пенснэ. Генерал к нему:

« — Вот полковник жалуется...

«Тот сразу величественно:

« — 33-й бригады? Вторая очередь? Посмотрим. Э-э... у вас все есть! Все седла.

« — Как все? Если вам угодно называть седлами одни

ленчики — без покрышек, подпруг и проч. — тогда конечно. У нас, говорю я, ничего нет.

« — Тогда получите у интендантства.

«Я, знаете, получил. А теперь, извольте видеть, мне заявляют: это не наше, это интендантские. Но ведь интендантские постромки были мне выданы вместо артиллерийских...»

Я не слушаю. В комнату входят офицеры, начинается утреннее чаепитие. Все брюзжат и недовольны. Даже Джапаридзе понемногу заражается всеобщим раздражением.

— Сегодня, — говорит он, — я написал своим родственникам: отступайте медленно в глубь России... Весь Кавказ покрыт сетью моих родственников. Сеть эта не уступает по размерам сети германских дорог. Много стариков, но еще больше молодежи.

— Социалисты или разбойники? — иронически осведомился Базунов.

— Думбадзе мой родственник, князь Дидиани — мой двоюродный брат. Есть разбойники, есть и социалисты. Наши старики все были чрезвычайно лойяльны. Мой отец слышать не мог разговоров молодежи. Когда к нему пришли за ружьем (по требованию местного комитета), он с табуреткой в руках погнался за делегатами. Было это в январе, отец простудился, заболел воспалением легких и умер. Молодежь вся революционная. Потому что ее оскорбляли на каждом шагу. Брали малышей и приказывали им забыть свой язык, запрещали разговаривать по-грузински. В «грузинскую дружину» нагнали русских неповоротливых увальней, которых нарядили в грузинский костюм и поставили учителями, хотя они ни слова не знали по-грузински. А грузинскую молодежь, украшение Грузии, послали в Челябинск, в Томск, где они зачахли в чахотке. Через 4 года вернулись они в Грузию. Все ахнули: вчерашние орлы лежали пластом, бессильные, полумертвые... И что же? Я помню еще песни стариков: в них воспевалось мужество, преданность царю. А потом пошли

тоскливые жалобы на судьбу, глухие угрозы в песнях. И, знаете: я теперь офицер русской армии, исправный служака. Но если бы я находился в Грузии, я бы не выдержал. Я бросил бы первый бомбу...

После обеда явилась депутация стариков к Базунову. Кланяются в пояс.

— В чем дело?

— Из окрестных деревень. От солдат житья нет. Все ломают, грабят, по ночам врываются в дома — требуют денег, угоняют скот, лошадей, воруют подушки, вещи, ни одной бабе проходу не дают, даже старухам.

Базунов послал рапорт в дивизию с извещением, что для охраны населения в Рыглицах им приняты меры, но оградить окрестное население от солдатских грабежей он не в состоянии и просит командировать в его распоряжение полуроту солдат, для несения караульной службы в окрестностях.

— Вот теперь-то и взвоют жители,—заметил Базунов,— эта полурота всю ночь грабить будет.

— Зачем же вы хлопочете о присылке?

— А что же прикажете делать? Не напишешь рапорта, еще под суд попадешь.

Отношение жителей резко изменилось: они стали менее разговорчивы и иногда отпускают какие-то загадочные замечания. В прошлое воскресенье ксендз-пробощ обратился к прихожанам с проповедью: о хранении секретов. Я не слыхал этой речи, но, как передавали лазаретные доктора, говорил он с обычным театральным подъемом и в порыве ораторского увлечения сравнил болтливых женщин с убийцами, которые поражают из-за угла доверчивых друзей. Доктора много смеялись над патетическими гиперболами проповедника, хотя тут же добавили:

— Ксендз Якуб Вырва даром не увлекается.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что под секретами он разумел, конечно, не семейные тайны пани Сикорской или похождения панны Компельской со старым Вуйком. Вероятно, им имелись в виду другие «секреты» и другое «предательство». И слушатели отлично понимали, на что намекает ксендз.

Я пробовал расспрашивать жителей, о чем проповедывал им ксендз, но они сурово отмалчивались. Дочь нашей хозяйки на что-то намекала в разговоре с Базуновым. Спрашиваю у нее:

— Что вы рассказывали полковнику об австрияках?

Вздыхает и говорит с сокрушением:

— Австрияки тут совсем близко. В Журове уже пули летают. Жители удирают оттуда. А с востока вас обходят мадьяры: хотят отрезать всю вашу здешнюю армию.

— Кто это вам сказал?

— Говорят... Говорят, все ваши обозы и парки скоро уйдут отсюда.

— Кто же может сказать про это и кто это вам сказал?

— Это, пан доктор, секрет. Этого я вам сказать не могу.

9.

— Ну-с, сегодня 17-е, а мира все нет. Будем ждать, что принесет нам 18-е, — полуиронически, полусердито бросает в пространство Базунов.

Я молчу. На душе пасмурно. За дощатой перегородкой, в кузне слышны солдатские разговоры. Молодой, веселый голос:

— Завтра мир будет.

Кто-то угрюмым басом отвечает:

— Дурак скажет!

— Сам дурак, — весело огрызается первый.

— А ну, побожись!.. А ну, побожись!.. Не хочешь? — торжествует пессимист.

У бойкого солдата чешется язык. Он вдруг меланхолически заявляет:

— Что-й-то мне баба не такое пишет.

— Поела вареников и тяжелая стала? — угрюмо иронизирует пессимист.

Минута проходит в молчании. Веселого малого поддразнивают, и он затягивает разухабистую песню:

По улице мостовой
Ходит парень молодой.
С виду парень — тыща тыщ,
Между прочим гол как прыщ.
Носит драповый бурнус
Да на рыбьем на меху-с.
Ветер дует-поддувает
И карманы надувает.
Блещет рыбья чешуя,
А в кармане ни шиша.

У кузни собираются солдаты. Слышатся одобрительные возгласы:

— Ой, елки зеленые, палки дубовые!..

Пример веселого солдата заразителен, и три голоса затягивают хором любимую артиллерийскую:

Выходил приказ такой:
Становиться бабам в строй.
Эй, Тула пер-вернула
Подходи-ка, баба, к дулу!..
Становитеся, мадам,
Поровняйтесь по рядам.
Эй, Тула, пер-вернула...
Пятки вместе, носки врозь,
Гляди весело, не бось!..
Эй, Тула, пер-вернула...
Бабы-дуры хлопотали
На поверку опоздали,
Эй, Тула, пер-вернула...
Та, пошла за ездового,
Та за номера второго
Эй, Тула, пер-вернула...

Прицел тридцать, трубка три,
В середину наводи.
Эй, Тула, пер-вернула...
Пушка первая палила —
Баба землю носом взрыла.
Эй, Тула, пер-вернула...
А в орудии втором
Пер-вернулась кверху дном.
Эй, Тула, пер-вернула...
А Матрена, баба-дура,
Привязала ногу к шнуру.
Эй, Тула, пер-вернула...
А у тетушки-Малашки
Нет ни пояса, ни шашки...
Эй, Тула, пер-вернула...

К поющим присоединяется несколько новых голосов. Одни и те же куплеты повторяются по многу раз. Гремят кузнечные молотки. Бьют копытами лошади. Звенит в воздухе ядреная ругань. Горланят пушки. Дребезжат проезжающие ящики, обозные телеги, кухни. Срываются с коновязи лошади, приведенные для ковки. Слышится топот солдатских ног и бешеные крики вдогонку:

— Держи, лови!

Ординарцы лениво покачиваются в седлах в ожидании пакетов и сквозь зубы величественно делятся сведениями «из штаба».

— Китай ноне войну объявил.

— Вчера шпеона пымали.

Кто-то торопливо передает на бегу.

— Их благородию, прапорщику Левицкому, умыться дай!

В воздухе непрерывно слышится:

— Хлеб Переяславскому!

— Гони, ребята, за сеном!

— От Кромского? получай!

Грохот, суета, конское ржанье, скрип, треск разламываемых заборов... Боевой день на биваке в полном разгаре.

Офицеры угрюмо пьют чай. Приехал ординарец из дивизии, говорит: Румыния объявила нам войну. Все немного взволнованы. Евгений Николаевич фрондирует:

— Конечно, эта сволочь пойдет на нас. Я этого всегда ожидал. Я, знаете, жил там, поблизости. Там каждый молдаванин — шпион. И ненавидят нас, подлецы, всей душой. Теперь беда!.. Я все время кричу: на кой чорт нам эта вонючая Галиция? Чего мы сюда лезем? Эти проклятые Карпаты — на кой шут они нам? Нет, прут! Растянули свой фронт! А им, подлецам, только того и надо. Подпустили нас к самому ужасному месту и каждый раз бить нас будут! Нет, пускай о н и здесь сидят, в Галиции. Нам теперь надо бы давно укрепиться и ждать: берите нас, если можете. А мы лезем, лезем, чорт возьми! Ну, не прав ли я?

И, не дождавшись реплики, Базунов продолжает:

— Теперь что? Соединится эта сволочь румынская с австрийцами, окружит нас со всех сторон, полезут в Бессарабию, и дальше. Сколько у нас там войска? Три жалких корпуса. А через неделю Италия войну объявит, Болгария, Швеция. На Петербург полезут, чорт их дери!.. Нам ничего не остается: надо заключить мир с немцами. Ничего не поделаешь: приходится свою шкуру спасать... Завтра же жене напишу: как только Италия войну объявит — в Москву! Кстати в апреле квартирный контракт кончается.

...В окружающей жизни не чувствуется никаких перемен. Все так же скрипят обозы, все так же постреливают мортиры и пушки. Снуют ординарцы. Лениво плетутся фуражиры с сеном. Только на лицах крестьян читается скрытая насмешка, и нет в поклонах прежней учтивости. Или это нам только кажется?

От скуки едем кататься. Бугристые снежные поля. Овальные уступы, вздувшиеся как огромные, белые пузыри. На

молочно-белом снегу резко чернеют щетинистые леса. Свернули с дороги на целину. Освещенные потоками солнца волнистые дали горят миллиардами серебряных искр. Ветер обжигает лицо.

Сани мчатся. Сильные, рослые лошади крепко бьют по скрипучему снегу. Солдат-ямщик молодецки гикает. Обгоняем обозные возы, ординарцев, лазаретную линейку. Сани быстро скользят по крутому спуску, взбегают вверх по холмам, и мы в гостях у лазаретных врачей.

Скучные комнатки с низкими потолками, недовольные лица и нудные, нудные разговоры о выпивке, о пани Сикорской, о карточных выигрышах, о батарейных командирах, о наградах и ордерах. Когда же всему этому конец?

Вступаю в беседу с главным врачом Новиковым.

— Какие новости? — спрашиваю я.

— Да ничего. Вот только говорят, что наш лазарет хотят перевести, а на нашем месте штаб казачьей дивизии устроить. С какой стати? в корпус поеду жаловаться. У меня шестьдесят три человека больных — куда я с ними денусь? А здесь и помещение отличное, и в топографическом отношении очень удобно.

— Пустяки. Слухи какие-то. Не стоит загодя волноваться.

— Да я от всего теперь волнуюсь. Скоро ли всему этому конец?

— Что делать? Я думаю, даже вы в своем маленьком государстве не редко воюете с ординаторами и фельдшерами.

— Почему же немецкие социал-демократы молчат? Ведь должны же они протестовать против этого кровопролития? В теории они не раз говорили. . .

— Вопрос поставлен ехидный. Но, дорогой Иван Александрович, всякая теория — труп. Теоретики похожи на

тех хирургов-трупятников, которые весь век проводят в анатомическом театре. На трупах все у них выходит хорошо. Но когда операцию надобно делать на живом, когда из-под ножа брызжет фонтаном горячая кровь и скальпель вонзается не в разлезшиеся мертвые ткани, а в упругое тело, то блестящий оператор на трупах чувствует себя таким же беспомощным, как самый обыкновенный фельдшер. Вот в таком положении очутились и немецкие социал-демократы. Превосходные знатоки анатомии они оказались бездарными хирургами.

10.

Всю ночь грохотали пушки. Часа в три я проснулся от каких-то звуков. Было тихо. Только где-то совсем близко, как будто над самой головой отчетливо потрескивали ружейные залпы: та! та-та! та-та́! та-та-та́! Под эту трескотню я вскоре уснул. Проснулся в начале девятого. Гремели горные орудия, сотрясая воздух хриплым, гортанным ревом. Казалось, по огромному чугунному котлу кто-то гулко ударяет молотом, и котел, издав протяжный стон, шурша, как лавина, катится с высокой горы, и где-то далеко внизу разбивается на тысячи осколков. Не могу решить, позиции ли придвинулись ближе или ветер разносит горное эхо. В окнах светит яркое солнце. Лужи талого снега покрывают шоссе. Ветер треплет деревья. Как всегда, стрельба рождает нервное возбуждение в людях. Первыми откликаются наши соседи-кузнецы. Молотки их как-то особенно звонко стучат по железу и, прилаживая подковы к копытам, они с грозным азартом набрасываются на лошадей:

— Чего расходился, леший! Мало учили тебя, стерва!..

Возле кузницы по обыкновению клуб. Надо, не надо и конные и обозные замедляют перед кузницей шаг, обмениваются новостями, расспрашивают о дороге, о земляках, об убитых и едут дальше. Ординарцы так же считают своим

долгом «на минуточку» спешиться перед клубом, и пока кузнец оценивает опытным глазом, скоро ли понадобится перековать лошадь, ординарец делится содержанием диспозиции или приказа, который он везет на позицию из штаба.

Сегодня перед кузницей особенно сильное оживление.

— Ноне всю ночь «он» по всей позиции страсть как наседал, — говорит какой-то солдат с явным намерением поскорее вызвать на откровенность ординарца.

— Мир заключают, — иронически вставляет другой.

Слово мир моментально развязывает языки, и кто-то из кузнецов солидно и деловито обращается к ординарцу:

— А что, про мир ничего не слыхать в дивизии?

— Про мир сказать не могу, — отвечает ординарец с Георгием, — а что бой ожидается — это верно. Гонят сюда два полка на подкрепление, из-под Келец идут. Я вон приказ привез из дивизии, чтобы тут их разместить по халупам.

— Где же тут два полка, здесь и роте деваться некуда, — протестуют обозные.

— Верно придется обозы на позиции передвинуть, — с насмешкой отзываются пехотинцы.

— Эге! — с воодушевлением вмешивается артиллерийский солдат, дожидающий очереди у сломанной повозки, — тут такая теснóта скоро пойдет: сюда, слышь, 5 батарейных резервов гонят, да 21-го дивизиона мортирный парок идет. Один мортирный, в 33-й дивизии остался, а другой — к 70-й придали, да на позицию выкатили. Вот его пáрок и сюда, значит.

— Тут и донская сотня из 10-го корпуса стоять будет,— заметил казачий ординарец.

— Из чужого корпуса? Ишь ты... Не шей дубленой шубы — попадешь ко псам в зубы...

— Вот гусь моржевый! — обиделся казак. — Меня для связи сюда прислали. Для штаба донской 10-й дивизии по-

мещение занять здесь приказано! . . Понимаешь, дурак?

— В тебе ума много, да дома не ночует. . . Вишь, что придумал, — заволновались обозные. — Еще казаков сюда. Тут и самим нам голой соломы нехватает. За пятнадцать верст за фуражом ездим. Ни скота, ни сена, ни дров. И пекарни тут, и батареи тут, и парок, да обоз Переяславского, да Кромский обоз. Еще донскую сотню туды к чортовой матери! . .

Между тем бой разгорается. В воздухе точно щёлкают тяжелые, металлические бичи. И от этих ударов все быстрей и быстрей закипает движение людей, повозок, зарядных ящиков, обозов, кухонь, лазаретных фургонов, артиллерийский двуколок, денщиков, ординарцев и проезжающих офицеров. Все подтянулись, подбодрились, спешат и обгоняют друг друга. Вдоль шоссейной дороги, позади и впереди несется непрерывный скрип колес, цокают подковы, хлопают кнуты, звенят оглушительные ругательства. Среди всеобщего грохота и гула вдруг вырывается неистовым воплем:

— Шагом! шагом! распротак-то и так твою мать! . .

Выделяются одиночные, пронзительные голоса. И опять катится дальше по шоссе и по всем боковым дорогам плотная, гулкая лавина колес, копыт и ящиков, подстрекаемая ругательствами и резкими ударами пушек. С каждой минутой настроение тревожнее.

— Понимаете, как гвоздят! — перебрасываются отрывистыми замечаниями офицеры.

— Да. Уж это недаром. Ишь, как «чемоданами» кроют.

И все жадно всматриваются в каждого ординарца: уже не везет ли приказ о передвижении?

За обедом опять тоскливые вздохи и разговоры о Румынии, Болгарии. Базунов предается юнкерским воспоминаниям.

— Да скоро ли война кончится? — вырывается чей-то вздох.

Базунов таким тоном, как будто об этом и шел все время разговор, меланхолически заявляет.

— То-то и оно, что не скоро. Тут двести раз околеешь, прежде чем война эта кончится. А мира-то никакого не будет. Десять лет будут воевать, подлецы! Им что? Главное артиллерийское управление — на театре военных действий... в Киеве! Каково придумали, подлецы! На театре военных действий в Ки-е-в-е! . .

Офицеры апатично потягиваются. Кто-то обращается к денщику Базунова:

— Кубицкий, ударь меня по затылку!

Кубицкий улыбается простецкой улыбкой и плутовато рапортует:

— Як бы водка була — пьяный напывся б — може осмiлився б мужик и вдарив бы их выскородие. [1]

— Ну, не хочешь, — тебя ударю.

— Тэж я и кажу: вдарьтэ меня враз по хребту, ваше высокородие! Нам, мужикам, цэ — найлучше ликарство, щоб язык ны телёпкался дуже худко. [2]

— Молодчина! — говорит Медлявский. — А что тебе подарить за это, чего ты хочешь?

— До дому хочу, — смеется Кубицкий.

— Скажи на милость, — говорит Базунов, — и Кубицкому воевать надоело.

. . . Вечером, вернувшись с прогулки, я застал пакет на мое имя, присланный с экстренным ординарцем и помеченный: весьма спешно. Пакет заключал в себе краткое предписание: «выехать немедленно в сопровождении фельдшера

---

[1] — Кабы водка была, напился бы я допьяна и, пожалуй, осмелился бы мужик — ударил бы ваше высокородие по затылку.

[2] То-то и я говорю: ударьте меня как следует по хребту! Для нашего брата, мужика, нет лучшего средства, чтобы язык чересчур не шлепался.

в штаб дивизии». Было уже после девяти. Я устал, хотелось отдохнуть. Но делать нечего. Приходили в голову всякие тревожные мысли. Через двадцать минут была подана артиллерийская повозка, устланна соломой, и пара рослых жеребцов — Шикарный и Шикардос — умчала нас из Рыглицы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОД ТАРНОВОМ

1915 г.

ФЕВРАЛЬ.

1.

— Извините за выражение, дозвольте вас спросить — вы же юрист, господин доктор, вы же в газетах пишете — по причине каких препятствий брошены мы без полного предписания насчет распоряжения касательно срочной командировки?

Так фельдшер Тарасенко, со свойственной ему витиеватой изысканностью, выражает свое недоумение по поводу нераспорядительности дивизионного врача. Третий день мы находимся при штабе дивизии, двадцать раз обошли все канцелярские столы, но нигде не можем добиться, для чего нас сорвали с места. Отсылают к дивизионному врачу, который находится в безвестной отлучке.

— Вы бы, Тарасенко, узнали у писарей, куда он девался.

— Узнавал.

— Ну и что?

— Извините за выражение, как говорится, чорт его знает, где он есть. Толкуют, в командировке.

Живем «на съезжей», как называют офицеры просторную избу, в которой скопилось человек десять таких же неудачников, как мы. Из обозов, из полков, из бригад. Все дожидаются назначения. «На съезжей» грязно, накурено и шумно. В одних рубахах, засучив рукава, за длинным столом офи-

церы режутся в карты. Банкомет — пехотный полковник с лисьей мордочкой. Тут же сестра милосердия, полная, круглая, румяная — «свеже покрашенная», как говорят о ней офицеры. Она разыскивает пропавшего мужа. Ночует она у хозяйки за перегородкой и несет обязанности офицерской экономки «на съезжей». Два молоденьких подпоручика давно проигравшихся в пух и прах, уныло потренькивают на балалайке и, не считаясь с сестрой, угощают друг друга похабными прибаутками.

— Господа офицеры! Складывайте ваше оружие, кушать будем, — громко приглашает сестра.

На стол подается дымящаяся кастрюля. Откуда-то появляются графинчики и стопки. Офицеры крякают, потирают руки и весело чокаются.

— А вы, сестрица? — лукаво подмигивает полковник с лисьим лицом.

— Не пью.

— Воспрещено по болезни?

— Сроду не знала я болезней и теперь не знаю, какие-такие болезни бывают, — не смущается сестра.

За обедом она чувствует себя царицей собрания, хохочет, кокетничает и тараторит. Язык ее работает с расторопностью пулемета, и речь ее отливает всеми цветами патриотической радуги.

— Ах, в последнее время, — говорит она, презрительно поджимая губы, — я совсем потеряла веру в немцев. Их пушки, их машины — все это чепуха. Нашлепают их, нашлепают — и они со всеми своими пушками удирают. Вот русские наши — каждый герой!

— А по-моему, — басит усатый штабс-капитан, — по-моему, немцы молодцы! Идут густыми строями, но молодцы!

— Великая штука, — презрительно парирует сестра, — пьяные! От каждого немца воняет эфиром. Хлороформ их совсем не берет.

Офицеры смеются.

— Да, да! — горячится сестра. — Вот у нас одному эсаулу операцию делали — ампутацию. Дали ему хлороформа, заставили считать: не засыпает. Наконец замолчал. Доктор говорит басом: — Не желаю вам такого мужа, сестра. Пьяница горчайший. А тот вдруг: —Слышу, все слышу.

— Эсаул русский? — спрашивает полковник.

— Ну, да! Эсаул казачий.

— Значит, и наши пьют? — смеется полковник.

— Ну, так немцы от трусости пьют.

— От трусости? Я этого не думаю.

— Да, это верно, положим, — сразу сдается сестра и горячо продолжает: — знаете, сколько я работаю в госпитале, с начала войны работаю, а пленных я не видала немцев. Раненых, тяжело раненых — видела. А пленных — ни одного! Вообще, немцы молодцы! Немцы, мадьяры. Мадьяры — на перевязках — вот выносливые! Евреи — всегда евреи. Польские, русские, итальянские евреи — начнешь ему иодом смазывать пустячную рану, а он — вай-вай-вай... Мадьяр зубы стиснет — ни слова не вымолвит... Выносливые мадьяры и немцы — в плен не сдаются. В каких местах была — под Опочно: там ведь все немцы. Пленных вот не было! Не было. Сколько я работаю...

— Значит, и за границей не все дураки да трусы, — иронически замечает широкоплечий артиллерист.

— Удивительно как за границей хорошо — тьфу! Ну, пускай разорили города. А станции — какая же это мерзость! Вы только взгляните. Так все чуждо, так отвратительно.

— Один есть бог, и Магомет пророк его на земле, — хохочет артиллерист.

— А что же это не так? — обиженно спрашивает сестра. — У немцев все раздуто, все рекламно. Тарнов, например, что это за город? Все старьем пахнет, вонь. А так

называемые бани здешние — суньтесь. А вагоны? Фу! Какая-то мерзость. А концы-то какие? Шесть часов едешь и — уже! приехали. А хвастовства-то!.. На целый месяц. Вот наш сибирский экспресс — это красота! Едешь, как в салоне. Даже в Бродах красиво — потому что это русское! А Львов? Русские все хвастают: мы Львов забрали! Приехала я во Львов — наш Житомир в десять раз лучше! Вот уж как у нас говорят — хочь гирше, абы инше... Все раздуто, рекламно. Из-под палки все делают, по приказу! А такой культуры, чтобы сама природа делала — нету! И не будет у немцев!

— Пустяки комбинация! — задорно смеется артиллерист. — Да вы, сестрица, кушайте, не огорчайтесь. Ведь зато во Львове и в Тарнове сестричек сколько! И какие хорошенькие!

— А вы в Тарнове бывали? — оживляется сестра. — Я часто в Тарнове ходила. Видели меня, вероятно? Я всегда в беленьком. Гуляла. От полноты. Я страшно пополнела. Вот представьте — что такое? Все на войне пополнели. Я двадцать семь фунтов на войне прибавила.

— Мне кажется, что женщины далеко не так мягкосердечны, как думают, — говорит похожий на лисицу полковник. — Вы слышали такие стоны, присутствовали при таких операциях. Ваше сердце должно было разорваться. А вы двадцать семь фунтов прибавили.

— Это вы правду говорите, полковник, — грустно вздыхает сестра. — Как сестра я должна сказать, что у нас много самозванок. Да, да. Гуляют по Тарнову днем и ночью.

— В беленьком? — вставляет один из проигравшихся подпоручиков.

— А вы раненых не боитесь? — насмешливо пристает к ней артиллерист.

— Раз не выдержала, — расплакалась. А доктор как закричит: сестра! Один обморок — и вас здесь не будет! Что

вы делаете? Как больной на вас смотреть будет! С тех пор, как издали раненого увижу — сейчас смеюсь.

— Для разнообразия хорошо и однообразие, — смеется артиллерист.

— А в обморок не падаете? — спрашивает подпоручик.

— Ни-ког-да! Раз даже доктор сомлел. Я хлороформировала. Дорога каждая минута. А он валяется на полу.

— Ну и что ж?

— Я его из кувшина водой облила.

— Пустяки комбинация, — хохочет артиллерист. — Да, я слышал: первый раненый, как первая любовь. А потом привыкаешь.

— А вы видали раненых? — обращается сестра к артиллеристу.

— Ну, а как же, — улыбается он.

— Страшно?

— Да, страшно. Самое ужасное: близкий разрыв тротиловой. Я видал одного австрийца: нос остался, губы остались, но все почернели. Кожа в страшных кровоподтеках.

— А правда это, что только пулеметы страшны? — любопытствует сестра.

— Двенадцатидюймовые тоже хорошая штука!.. А вы, сестра, — храбрая?

— Я — страшно храбрая. Ничего не боюсь. Под Хенцанами наш поезд несколько раз обстреливали. Но когда вчера услыхала 16-дюймовую — господи твоя воля! Вот страшно стало. Шла я к вокзалу. Вдруг снаряд за снарядом. Моментально все стекла вылетели... Ни за что не могла бы остаться в Тарнове.

— А вы где служите?

— В Львове.

— Ваш муж прапорщик? — ядовито осведомляется полковник.

— Извините, пожалуйста, прапорщик, — в тон ему отвечает сестра.

— Вы такая патриотка, я думал, что ваш муж из настоящих военных.

— А ведь война-то на прапорщиках держится, полковник. А полковники-то в штабах в картишки дуются.

— Ха-ха-ха! Пустяки комбинация, — гремит артиллерист.

— Я вам больше скажу, — неожиданно вмешивается пехотный поручик, — кабы прапорщики в штабах сидели — больше порядка было бы. В Горбатовце, под Саном — сплошное кладбище. Там в окоп сваливают трупы. Только поперек положат и засыплют. Весной там такие запахи пойдут... В Адамовке, рядом, была холера. По пятнадцать человек в день умирало. Пишет наш полковой врач дивизионному: позвольте перенести лазаретный пункт в другое место. А ему в ответ: залейте избы известкой. Понимаете? Адамовку эту день и ночь кроют шрапнелью всех сортов. Там дышать нечем. А начальство советует: известкой залейте. Да бумажки присылает: не пейте сырой воды! Не сидите на голой земле! Что скажете? Воду-то эту берут из канавы, где гниют и наши и австрийские трупы. Поди-ка, вскипяти ее под огнем.

— А у вас нет Георгия? — неожиданно обращается к рассказчику сестра.

— У меня? — За что мне Георгия? — обрывает он ее. — Что я штабной или интендант? или сестра милосердия? Вот у нас корпусному интенданту пожаловали Анну с мечами — за переправу скота через Вислу. А в 25-м корпусе — Владимира с мечами и с бантом — за своевременную доставку икры из Петрограда в штаб корпуса.

— Пустяки комбинация, — весело смеется артиллерист.

— А вы какой офицер — кадровый или из запаса, — сухо и строго обращается к поручику полковник.

— Ка-адровый! И отец мой военный. Умер в 69 лет, а службы было у него одним годом больше.

— Как это? — изумляется сестра.

— Он в севастопольской кампании участвовал, в турецкой, за усмирение польского мятежа — вот и набралось.

Полковник демонстративно зевает.

В комнату входит ординарец из штаба с кипой приказов и передает их полковнику. Тот, отобрав одну из бумажек, оглашает для всеобщего сведения. И читает медленным, внятным голосом, смакуя каждое слово:

Телеграмма начальнику штаба 25-го корпуса.

В виду развившегося шпионажа евреев и немецких колонистов и пришельцев, командующий армией приказал: 1) ни тех ни других, кроме особо надежных поставщиков, к войскам не допускать; при встречах на пути принимать меры к тому, чтобы эти лица не могли просчитывать количество войск и обозов или узнать название частей. При попытках же сопротивления или к побегу действовать без промедления оружием решительно. 2) Вблизи расположения войск воспретить жителям зажигание огней в сторону неприятеля, разведение костров, звон колоколов, вывешивание флагов, взлезание на колокольни, крыши, деревья, а без особого разрешения также выезд и выход из городов и селений. 3) С неповинующимися указанным требованиям поступать по силе законов военного времени

Люблин № 1545.

Гулевич.

— Браво, браво! — первая воскликнула сестра. — Пора положить конец жидовскому шпионажу.

— Правильно! — откликнулось несколько голосов. — Пойманного жида — на месте! Чего с ним канителиться.

— Есть такие еврейчики, что в нашу пользу шпионят, — вставляет полковник.

— Откуда вы знаете? — спрашивает сестра.

— А как же! Я перед самой войной служил в пограничных войсках в Бродах. Там жиды на самой границе траву такую сеяли и за границу на продажу возили. Только давно настало время сено косить и убирать, а мои хаимы и в ус себе

не дуют. Я ведь их всех — во́ как знаю! Спрашиваю: ты чего сено не собираешь? Ведь пропадет. А он посмеивается:

« — Зачем мне теперь сено, когда я на службе?

« — На какой службе?

« — На такой же, как вы. На государственной службе. Я теперь такой же военный, как вы.

« — Ну, это ты, положим, врешь.

— А он, понимаете, вытаскивает удостоверение, что такому-то Хаиму Мовшовичу предоставляется свободный пропуск в районе военных действий.

— Ну, скажите! — возмущается сестра. — У меня муж на войне, я, сестра милосердия, прошу свидания с мужем — нельзя. А жидам можно...

Я отхожу в сторону и перелистываю другие приказы. В списке убитых читаю знакомую фамилию: прапорщик Кромского полка Антон Петрович Васильев. Память остро подсказывает: нервная, хрупкая фигурка, большие, усталые глаза, звонкий, срывающийся голос:

— Я к вам по делу, доктор... Пишу, знаете стихи. Ни печатать их негде, ни читать некому. А я, быть может, скоро помру. Вот возьмите на память. Авось, когда-нибудь прочитают, когда меня уж в живых не будет...

Помню, стихи поразили меня своей скрытой взрывчатой силой. Я сохранил их.

В поход.

Прощай, жена! Не так бывало
Твои глаза я целовал,
Когда клонилась ты устало
И первый сон нас разлучал.
А здесь... Да ты ль, голубка, полно,
Стоишь у поезда, — бледна,
И безнадежна, и безмолвна,
Близка... и так отчуждена?..
Мы — те же, любим, как любили.
Так чьей же силой решено,

Чтоб мы друг друга схоронили?..
Ну, с богом... Грозно и темно
Глядит мой путь... за ним забвенье.
Не будет жизни там былой!..
Борясь со страхом, в озлобленьи
Припав к брустверу головой,
Я тупо ждать приказа буду...
Мне ласк твоих не вспомнить там...
Прощай, живи и... верь, как чуду,
Что может быть свиданье нам.
А там, вдали — в чужой траншее
Не те же ль слезы и мечты?..
Так для чего ж мы клоним шеи
И гибнем тупо, как скоты?

... Готово. Едем.

Первым примчался Коновалов.

— Доктор Прево приїхав.

Прихожу к дивизионному. Изящный мужчина, с приятным лицом и вьющейся шевелюрой. Любезно осведомляется:

— Чем могу служить?

Показываю предписание. Доктор явно смущен и не знает, как выйти из неловкого положения.

— Может быть, для осмотра нестроевых частей, — подсказываю я ему.

— Да, да. Раз вы приехали, то осмотрите хлебопекарни. Там, кажется, много больных. Я прикажу приготовить вам маршрут и предписание.

— А средства передвижения?

— Гм!.. Доберетесь как-нибудь до ближайшего парка.

— Второй парк стоит в Тарнове, а другие еще дальше.

— Как-нибудь доберетесь. На обывательских, что ли.

— Слушаю-с.

Пешком добрались до Тукова. Сунулись туда-сюда. Ни одной подводы. Только к вечеру попались нам навстречу широкие русские сани, запряженные парой.

— Кто такой?

— Возчик Владимирской губернии. Сполнял грузовую повинность. Четвертый месяц в отлучке. Снаряды возил на позицию.

Кое-как уломали за три рубля довезти до Тарнова. Решающим доводом оказалась бутылка спирту.

— От, ты чудак! Ты бы давно сказал, — обрадовался возчик.

Заворотили коней и поехали.

Дорога идет бесконечным сосновым бором. Лунная морозная ночь. Сани быстро скользят по узкой лесной дорожке. Сосны высокие и прямые шагают навстречу саням, как солдаты. Щетинится хвоя, посыпанная серебристым снегом, стряхивает холодные пушинки, от которых неожиданно просыпаешься, смотришь с изумлением кругом: да разве я спал? Полки щетинистых солдат все идут и идут, и ямщик засыпающим голосом все так же покрикивает:— Эй, Вася!.. Тпру!... — Что такое? Неужели приехали? Как скоро.

— Ваше благородие! Да вже восьмой час, — смеется Коновалов. — Как раз к чаю поспели.

Вторые сутки я, как Чичиков, странствую по Галиции и знакомлюсь с хлебопекарнями нашей дивизии. Заведующие хлебопекарнями — это сплошь какие-то допотопные гоголевские фигуры. От хлебопекарни до хлебопекарни верст сорок. Уже за много верст от хлебопекарни бросаются в глаза огромные столбы густого, черного дыма. Подъезжаем ближе. Какие-то странные шатры, напоминающие ханскую ставку. Сквозь клубы дыма бьет жаркое пламя. Выходит верный хранитель этого пламени, заведующий хлебопекарней № 630 — огромный детина без фуражки в больших сапогах раструбами и басом осведомляется:

— Что надо?

Я объясняю. Прошу созвать команду. Меня ведут в канце-

лярию, куда понемногу сходятся мохнатые распоясанные бородачи в сорочках с засученными рукавами. Все предусмотрительно прячут руки за спиной: у них достаточно оснований бояться держать их на виду.

— Руки моете?

— А как же.

— Сколько раз на день?

— Как водится: встамши.

— Мыло есть?

— Вышло.

— Отчего ногтей не стрижете? По фунту грязи под ними. В баню ходите?

— А где ж баня-то?

— До-ветру впору сходить — не поспеешь. С утра, как прокинулся, как почнешь месить, так до поздней зари спины не расправишь. В поту, как в купели, купаешься.

— Скиньте рубахи.

— И скидывать нѐ для ча. Истлели рубашки-то, как труха сыплются.

У большинства тело в чирьях. Масса чесоточных, с экземами. Есть сифилитики. Процентов десять больных тяжелой чахоткой. И все густо покрыты огромными вшами, которые лениво переползают с места на место, вызывая свирепый зуд.

Докладываю заведующему: ваша хлебопекарня в санитарном отношении — преступное гнездо; ваши люди больны всевозможными болезнями; разве можно такими занавоженными руками хлеб месить? Заведующий смотрит на меня с изумлением и с состраданием пожимает плечами:

— А кто ж мне даст здоровых людей? Здоровые на фронте нужны.

— Больных надо лечить, а не отправлять в хлебопеки. Они заразу разносят. Вы в хлеб вшей запекаете, мокроту чахоточную, сифилитический пот. А какими руками вы месите хлеб? Да и руками ли только.

— А хоть бы ногами, так что? — вызывающе бросает заведующий. — Ведь мы не сырой хлеб выпускаем; а на нашем огне всякие бациллы сгорают.

— Вас за такую хлебопекарню под суд отдать надо.

— Вы из запаса, доктор? Вот то-то и оно. А я старый гусар. Давайте-ка лучше чайку напьемся. А тем временем нам закусочку изготовят. Повар у меня знаменитый — в вашем вкусе: и ногти стрижены, и с колпаком. Я сам наблюдаю. Я, батенька, старый гродненский. . .

Спустя два часа гродненский гусар сидел верхом на скамье и, громко икая, орал осипшим басом:

— Эх, голуба моя! Гусаром вы не были, цуканья не пробовали — вот что. Ну, что такое вошка печеная? Пустячок. А вот лягушку живьем попробуйте проглотить. А у нас в Елисаветградском училище прямо жилы из нас тянули. Как начнут, бывало, «цукать»! Я вам все по порядку расскажу.

— В другой раз, ротмистр, сегодня я тороплюсь. . .

— Э, нет, голуба моя, я вам все по порядку. Было у нас четыре роты в училище. Первую звали жеребцами, вторую — стервами, третью — шлюхами, а четвертую — гнидами. Все у жеребцов по струнке ходили. Дань платили им деньгами, котлетами, работой. Ослушников подвергали «цуканью». Тесно сдвигались все кровати; между ними один продольный проход и несколько узких боковых. В конце прохода ставился «трон». По бокам прохода музыканты с трубами, барабанами, гребешками, свистульками. За музыкантами — жеребцы. По сигналу музыканты жарили туш, а подсудимый шагом направлялся вдоль строя, между двумя шеренгами жеребцов к трону. От каждого жеребца подсудимый получал «закуску». Дойдя до трона, он кланялся жеребцам и садился. Моментально два жеребца задирали ему ноги, а двое других наносили пряжками положенное число ударов. . .

Ротмистр с увлечением описывает бесконечные подробности «цуканья» — с кругосветным плаванием под крова-

тями, с избиением в проходах, с сеансами банными, ночными и спиритическими, кончавшимися глотанием живой лягушки. С трудом вырываюсь на свободу от словоохотливого ротмистра.

Тает. Лошади, мотая головой и похрапывая, хлюпают по талому снегу. Высоко над головой плавно реет биплан, вокруг которого мягко лопается шрапнель, расплываясь пушистыми дымками. Тяжело плывут навстречу артиллерийские обозы, нагруженные патронными ящиками. Бабы на сиротливых клячонках испуганно шарахаются в сторону.

На душе легко и спокойно.

Лишь изредка, когда ветер доносит близкое стрекотание пулемета или взвизгивающая пуля проколет воздух, сердце на мгновенье вздрагивает, оцарапанное страхом.

И опять все просто и ясно. Едем, дышим и радуемся. Вдруг дорога раскалывается. Лошади бегут по крутому спуску в лесистую ложбину. Зигзагами вьется лесная дорожка среди седых и молчаливых елей. Вытянулись мохнатые руки, и сквозь колючие пальцы струится легкая жуть. Кто знает, чьи зоркие глаза наблюдают за нами из запущенной сумрачной мглы? А впрочем, не все ли равно, откуда ударит пуля.

— От-то кроют! Как вальком колотят! — говорит Коновалов.

И голос денщика, спокойный и веский, возвращает меня к трезвой действительности.

— Хар-рашо! — вздыхает полной грудью Коновалов.

— Еще бы! Это тебе не тыл, где все тайком да на цыпочках. Тут, брат, вся душа нараспашку. Убивай, сколько хочешь! Пали! Руби! Гори душа радугой! Вот только начальство дурацкое... Не сковырнуть ли его к чорту?.. А?..

Жду и прислушиваюсь, что скажут Коновалов и Дрыга. Но крепко сжаты солдатские губы, и ключ к солдатским мыслям заброшен в глубину безмолвного бора.

Вечереет. Лениво тащатся лошади в гору, выбираясь из лесного оврага. Молчат пушки. Молчит небо. Молчит земля, как терновым венцом, оплетенная колючей проволокой. Молчат Коновалов и Дрыга, и треплются склоненные головы в папахах, точно решают какую-то трудную задачу.

Стемнело. Холодный ветер лизнул размякшую дорогу. Громко зацокали копыта, далеко разбрасывая тяжелые искры. Торопливо забегали тени. Вдруг огненный пояс опалил безмолвие ночи и исчез, наполнив сердце страшною вестью: сейчас ударит. Куда?.. Загремели тысячи взорванных мостов, загрохотали сотни гигантских камней — ахнула 16-дюймовая «берта». Лошади шарахнулись в сторону и понеслись без оглядки.

— Тпр-ру! Нечистая сила!

— От-то сила! — в благоговейном восторге воскликнул Коновалов.

Дрыга презрительно цыкнул сквозь зубы.

— Какая там, к чорту сила? Морозу — вот кому сила богом дадена! Дыхнул — и всю землю скрозь в камень сковало.

— А может немец такое выдумает, что и морозу твово не станет, — сонно бормочет Коновалов и начинает сладко храпеть.

Дрыга, лениво цыкнув, резонерски бросает в пространство:

— Не толкуй обо ржи, а карман шире держи.

— Это к чему же, Дрыга?

— Да так... Всему свое время... И войне и начальству... Эх-эх... Н-ну! С-волочь паршивая. Вожжу под хвост тянет...

И огретые неожиданно кнутом лошади рванули и понесли в холодную даль.

Заночевали в хлебопекарне № 269. Та же грязь, те же вши, экзема, чесотка. Заведующий Иван Дмитриевич Бобков,

невзрачный, суховатый поручик, выслушав все мои претензии, сердито нахохлился и объявил:

— Меня все это, знаете, не касается. Я ведь не пекарь и не булочник. Этим всем у меня помощник заведует. На мне другие обязанности...

И не без гордости протянул:

— По секретной инструкции.

Бобков порылся в столе и, вытащив небольшую брошюрку в зеленой обложке, торжественно протянул ее мне:

— Не угодно ли?

На обложке значилось: «Современная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состояние ее в связи с национально-общественными настроениями. Записка, составленная военно-цензурным управлением генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта. Походная типография штаба. 1914 г.» Книжечка содержит всевозможные жандармские поучения: как обращаться с завоеванным населением, кого считать друзьями и врагами России, как выведывать политические секреты, как подбрасывать прокламации и как их составлять, какие песни поют и как одеваются сторонники России («Народный совет Галицкой Руси») и что поют «украинофилы»-«мазепинцы» и т. п. и т. п. Особое внимание уделено прокламациям, которые неизменно заканчиваются призывом:

«Кидай оружие и отдавайся православному воинству, которое приймет тебя не як военного пленника, а як родного брата, вертаючего с неволи под стреху родной хаты. Кидай оружие, щобы в велику хвилю освобождения Галицкой Руси не лилась кровь брата от руки брата».

— Как же вы, сидя в хлебопекарне, умудряетесь вести свою пропаганду? — удивился я.

— Именно сидя в хлебопекарне! — воскликнул Бобков.— Ведь население голодает. Старики и дети с утра к сараям бегут, хлеба просят. Вот и суешь им с хлебом бумажки наши.

— Ах, вот как. Вы, значит, районную пропаганду с тайной благотворительностью соединяете... А нашим в придачу к хлебу ничего не даете?

— Даем! — радостно хохочет Бобков. — Даем вот эти приказы.

Я беру из кипы несколько бумажек, из которых воспроизвожу здесь одну:

Начальник штаба 3-й армии сношением от 27 января 1915 г. № 21599 уведомляет, что поступают сведения о прискорбных случаях сдачи нижних чинов в плен целыми партиями.

В устранение этих случаев командир корпуса приказал иметь самый тщательный надзор за слабыми элементами, организовать собеседования с нижними чинами, в коих выяснить весь позор сдачи в плен, подтвердить им еще раз о лишении их семей назначенного правительством пайка и широко огласить следующие факты обращения с пленными:

1. У пленных, как раненых, так и здоровых, независимо от того офицер он или нижний чин, по пути следования даже в присутствии своих офицеров, встречающиеся немецкие солдаты отбирают все, что заметят и что им нравится, — лишь бы отнятая вещь была им полезна и имела какую-нибудь ценность.

2. За все время пребывания в пути пленных — и здоровых и раненых — не поят и не кормят, все пленники питаются подаянием от польских крестьян и овощами, украдкой собираемыми по дороге с огородов и полей.

3. Немецкие врачи относятся к пленным крайне пренебрежительно и по 6 — 8 дней не делают перевязок, отчего раненые умирают.

4. Пленников, как здоровых так и раненых, зачастую оставляют под открытом небом, их загоняют в темный сарай, совершенно не считаясь с тем, что большинство вынуждено проводить ночь стоя, а многие лежат на голой земле.

5. Здоровых пленных нижних чинов и офицеров немцы назначают на работы, причем офицеры, как простые рабочие, разгружают на станции вагоны со снарядами, а двух раненых офицеров казаки заставили руками убирать в отхожих местах; когда же они запротестовали, то немцы нанесли им четыре колотых раны и все-таки добились своего.

Здоровых нижних чинов-пленников впрягают в телеги и лазаретные линейки и развозят на них груз и раненых немцев, а на обрат-

ном пути со смехом и гиком ездят сами. Пленные Таврического полка до самого Радома везли на себе 4 пушки и пулемет, взятые у тавричан. Вообще немцы с исключительным презрением и жестокостью относятся к сдающимся в плен.

Подлинное за надлежащими печатями.

Верно: старший адъютант генерального штаба
штабс-капитан *Самохвалов.*

— Значит, вам здесь скучать не приходится?

— Э, батенька, скоро еще не то будет. Про секретный приказ № 71 о собаках слыхали? Придется нашему брату в дрессировщики поступать.

— Это что за приказ № 71-й?

— Не знаете? А вот прочитайте:

Начальник штаба 21-го армейского корпуса сношением от 6/I с. г. за № 75 уведомил, что верховный главнокомандующий выразил желание завести в войсках сторожевых собак, хотя бы простой породы. Командующий армией приказал указать на возможность применения собак к строевой службе, приручая, подкарауливая и науськивая на пленных. В виду сего командир корпуса приказал во всех частях вверенной мне дивизии завести сторожевых собак, возложив дрессирование их на лиц, прикомандированных для несения секретной службы в войсках.

... Заезжаю в третью хлебопекарню (№ 80) и застаю там полную идиллию. Команда вся в сборе. Казарма сияет чистотой. Нары прибраны. Руки начисто вымыты, ногти острижены, на людях чистое белье. Заведующий — прапорщик из уездных адвокатов, — игнорируя мое появление, продолжает о чем-то беседовать с солдатами:

— А у тебя что, Курдюмов?

Встает плечистый, рослый солдат и молча переминается с ноги на ногу.

— Ну, говори! Тебе о чем из дому пишут? — настойчиво допытывается заведующий.

— От отца письмо, ваше в—ие!.. Просил у меня сосед 100 рублей. Я ему сказал: давай сделаем вексель.

«— На что нам вексель? — говорит. — У нас бог вексель. Я не откажусь.

«Ну, он мужик очень капитальный. Я и поверил. А теперь отец обижается, нè при чем жить. У нас на трех братьев — пять десятин».

— Что же сосед не отдает 100 рублей? — интересуется заведующий.

— Так точно. Отказывается.

— А свидетели есть у тебя?

— Есть.

— Ну, так пиши ему, что в суд подашь.

— А у тебя, Меринов, какая беда? — обращается к другому солдату заведующий.

Меринов солидный, черноглазый мужик, с черной окладистой бородой. Он долго собирается с мыслями и, наконец, заявляет:

— Жена от меня ушла, с другим живет. А при мне шестой год другая баба. Невенчанная. Обижается, что способия не дают.

— А законная жена получает?

— Так точно. Законной способие отпускается, а моей-то бабе обидно.

— Не знаю, что посоветовать, — задумывается заведующий. — Разве написать кому на деревню, чтобы старики по совести рассудили и отобрали пособие для настоящей жены.

— Что это у вас за судилище происходит? — обращаюсь я к заведующему.

— Да так, знаете... Сам я адвокат по профессии... ну, вот юридические советы даю... Все — польза будет... Не угодно ли закусить с дороги?

Адвокат исчезает, и казарма наполняется насмешливым гулом:

— Ох-хо-хо-о!.. Ни пеньев, ни кореньев.

— Всем потрафил.

— Гребцы по местам, весла по бортам, все в полной исправности. . .

— Он еще с вечера учуял, что из дивизии доктор едет. Всю ночь скоблили и парились.

— А что он за человек? — спрашиваю я.

— Худого не скажешь. Только за себя не ответчик он.

— Прямо сказать: загульный человек. И сам не знает, чего язык брякает.

— С утра, как встамши — сейчас руку в шинель и нету его: с обозными водку щелкает.

— О чем это он вас расспрашивал?

— Это в ём спирт мутит. Не его выдумка — спиртовка. Письма, вишь, наши к нему допрежь попадают. Он про сё да про это ухватит, а потом требует, в башке мужицкой копается.

— Пакостей никаких не делает?

— Не, грех клепать. Он во хмелю худого не помнит; только и трезвый он ни к чему. Я, грит, всё по закону. А какая в ём польза? Сапоги свои, рубашка своя, полотенце свое, одна вошь казенная. . . Вот те и законник.

2.

Продолжаю вести кочевой образ жизни. Побывал еще в двух хлебопекарнях. Отослал подробный отчет дивизионному врачу. Заехал во второй парк, где застал предписание командира бригады — «немедленно возвратиться к месту службы». Но офицеры решительно объявили:

— До обеда лошадей не дадим.

Было раннее утро, когда я приехал в парк. Офицеры еще лениво потягивались на койках, вспоминая сны.

— Позвольте, а где ж командир Пятницкий? — спрашиваю я.

— Тю-тю! Поминай, как звали. На батарею ушел. А на его место назначен капитан Иннокентий Михайлович Старо-

сельский. Три месяца командовал 5-й батареей 33-й бригады, 4 месяца — 2-й батареей. А теперь к нам назначен. Сейчас в головном парке находится, представляется Базунову.

— А больше нет новостей?

— Нет. Разве то, что австрийцы зашевелились: то тут, то там ураганный огонь открывают. А у нас снарядов нет и не будет.

— Почему вы знаете, что не будете?

— Заезжал к нам личный ординарец командира 33-й бригады, штабс-капитан Петрусенко. Рассказывал, что к нам в штаб дивизии прикомандирован полковник Каллантаев — состоит в личной переписке с царем и получает от наследника телеграммы. В мирное время он заведывал технической частью Кремля. Лет двадцать назад служил в морской артиллерии. А что здесь будет делать — неизвестно. Так вот с его слов Петрусенко рассказывал, что снарядов нет и не будет. Впрочем, Каллантаев тут же добавил, что и у немцев не особенно густо. Перехватили письмо немецкого офицера, который пишет на родину: «теперь русские могут делать с нами все, что им вздумается». И эта фраза истолковывается, как намек на отсутствие снарядов.

За чаем часу в десятом заехал к нам командир 1-го дивизиона подполковник Сережников. Под его командой четыре легких батареи нашей дивизии после восьмидневного отдыха выступают на позиции. Высокий, бледный, рыжеватый блондин, с большими, голубоватыми, тусклыми глазами. Вежлив, внимателен и суховат. Говорят, был долго нашим агентом в Германии, где торговал спичками.

— Заехал спросить, — сказал он официальным тоном, хватит ли у вас гранат? Хочу сделать запас по 50 гранат на орудие, т. е. по 300 гранат на батарею.

— Гранат совсем нет, — отвечает Болконский.

Слово за слово завязывается беседа. Офицеры интересуются:

— Как дела?

— Ничего. Но стреляем из орудий с осторожностью. Снарядов, сами знаете, мало, особенно гранат. А теперь главное — гранаты. Все в землю врылись. Шрапнелью оттуда никак не выковыряешь. А гранатой удачно ковырнешь — как муравьи ползут.

— Что же мы в наступление переходим?

— Нет, это они шевелятся. Стрельба эта вся орудийная — это не наша, австрийская. За последние восемь дней они два раза в атаку ходили против 10-го корпуса. Теперь против нас атаку готовят.

— А много их?

— Против нашей дивизии две: 7-я и 76-я.

— Кто такие?

— Главным образом венгры. Процентов до 70. Остальные — румыны. Славян совсем мало. Дерутся отчаянно. Приходится добивать: в плен не сдаются. Да и разговаривать с ними невозможно. Особенно с румынами. Венгерские переводчики в штабе дивизии имеются, а по-румынски никто не знает.

— Как расположен наш фронт?

— Я знаю только расположение 21 корпуса. На загибе, правее всех, 33-я дивизия, рядом 44-я, а влево — 70-я, наша. Влево от 21-го корпуса — 10-й. Смычка с 10-м корпусом на 401-й высоте, между нашим Кромским и их Козловским полком. На позиции сейчас только три полка — Кромской, Переяславский и Лохвицкий. Сурский сейчас в резерве. Крепко потрепали его австрийцы во время отбития главного массива, откуда шла самая отчаянная пальба. С этого массива искрошили всю 33-ю дивизию и основательно всыпали 44-й. Массив этот клином врезается между обеими дивизиями. Поручили сурцам отбить массив. И сурцы овладели массивом, а 44-я снова отдала. Переяславский идет зигзагом на юг, а левее — к юго-востоку — кромской. Три наших

легких батареи расположены за Лохвицким полком. Их теперь засыпают гранатами австрийцы, а нам отвечать нечем. Горная батарея и мортиры тоже молчат. Чорт знает, что будет...

После завтрака шатаемся с прапорщиками в окрестностях Шинвальда. Совершенно весенняя погода: почерневшие горы, глыбы талого снега, сизые леса и волнистые дали.

Сегодня праздник. Из костела толпами возвращаются окрестные жители. Девушки прячут лицо в большие платки, а старухи весело поблескивают глазами и низко кланяются:

— Дзень добрый.

По дороге бродят солдатские патрули. Вид у них отъявленно мародерский. Идет починка шоссе. В большие выбоины кладут огромные бревна и засыпают сверху кучами щебня. Работа ведется хищнически. Срубают придорожные ветлы, посаженные вдоль шоссе с обеих сторон. Уничтожены уже сотни деревьев. Кропотливый и старательный труд многих поколений втоптан без надобности в грязь. В нескольких саженях от дороги тянется прекрасный еловый лес, гораздо более пригодный для утрамбовки шоссейных впадин.

Говорю укоризненно солдатам.

— Люди трудились, трудились. А вы зря столько добра изводите. Разве мало в лесу деревьев и без этих ракит?

— Так что не приказано, — отвечают апатично солдаты.

— Что не приказано?

— Так точно, не приказано, — с деланно-глупым видом мямлют солдаты. — Фить-фебель, ваше высокородие.

— Да что вы дурака валяете? Какой там «фить-фебель»?

— Так точно, фить-фебель, — хором рапортуют солдаты и стоят, приложив руки к козырькам с выражением ленивой покорности.

Я торопливо отхожу под пристальными взглядами солдат. Идем дальше по шоссе. У хлебопекарных складов столпилась

куча возов. Одна телега съехала с дороги и загрузла правым боком в грязи. Два солдата, стоя по бокам лошадей, равнодушно стегают их кнутами по ногам. Лошади мучительно тянут, но телега не подается. Десятки солдат тут же стоят без дела и, лениво посасывая цыгарки, смотрят на истязание.

— Разве ж вам не жалко скотины?

— Так точно, — отвечает десяток голосов, и, не двигаясь с места, вся толпа орет:

— Но-о, но-о-о, распротак твою мать, сво-о-лочь!!!

И я не знаю, к кому относится эта свирепая брань, — к лошадям, ко мне или вообще ко всякому начальству, которое шляется по дорогам, вмешивается, куда не просят, и лезет с ненужными наставлениями.

За завтраком стук в дверь. Входит молодой черноусый офицерик с маслиноподобными глазами. Рекомендуется, звякнув шпорами:

— Ординарец из штаба армии. Ротмистр Кинбургского драгунского полка — Гоголихидзе. Прислан за справками, проведена ли через Тухов — Шинвальд телеграфная линия?

Спрашиваем, что слышно.

Ротмистр делает предостерегающий знак глазами в сторону денщиков. И так как он старший в чине, обращается к ним повелительным тоном:

— Марш на кухню!

Денщики краснеют и выходят с опущенной головой. А ротмистр, важно цедя сквозь зубы, говорит:

— Ничего пока. Думаем наступать, но опять придется сидеть.

— Почему?

— Снарядов нет. Ведь мы почти совсем не стреляем из орудий. Одна пехота за всех отдувается; на ее плечах держимся. Где у «них» пять батарей работает, у нас две-три мортиры по выстрелу в час делают. Горных орудий почти

совсем нет. Полевые пушки в резерве: не хватает гранат. А будь у нас снаряды сейчас, мы бы им показали. Ведь мы уже пополнены. На-днях восьмая армия вдребезги расколотила австрийцев. В Венгрию тьма нашей кавалерии переброшена. Третья донская сюда идет. Только бы снарядов побольше!..

После завтрака пошли осматривать шинвальдские окопы. Холодный ветер дул в лицо. Кругом перекликались ружейные залпы, и высоко гудел невидимый аэроплан. Мы подошли к небольшой лощинке, похожей на искусственный грот. На дне ее в беспорядке толпились белые тоненькие березки. А по краям оврага, как суровая стража этого белого хоровода, вытянулись высокие сосны. Вдоль покатой стены, под бугристыми сосновыми корнями притаилась короткая цепь окопов, даже вблизи почти незаметная. Дошли до парапетов и заглянули в первый окоп. На дне его было сухо. Под кучей патронов лежал сероватый конверт, залитый ржавой присохшей кровью. Мы подняли письмо и прочитали. Оно написано было старческой рукой по-польски:

«Дорогой сын наш! Мы бесконечно счастливы, что небо было милостиво к тебе и до сих пор выводило тебя целым и невредимым изо всех испытаний...» и т. д.

А вот другое письмо, покрытое такими же пятнами.

Письмо было русское и коротенькое:

Дорогой мой братишка! Я горжусь тем, что ты грудью своей защищаешь нашу родину от немецких злодеев, и желаю, чтобы ты дрался с врагами так же храбро и смело, как Кузьма Крючков, который покрыл свое имя бессмертной славой.

Горячо любящий тебя брат *Пигасий Синицын.*

— Я бы предпочел, чтобы Пигасий Синицын лежал на месте убитого братишки, — сказал с досадой Болконский и швырнул письмо наземь.

3.

— Поздравляю вас с генеральской ревизией, — встретил меня Базунов. — Получил бумажку из дивизии: приехал специальный ревизор из Петрограда для осмотра конского состава нашей бригады. Будут завтра к двенадцати.

— По какому случаю?

— В Петербурге-то люди постарше чином сидят да поумнее нашего. Знают, что делают... До них, должно быть, только теперь бумажка моя из Люблина докатилась — о ремонте парковых лошадей.

— Так это вы поэтому меня вытребовали?

— Само собою. Офицеры от меня на батарею просятся... Слыхали? Джапаридзе и Пятницкий уходят. На место Пятницкого уже капитан Старосельский прислан... А тут и доктора нет. Скажут: хорош командир, от которого весь состав разбежался. Тут, впрочем, и другие настаивали: доктор Железняк раза два из лазарета присылал за вами. Там какой-то доброволец, тяжело раненый, покоя им не дает — вас требует.

Прочитал короткую записку доктора Железняка: «Доброволец Лохвицкого полка 20-й роты Борис Мухин очень просит вас прийти к нему в лазарет. Тяжело ранен в печень. С минуты на минуту ждем агонии». Я бросился в лазарет и узнал, что Борис Мухин умер ночью от кровоизлияния в печень.

— Кровища из него, как из кабана, шла, — сказал фельдшер и лениво добавил: — схоронили.

Добровольца Б. Мухина я никогда в лицо не видел, но знал его по письмам. Я получил от него два письма. Одно напыщенное, вычурное, написанное языком самоучки, но поразившее меня своей спокойной самоуверенностью.

Вот это письмо полностью:

12/I 1915 г. Позвольте мне выразить мое искреннее уважение к вам. Я не буду говорить высоко о себе, это глупо, но что касается моего образования, то я получил его на книжном складе. Служа там, я своровал много учебных книг, которые все наперечет вычитал, хотя и отрывочно. Бросался я на философию, на историю и на стихи. Сегодня любуюсь Сократом, Дицгеном и Руссо, завтра — Наполеоном, Суворовым, а послезавтра — отважными путешественными Жуля-Верна и т. д. Вот почему у меня получилось стихотворческое настроение. Причиной моего стихотворчества являются классики Байрон, Шекспир, Шиллер, Гейне, Беранже, Гёте и, конечно, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Тургенев, Кольцов и Некрасов. Мои стихи не одинакового достоинства; по этому поводу я могу вам сказать, что в поэзии пыл и переменно бывают то же самое, как и на войне. Здесь есть наступления, отступления, атаки и контр-атаки. Даже у Пушкина и Лермонтова есть очень жаркая поэзия, есть умеренная, есть прямо-таки холодная и вместе с тем очень немногим понятная. Конечно, настроение берется не из книг, а из окружающей обстановки; а у меня именно с малолетства складывалась такая жизненная лавочка, от которой круглые сутки выть приходилось. Если бы вы знали мое житье-бытье и те мытарства, которые приходится встречать на Руси-матушке рабочему человеку, тогда бы вы меня отлично поняли. Я родился на Волге, но почти всю свою жизнь провел на других берегах... Я бы очень желал поговорить с вами кой о чем! Если бы только мне удалось встретиться с вами... Сам я держусь философии Дицгена. Думаю, что вам это понятно.

Все, что я напишу, я буду присылать вам. Вашему вкусу я доверяюсь. Очень рад за вас, что вы так живо интересуетесь поэзией и в особенности такими стихоплетами, как я; знаете, мало интересуются поэзией, когда все заражены военно-манией. По ночам хожу в разведку. Не для того,

чтобы славу получить. И, конечно, не особенно с убийственной целью. Я не люблю вообще женского деспотизма, а в особенности того мирового, которым заражена Германия. В добровольцы пошел я не ради военных кровопролитий с швабами.

От души желаю вам всего хорошего на свете. Остаюсь искренне уважающий Вас.

Борис Мухин.

А вот мои стихи:

Пронзят, быть может, сердце пули?

Пронзят, быть может, сердце пули
Того, кто нежно песни пел...
И он уснет, где все заснули
Сном неподвижных мертвых тел...
Его схоронят без обрядов,
Без панихид и без речей,
Под визг картечи и снарядов,
Под звон сверкающих мечей...
И плакать здесь над ним не будет
Ни мать, ни дева прошлых лет,
И скоро всякий позабудет,
Что здесь лежит Руси поэт.

Окопы 10-го января 1915 г.

Б. М.

«Ждите новых, если буду жив».

Через неделю я получил второе письмо в виде объемистой рукописи, сплошь исписанной стихотворными строчками. Это был ряд набросков под двумя заглавиями: «В окопах» и «Что ждет меня?» Рукопись оканчивалась припиской: «Я бы очень желал встретиться и поговорить с вами, завтра иду в бой, а там что будет».

С утра готовятся к встрече петербургского генерала.

Всюду расставили конных ординарцев. В начале двенадцатого примчался Ковкин.

— Едет!

Выскочили все офицеры с командиром. Со стороны штаба дивизии медленно двигался огромный польский рыдван, запряженный шестеркой лошадей тремя выносами. Впереди казак-ординарец, позади казак-ординарец. На козлах два солдата с винтовками. Поровнявшись с офицерами, экипаж остановился. Из фаэтона выглянул тучный генерал с Георгием на груди. Откозыряв офицерам и размяв затекшие ноги, генерал объявил:

— Редлин, генерал для поручений. А это мой адъютант,— указал он на юркого поручика, выскочившего вслед за генералом из кареты.

Генерала повели в офицерскую столовую. Пыхтя и отдуваясь, он медленно приступил к опросу:

— Как работает интендантство? Доставляет ли сено, овес, хлеб, сухари и пр.? Сколько людей? Лошадей? Всего ли хватает?

Каждый вопрос он раза три повторял шамкающим голосом и потом обращался к адъютанту:

— Запишите.

Адъютант писал, а генерал скучно расспрашивал, задавая ненужные вопросы.

— Ну-с, а теперь покажите лошадей, — сказал он, вдруг оживившись.

Офицеры бросились ко взводам отдавать распоряжения, и мы остались втроем с генералом и адъютантом. Генерал встал, поглядел на ковры на стенах, на металлические распятия и прошамкал с улыбкой:

— Везде люди живут... Ну, как жители?

— Терпят, — ответил я.

Адъютант нахмурился и посмотрел на меня исподлобья.

— Понемногу привыкают? — переспросил генерал.

— Поневоле...

— Да, да, — зашамкал генерал и обратился к адъютанту:

— Запишите: жители привыкают к нашим войскам.

В комнату на цыпочках вошел Коновалов и бросил мне шопотом на ходу:

— Спытайте, чи буде колысь кінець? (Спросите, кончится ли когда-нибудь война?)

— Что что? — заинтересовался генерал.

— Солдаты спрашивают, скоро ли война кончится?

— А! — усмехнулся генерал и, пожевав губами, добавил: — Кто знает? Со снарядами плохо. Всего у нас выделывают по двести пятьдесят тысяч снарядов в сутки, а это выходит по десять снарядов на орудие.

— Так что же будет? — спросил я.

Генерал пожал плечами:

— Пока англичане нам снарядов не подвезут, ничего не будет.

Наконец вывели лошадей. Генерала усадили в кресло посреди площади. Отобрав самых крепких лошадей, ездовые по пять раз проводили одних и тех же мимо размякшего генерала. По установившемуся порядку каждой воинской части присвоены для всех конских названий одна или две буквы. Имена нашей бригады начинались на буквы «Ч» и «Ш». Всех лошадей было свыше 1 000. Придумать тысячу названий на Ч и Ш задача весьма нелегкая. Поэтому некоторые имена поражали своей пикантной неожиданностью. Держа лошадей под уздцы, ездовые, подходя к генералу, выкрикивали с надрывом:

— Конь Чихирь.

— Конь Чембурлом (Чембэрлен).

— Кобылица Шельма.

— Кобылица Шлюха.

— Конь Шанкир.

— Жеребец Шикардос.

Были и более острые названия. Генерал при каждом новом названии прикладывал руку к козырьку и слюняво шамкал:

— М-молодца!

Вдруг сверху отчетливо донеслось гудение неприятельского биплана.

Ездовые всполохнулись и задрали головы кверху. Базунов резко распорядился:

— Ездовые, на коней! По конюшням!

Генерал заерзал в кресле:

— Нельзя ли воды напиться?

И живо заковылял к офицерскому собранию, поддерживаемый своим адъютантом. Базунов, глядя им в спину, подчеркнуто громко соображал:

— Прямо над головой кружит. Сейчас, подлец, бомбу шарахнет...

... Сидим на крылечке и беседуем с денщиком командира Кубицким, который посвящает меня в подробности рыглицкой жизни:

— Прапорщик Болеславский напился и мандолину об стол разбил.

Из Кракова в Рыглицу пробрался польский профессор, который по-русски хорошо разговаривает.

Племянница старого Вуйка заболела дурной болезнью от подпрапорщика Грибанова.

Пан Сикорский опять во Львов ездил и вернулся очень довольный.

Пан Сикорский — тридцатипятилетний толстяк с румяным лицом и наглыми глазами, оказывает какие-то тайные услуги нашему штабу. Он часто шушукается с пехотинцами, у которых скупает за бесценок австрийские кроны, снятые с убитых, и отвозит кроны во Львов.

Самую важную новость Кубицкий приберегает к концу.

Он приближает ко мне лицо с расширенными глазами и говорит таинственным шопотом:

— Мертвяки знов тупоталы. (Опять мертвецы шагали.)

Перед большими боями (это знают жители всех прикарпатских местечек и деревень) начинается по ночам движение мертвецов на Карпатах. Из могил выходят все убитые солдаты и офицеры, собираются по старым частям и идут, рота за ротой, полк за полком, вверх по крутым дорогам.

— А от кого ты слыхал, Кубицкий?

— Стара Юзефа сусідкам казала (старая Юзефа соседкам рассказывала).

— Что же она говорила?

— А кто их знае? Як воны худко засверкочут, я нычого не разберу. (А кто их знает? Когда они начинают шибко стрекотать, я ничего не понимаю.)

— Ну, ладно. А какая погода стояла? Туманы?

— В ярах вітра нэмае, а на горбаку — дуе (в лощинах ветра не было, а на кручах дует.)

Кубицкий не признает этнографических тонкостей. Весь мир он спокойно рассматривает с точки зрения собственного села, перекраивая и быт и природу Галиции на свой полтавский солтык. Роскошные парки при замках он упорно называет садочками, а глядя на высокие резные решотки, окаймляющие стальной оградой парки, Кубицкий лениво спрашивает:

— На що им такой залізный тин здався? (К чему им такой железный забор понадобился?)

Карпаты он раз навсегда измерил своим украинским глазом и разбил их на горбаки и ярочки (холмики и ложбинки).

— Хотел бы тут жить, Кубицкий? — спосил я его как-то.

— Хиба ж тут людям жить можно? Тут тілько зайчикам бігать.

Впрочем, не в одном лишь Кубицком живет эта домотканная заскорузлость. Нигде с такой отчетливостью не выступает профессионально-классовое нутро человека, как на войне. Это особенно сказывается на офицерах; царская армия вся пропахла духом крепостной николаевщины. Солдат — раб, холоп «по приводу». На службу он смотрит, как на барщину, и до сих пор уныло поет:

В воскресенье раным рано
Во все звоны звонят —
На солдатскую на службу
Наших парней гонят...
Вы тоску родной сторонки
Разнеси́ть по ротам —
Вам винтовка будет жонкой,
Плётка — помоло́том.

Офицер душой крепостник. Конечно, это не прежний секунд-майор и кнутобоец; но даже самый либеральный из военных говорунов за порогом офицерского собрания немедленно превращается в плантатора или негритянского королька. «Руки по швам! Руки по швам!» — Этой формулой исчерпывается все мировоззрение офицера. В переводе на казарменный обиход она обозначает глубочайшее презрение к «нижним чинам», издевательство, зуботычины и жестокость, доходящую до садизма. Ведь ни один народ в мире, кроме русского мужика, не додумался до «заговора на подход к лютому командиру». Сколько нужно было выстрадать солдатскому сердцу, чтобы, идя к начальнику, шептать трясущимися от страха и ненависти губами:

«... От синя моря силу, от сырой земли резвоты, от частых звезд зрения, от буйна ветра храбрости ко мне... Стану раб божий, солдат негожий, благословясь и пойду перекрестясь, из казармы дверьми, из двора воротами, пойду я, раб божий, солдат негожий, с полками да с ротами, с солдатскими заботами на чистое поле, под красное солнце, под

светел месяц, под частые звезды, под полетные облака... И буди у меня, раба божьего, солдата негожего, сердце мое — лютого зверя, гортань львиная, челюсть — волка порыскучего... И буди у начальника моего, супостата болотного, капитана пехотного, брюхо матерно, сердце заячье, уши тетеревиные, очи — мертвого мертвеца, а язык повешенного человека; и не могли бы отворятися уста его и очи его возмущатися, ни ретиво сердце бранитися, ни рука его подниматися на меня...»

— Ты от кого научился этому «заговору»? — спросил я Окулова, солдата Олонецкой губ.

— Не могу знать, — ответил он равнодушно и лениво добавил:

— Окулов что знат.. ?.. что темно, что светло... У нас людей нет — одни олешки бегают...

Кадровый царский офицер проводит весь век свой между колодой карт и бутылкой водки. У него такой же масштаб, как у Окулова и Кубицкого. Только вместо аграрно-шаманской мерки у него своя — трактирно-амурная установка. При обсуждении военных событий то-и-дело слышишь от офицеров такие даты — в духе чеховской «Живой хронологии»:

— В боях при Тэнгобоже... помните?.. это там, где нас «старкой» ксендз угощал...

— Это там, где мы помещика на триста рублей накрыли...

— Это там, где мы с паненкой танго в темной комнате танцовали, и т. д. и т. д.

Всякий раз, как я слушаю эту живую офицерскую хронику, мне вспоминается разговор с аптечным фельдшером Шалдой:

— В Галиции книжки хорошие, — объявил он мне.

— Вы разве читаете по-польски?

— Нет; для порошков бумага хорошая.

4.

Прибегает какой-то оборванный, лысый, бородатый еврей, кланяется в пояс, просит к больным детям:

— Пане, пане, х в о р ы д у ж е.

Прихожу. Восьмеро ребят. Старшей девочке лет 14. Две девочки помоложе — в постели. Бледные, тощие, испуганные. Прячутся от меня под одеяло. Кое-как осмотрел: тиф. В доме шестнадцать солдат. Хозяин просит: уберите хоть половину. У дверей мать-старуха хватает меня за рукав и кричит на жаргоне, уверенная, что говорит по-немецки:

— Ратуйте, доктор! Что делать? Умираем с голоду. Работы нет, денег нет, дети хворают... Что делать? Только солдатами и держимся.

— Какими солдатами?

— Ваши жолнежи... хлебом деток годуют (кормят).

Странный народ эти солдаты: днем кормят население своим хлебом, а ночью ломают клети, растаскивают заборы на топливо, грабят, насилуют...

Сидим на еврейском кладбище с Базуновым. Глухо доносятся в лощину ружейные залпы. Груды обгорелого мусора и досок, из-под которых торчат мешки с книгами. Две женщины с изумлением смотрят на офицеров, сидящих на кладбище.

— Что это? — обращаюсь я к одной, указывая на груды молитвенных покрывал и мешки с еврейскими книгами.

— Это жидовское кладбище, — говорит она. — Тут была их молельня. Ваши солдаты растаскали ее на топливо.

Ее перебивает подошедшая старая еврейка.

— Не верьте, пане. Они всегда врут про нас...

— Что это за книжки валяются? — спрашивает Базунов.

— Это наш старый цментаж (кладбище). Тут была молельня. Ваши жолнежи попалили его.

— Зачем?

— А я вем? . .

И в печальном раздумьи добавляет:

— Война. . .

— Это все ваш старушек наделал, Франц-Иосиф, — говорит Базунов.

— О, — скривив губы, заговорила плачущим голосом старуха, — что они нам наделали, этот Францишек и другой наш лютый злодей — пшеклентый Вилюшь! (Вильгельм проклятый!) Ничего у нас нет: ни муки, ни хлеба, ни товаров. Под конец дней живем подаянием солдатским. Сын и зять на войне. А где? Разве мы знаем? Быть может, давно убиты. . .

Мы поплелись домой.

Дорога залита черной, густой, вонючей жижей. Лошади вязнут по колено в грязи. Люди тяжело ступают по лужам за хлюпающими возами. Над местечком нависла остервенелая брань, такая же мерзкая и противная, как брызги вонючей грязи. Огромный обозный солдат хлестал кнутовищем лошадь и вопил, задыхаясь от бешенства:

— Не скидай, мать твою так, я тебя научу скидавать! Тяжче смерти сделаю, стерва окаянная!

Другой с пеной у рта разносил кучку пехотинцев, расположившихся тут же на дороге.

— И чего вы тут, черти, лодыри, шляетесь? Сидели б в своих окопах и не мешали б людям дело делать!

На что пехотинцы с ленивым презрением отвечали:

— Ишь, развонялась кишка обозная! Раскрой шире хайло-то: пулей заткну.

Десятки солдат, распахнув полушубки и сдвинув папахи на затылок, надсаживаясь, обливаясь потом и сотрясая воздух градом каленой матерщины, вытягивали из грязи застрявшие возы.

Бочком, в стороне от дороги идет группа евреев — старики и женщины. Пугливые, безмолвные, нищие.

— И жалко, глядя на них, — говорит громко солдат, — и душа не знай-чего злобится. Только у них и дела, что плачут.

— Со страху больше, — вставляет другой. — Дух у них хлипкий. Ты к ему с лаской, а у него поджилки трясутся и верезжит по-песьи.

Путаясь в своих долгополых кафтанах, плетутся, сгорбившись, старики, и к ним пугливо, как овцы, жмутся худые, обмызганные женщины. Ни разу не привелось мне здесь видеть евреев вместе с поляками. Евреи довольно редко показываются на улице. Но когда их видишь, они цепляются друг за дружку — отдельно от поляков. Даже дети еврейские и польские никогда не сходятся вместе. А если поляки говорят о евреях, то всегда с усмешкой, неприязненно и обидно. Дети и молодые девушки говорят иногда по-польски, старики — никогда: друг с другом — по-еврейски, а с нами — охотнее по-немецки.

— Разве вы не говорите по-польски? — спросил Джапаридзе пожилую еврейку Шифру Блюм.

— Говорим, — ответила она, — но нам приятней разговаривать по-немецки. Мы друг друга не любим. Зачем же нам говорить по-ихнему?

У костела повстречался с двумя ксендзами. Оба взволнованы. Рассказывают такую историю. На базаре в праздничный день жители обступили обозного солдата, продававшего в небольших пакетиках чай — солдатские порции. Тут же стояли оба ксендза, наблюдая за торговлей. Проходил мимо обозный офицер, увидал эту сцену, ударил солдата по лицу и рассыпал пакетики с чаем — в том числе несколько проданных и оплаченных. Ксендз пробощ загорячился и начал укорять офицера. Тот грубо оборвал:

— Уходите отсюда, а то и сами того же дождетесь.

Ксендзы, конечно, ушли.

Вечером обозный капитан пришел к докторам на пульку

и застал обоих ксендзов. Ксендз пробощ стал журить капитана.

Капитан свирепо выругался и пригрозил выселить обоих ксендзов из Рыглицы.

— Это за что же? — заволновался пробощ.

— За распространение ложных слухов о русской армии. Вы и туховский ксендз все время распускаете о нас всякие небылицы и мутите все население.

С трудом удалось успокоить капитана.

— Пришлось проиграть ему три красненьких, — сказал на прощание Якуб Вырва.

Молодой викарий проводил нас до собрания.

— Отчего вы, ксендзы, революции не сделаете? — сказал ему по дороге Базунов. — Как вы выносите безбрачие?

Ксендз улыбнулся и рассказал забавную притчу:

— Когда бог закончил сотворение мира, он приказал мужчинам: приходите за женами. Первым примчался турок и набрал себе кучу жен. Потом шли другие народы. Наконец осталась последняя жена. Бог сказал служителям церкви: берите ее себе. Бросились поп и ксендз. Оба в длинных подрясниках — бежать очень трудно. Но попу все же легче, чем ксендзу в узкой сутане. Прибежал поп первый и захватил себе последнюю жену. Тогда ксендз взмолился богу: господи, как же я проживу без жены. Бог и сказал ему: поступай, как знаешь; предоставляю это твоему собственному уму.

— Ну и что же? — заинтересовался Базунов.

— Вот с тех пор ксендзы и устраиваются по своему разумению... Ведь каждая женщина всегда немножко Далила.

5.

За утренним чаем ко мне обратился Джапаридзе.

— Вы даете какие-нибудь поручения канониру Павлову, который едет сегодня в Киев?

— Да.

— И письма с ним посылаете?

— И письма посылаю.

— Заберите ваши письма: он в Киев сегодня не поедет, — многозначительно подчеркнул Джапаридзе.

— А что случилось?

— Скоро узнаете. Сегодня будет день больших неожиданностей.

Между тем Павлов продолжал энергично собираться. Побывал у всех офицеров, получил заказы от заведующего собранием, заклеил все письма в один пакет. Когда Павлов сидел уже на возу, Джапаридзе позвал его к себе и спросил:

— У тебя есть какие-нибудь деньги?

— Сто рублей — офицерских и своих двадцать пять.

— А больше нет?

— Никак нет, — ответил тот.

— Разденься! — приказал ему Джапаридзе и, обращаясь к фельдфебелю Удовиченко и Гридину, распорядился:

— Обыщите его.

Под двумя теплыми фуфайками, в тельной рубашке нашли зашитыми 900 рублей.

Павлов, — бывший фуражир, недавно отставленный. Дня три назад он принес письмо с известием о смерти жены и стал проситься домой.

— Откуда у тебя деньги? — спрашивал Джапаридзе.

Павлов молчал.

— Позовите сюда Новикова, Горелова, Полякова и Фетисова, — приказал Джапаридзе.

Приведенных (все фуражиры) немедленно обыскали и нашли: у Новикова — 1122 р., у Горелова — 570 р., у Полякова — 590 р. Фетисова, считавшегося самым честным фуражиром и заведывавшего покупкой скота, на месте не оказалось. Он пришел через полчаса и принес счет на по-

купку коровы. — Был он бледен и очень смущен. Джапаридзе резко обратился к нему:

— У тебя есть свои деньги?

— Так точно, рублей 50.

— Покажи.

Он протянул кошелек, в котором оказалось 190 р. казенных денег и две двадцатипятирублевки.

— Тебя предупредили? — спросил Джапаридзе.

— Никак нет!

— Врешь! Раздевайся!

При обыске в карманах нашли несколько расписок на проданный скот.

— Что за расписки? Признавайся! — закричал Джапаридзе. — Я тебе верил, считал тебя честным солдатом. Докажи хоть теперь, что ты лучше других. Говори правду.

— Это, ваше высокородие, записки ненужные. Их хучь спалить можно.

— Зачем же они у тебя?

— Упомнил порвать.

— Говори правду! — кричал Джапаридзе. — Я ничего не понимаю. Я должен под суд тебя отдать за подлог и мошенничество. Что за расписки? Ты что-нибудь понимаешь? — обратился он к Гридину.

Гридин (бывший жандарм) сладко протянул:

— Так точно. Отлично понимаю. Он, ваше высокородие, брал расписку от пана, у которого корову купил, правильную расписку, за сколько купил — скажем за 30 рублей, а потом шел к другому пану, и тот другой мужичок за двугривенный давал ему другую расписку, неправильную, подложную не на 30, а на 40 рублей. Вот и барышей десятка.

— Так это было, Фетисов? Гридин правильно говорит?

— Так точно. Правильно.

— Сколько же ты приписывал к каждому счету?

— Когда рубль, когда два.

— Почему ж у тебя так мало денег? Значит, у тебя своих не 50 рублей, а больше.

— Никак нет. 50 рублей только.

Фетисов стоит красный, с опущенной головой. Офицерам, присутствовавшим при этой сцене, было совестно и неловко, но жалости к пойманным фуражирам не было. Все превосходно понимали, какие жестокости, какие солдатские расправы над бедными жителями скрывались за этими награбленными деньгами.

— Господа офицеры, — обратился к присутствующим Джапаридзе, когда ушли фуражиры, — я не нахожу выхода. Простить? Тогда фуражиры попрежнему будут грабить и воровать в надежде на снисходительность начальства. Предать суду? Это — расстрел или каторга.

Наступило тяжелое молчание.

— Давайте судить их собственным судом, — предложил доктор Костров.

— Что ж, это можно, — неопределенно протянул Базунов.

— Хар-рашо! Сегодня вечером суд! — отчеканил своим гортанным голосом Джапаридзе. И обратился к Гридину:

— Созвать офицеров из всех трех парков.

Вечером собрались все офицеры. Было душно, накурено; всем хотелось поскорее отделаться от этой тяжелой процедуры. Фуражиров не было, суд начался заглазно. Первым заговорил вновь назначенный командир второго парка капитан Старосельский. Невысокого роста, плотный, широкоплечий, с бритой головой, небольшими зелеными глазами, под тяжелыми веками, он говорил веско, холодновато и скупо:

— Надо отобрать деньги. Это прежде всего. Пока не докажут, что деньги не награблены, а собственные. Набить

хорошенько морду, — и конец. Под суд отдавать не следует.

— Под суд не следует, но и бить не надо, по-моему, — заявил доктор Костров.

Старосельский заволновался:

— В мирное время я ни разу солдата не ударил. А теперь иначе нельзя.

— Это гадость, — вставил Костров.

— Да, это гадость, это уродливо — бить солдата. А вся война не уродство? У меня теперь твердая система. Во время боя хороший тумак по голове, это лучший способ спасти человека от обалдения. А мародерство? Я не знаю другого лекарства от мародерства, как крепкий стэк. Не предавать же суду солдата за каждого уворованного курчонка. Огрейте его хорошенько хлыстом и он сразу проникнется уважением к чужой собственности.

— Надо позвать фуражиров и добиться от них признания, — предложил адъютант Медлявский, — тогда судить будет легче.

Вошли фуражиры. Первым выступил Новиков, взводный 3-го взвода, у которого нашли 1122 руб. Умный, кряжистый мужик, Курской губернии, Льговского уезда. По занятию прасол, торгует птицей и яйцами. Имеет капитал в банке (тысяч пять, — говорит). Оборотистый, ловкий и решительный. Я видел его в трудные минуты: взвод повиновался ему беспрекословно.

— Признавайся! — обратился к нему Джапаридзе. — Все равно будет произведено следствие у тебя на деревне.

— Что ж, я не отказываюсь. Деньги мои, не казенные. Только об них никто не знает в семействе: ни брат, ни отец, ни жена. А случилось это вот как. Была у меня кобыла, хорошая лошадь, как жену любил. Продал я ее, как на войну уходил. А сколько взял, утаил. Деньги с собою взял, чтобы

после войны лошадей закупить и продать с барышами в России. Вот откель деньги мои.

— В последний раз говорю тебе: повинись! Признаешься, деньги отдашь, не отдам под суд. А будешь врать про кобылу, пропадешь как собака!

Новиков, побледнел, задумался и, махнув рукой, объявил:

— Хучь жалко денег — свои ведь, кровные — да что делать? Вы нам, как отец родной. Как знаете — пожалейте: не предавайте суду.

С другими пошло легче. Они отдавали деньги, кряхтя и смущаясь, и больше для видимости прибавляли:

— На войне делить нечего: все казенное.

— Только бы душу сберечь.

Один Фетисов не сдавался:

— Больше 50 рублей не имею.

Но, когда сверили с найденными при обыске расписками, оказалось, что к каждому счету он по 5 рублей приписывал. Подсчитали: рублей 400 должен иметь. Джапаридзе выходил из себя:

— Я тебя в карцере сгною. Все равно денег не получишь. Прямо отсюда прикажу увезти и запереть.

Наконец, сознался: дал деньги на хранение ездовому Миронову, а тот схоронил их в седле — между ленчиком и подушкой.

Едва удалились фуражиры, как началась жестокая перебранка. Большинство офицеров требовало:

— Деньги зачислить за командой — на улучшение довольствия, а фуражирам морду набить.

— Кто же бить будет? — спросил адъютант.

— Как кто? Офицеры, — ответил Старосельский.

— Этого не будет, — крикнул Костров и, стуча кулаком по столу, бросал задыхающимся голосом:

— Вся армия занимается грабежом! И больше всех офицеры! Из Тухова штабные офицеры все люстры вывезли,

серебро, зеркала, посуду, картины!.. Капитан Кравков пять экипажей домой отправил. Полковник Скалон два автомобиля к себе в имение отослал. Мебель, рояли, лошади — все разворовано у населения!..

Свирепо размахивая кулаками, Старосельский наседал на Кострова:

— За это по морде бьют... под суд... оскорбление мундира...

— Капитан Старосельский, — холодно заговорил Базунов, — обращаю ваше внимание, что у нас в бригаде врачи пользуются такими же правами, как офицеры. Они принимают участие в суде и имеют право высказывать свое мнение. Дело собрания принять то или иное решение.

— Слушаю-с, полковник, и принимаю к сведению, — протянул обиженным голосом Старосельский и, щелкнув каблуками, вытянулся в струнку.

Часа через два после ужина в собрании царило дружное «винопийство». Хохотали, шутили, играли в карты. Костров с Старосельским, как ни в чем не бывало, резались в девятку. Из-за стола их ежеминутно долетали шумные выкрики Кострова:

— Ах, елки зеленые! Уконтропил!

Выигрывая, Старосельский аккуратно запихивал бумажки в большой кошелек на цепочке у пояса.

Ночлег Старосельскому отвели у меня. Уже лежа в постели и загасив свечу, он обратился ко мне:

— Вы очень дружны с Базуновым?

— Да, я считаю его очень интересным человеком.

— Смотрите, не очень с ним откровенничайте. А то...

— Что такое?

— Ведь он... в дворцовой охране служит.

— Что это за дворцовая охрана?

— Не знаете? Особая жандармерия, которая следит за

настроением офицеров. Раньше во главе ее стоял великий князь Сергей Михайлович, а теперь — барон Фредерикс.

— Откуда вы знаете про Базунова?

— Посмотрите его послужной список. Больше трех лет он нигде не служил. Бросают его и в Сибирь, и на Урал, и в Воронеж. Для наблюдения назначают.

Разбудил нас радостный крик Кострова:

— А что! Читали новый приказик главнокомандующего? Недурственно. Не в бровь, а в глаз вам, Иннокентий Михайлович. Не угодно ли почитать?

— Читайте, а мы послушаем.

Захлебываясь, прищелкивая и пересыпая приказ сочувственными восклицаниями, доктор Костров читал:

Секретно. Копия с копии на имя начальника штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта генерала от инфантерии Алексеева.

18 января 1915 года г. Кыров.

Ваше высокопревосходительство, глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Долг офицера и порядочного человека, для которого дороги честь и доброе имя русской армии, повелевает мне написать вам это письмо и сообщить вам о весьма печальном явлении в нашей армии. Не совсем корректное отношение некоторых офицеров к чужой собственности мне приходилось иногда наблюдать, и я боролся с этим по мере сил. Теперь до меня дошли совершенно определенные слухи о том, что офицеры посылают много награбленных вещей в Россию, своим семьям. Посылаются экипажи, сервизы, даже ценная мебель. Какой позор, какая гадость! Все это идет через Львов и, вероятно, пересылается под видом казенных грузов. Можно это все сразу пресечь, установив досмотр грузов, направленных в Россию, да, вероятно, можно установить, что и куда было вывезено, особенно такие вещи, как экипажи. Писать об этом официально я не считаю возможным, почему и обращаюсь к вам с этим частным письмом, будучи уверен, что вы поймете и мое возмущение этими недостойными поступками некоторых офицеров, бросающих тень на всю армию. Не думаю, что я мог ошибаться, так как получил сведения из нескольких

совершенно разных источников. Прошу извинить меня за беспокойство и верить, что любовь к нашей армии и обида за нее заставили меня прибегнуть к этой мере.

Искренно и глубоко уважающий вас и расположенный к вам

А. Хвостов.

Копия секретного сношения начальника штаба III армии от 12 февраля 1915 года за № 32817.

Командиру 21-го армейского корпуса.

Препровождая копию письма на имя начальника штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта, уведомляю, что командующий армией полагает, что в 3-й армии случаев, подобных изложенному в письме, не было, но его высокопревосходительство считает необходимым поставить о сем в известность всех начальствующих лиц для предотвращения возможности подобных случаев в будущем.

С копией верно:

Старший адъютант Управления инспектора артиллерии XXI армейского корпуса капитан *Карпов.*

— Каков приказик-то! Ась? — радостно захлебывается Костров. — Нутка, Иннокентий Михайлович, шуганите-ка генерала Алексеева; под суд... оскорбление мундира!.. Оххо-хо, палки зеленые, елки дубовые! Недурственно, ась?..

— А все-таки вашим фуражирам сегодня морду наклепаем! — жестко усмехается Старосельский.

...Прививаю оспу солдатам. Возле меня кучка бородачей. Один, усмехаясь, тянет:

— Видать, и об нас господь печется: какого начальника послал.

— Это о ком вы?

— Известно о ком: об командире об новом — из второго парка который.

— Не по душе пришелся?

— У-ух! Лицом темный, глаз вострый...

— С батареи ребята сказывали: драться лютый. Жалости ни к чему не имеет.

— Бьет без обману, — насмешливо долетает со стороны. — Уж как тебе лютовал сегодни над фуражирами... Отстрадались!

— Разве их били?

— Ну, как же! Всю команду построили — глядеть...

— Их благородие, капитан Джапаридзе, — поясняет кто-то, — раз-два по морде Фетисова хлеснули — и будет. А энтот... всех наградил. Смертным боем бил! Одну руку в карман, а другой лупит да лупит. Уж кулак побоев не принимает, а он все тешится — аж трясется... Не будет ему доброго конца...

— Вдвоем били или еще кто?

— Наш-то больше для видимости... А энтот — не для ради порядку, а по злобе.

— Из чужого парка драться приехал.

— Ничего... доиграется...

— Может и наш кулак на что-нибудь нужен... Разве по-другому не будет...

...— К вам, доктор, можно?

Человек лет тридцати, в хорошо сшитом пальто, рыжеусый, лицо интеллигентное. Говорит без акцента по-русски.

— В чем дело?

— Нельзя ли рецепт на спирт получить? Комендант Тарнова Бер раз отпустил мне без рецепта, но приказал запастись рецептом от военного врача.

— Как фамилия? Кому выписать?

— Профессору Вацлаву Орлову.

— Вы профессор?

— Да, профессор. Читаю латинский и греческий языки в реальном училище в Кракове.

— Как вы сюда попали?

— Я проводил свою жену и ребенка в деревню, к родным, и на обратном пути был захвачен вашим наступлением. Я

был невольным свидетелем всех разыгравшихся событий...

— Вы долго жили в России?

— Отец мой русский, женат на польке. В Кракове я знаком со многими русскими.

— Например?

— С эмигрантами... Я с ними часто встречаюсь. Здесь я видел все...

— Т. е. что именно?

— Я видел стреляющих и обстреливаемых. Видал, как наши и ваши войска сдаются в плен. Ко многому присмотрелся. И все, как беспристрастный свидетель, записал. От слова до слова, как слышал. Многое из того, что я записал, не прошло бы через русскую цензуру, многое не пропустили бы наши цензора. Разрешите к вам заходить...

... Весь день избегаю Базунова, невольно его сторонюсь. Случайно сошлись на кладбище. С первых же слов Базунов ворчливо обрушивается на Старосельского:

— Вот человек признания своего не отгадает. Ему бы в тюремных надзирателях или привратником в аду состоять: колотил бы себе грешников по тощим бокам — и был бы счастлив. А то извольте радоваться — бородатых мужиков по щекам хлещет... Ишь ты, прохвост! Если на место Джапаридзе мне такого же героя посадят, то это получится хорошенький Порт-Артур... Вы-то... того... посдержанней с ним беседуйте...

— Об чем это?

— Да о чем хотите... Он, ведь, с жандармским ароматцем... У него там, в Самаре или в Саратове, в пушку-то погромном рыльце оказалось. Даже из бригады выгнать хотели... Да!

Прямо с кладбища бегу к Джапаридзе:

— Милый Ной, будьте великодушны, извлеките занозу

из сердца: что вы знаете о Базунове? Верно ли, что он в придворной охране служит?

— Кто вам сказал? Старосельский? — смеется Джапаридзе. — Верно. Об этом говорили в бригаде. Но, сказать по правде, офицеры все друг друга боятся и друг друга в тайном шпионстве подозревают.

— А на самом деле?

— На самом деле, ей-богу, ничего, кроме хорошего, о Базунове не знаю. Четвертый год под его командой служу... А, впрочем, чорт его знает... Между жандармом и офицером, сами знаете, разница, во всяком случае, не больше, чем между ветхим и новым заветом...

— Будто?.. Но к вам это не относится...

— Не относится?.. И я такой же. Пошлют меня в карательный корпус мужиков усмирять — пойду и буду расстреливать.

— Даже мужиков вашей прекрасной Грузии?

— Все равно. Хоть брата родного... Эх, друг мой... кто к чему приставлен!

6.

Второй день живу в Шинвальде — прививаю оспу солдатам 2-го парка. Жесткая рука Старосельского прижимает и команду и офицеров.

— Н-ну, команди-ир, забодай его лягушка, — почесывается жизнерадостный прапорщик Киричейко.

— Н-ну, командир, задави его гвоздь, — повторяет со вздохом прапорщик Болконский и поет на мотив из «Синей птицы».

Прощайте, прощайте, прощайте навсегда,
Веселые дни Аранжуэца...

— А пьет? — спрашиваю я.

— Не пьет, не поет, не смеется, — отвечает Киричейко. — Как петух, честь свою бережет и в строгости соблюдает.

— Одним словом, — добавляет Болконский, — дух Ханова воцарился в нашем несчастном парке.

Ханов — самая мрачная фигура в нашей бригаде.

Крестьянин Курской губ., Льговского уезда, садовод по профессии, Ханов на все увещания сходить в баню мрачно отвечает:

— Мы, льговские садоводы: всеми корнями в земле сидим.

К людям Ханов относится с величайшим недоверием и о каждом человеке, одетом в штатское платье, угрюмо соображает вслух:

— Не иначе, как шпеон!

С солдатами он постоянно ругается. Домой никогда не пишет, а на вопрос хочему не пишет, меланхолически отвечает:

— Писать нé для ча: верно давно все перемерши...

«Потомственный почетный мизантроп» — называет его Болконский и любит пускаться с Хановым в долгие прения, чтобы вызвать «реакцию на пессимизм».

— Ханов, — спрашивает он, — хорошая у меня лошадь?

Это великолепная статная кобылица прекрасных кровей, предмет зависти всей бригады. Ханов долго осматривает ее критическим взглядом и, не найдя ни малейшего порока, заявляет с печальным вздохом:

— У нас во Льгове на конской ярмарке таку самую лошадь макомобиль задавил.

— А груша эта хорошая? — указывает Болконский на дерево за окном.

— Его? — презрительно вскидывается Ханов. — Через двадцать лет загниет.

— Почему так?

— Потому всякое древо уход требует. Тут почва жидкая. По началу древо шибко растет. А как корни вглубь ки-

нутся и до воды доберутся, тут по древу антонов огонь пойдет.

— И спасти никак невозможно? — допытывается Болконский.

— Спасти? Здешние садоводы разве так дело свое понимают? Фруктовое древо с понятием ростить надо! Груша, к примеру: десять лет ждать надо, чтобы пущать ее в ход. Каждый год цветы обрезать на ней. Как весной начинает наливать соком, надо обновление делать коры. Есть таки щетки стальные. Не сдирать надо, а таскаешь щетки туды и сюды... Здесь такого древа и не видать. Здесь — гниль, а не груша.

— А ваши льговские груши долго живут?

— Где грунт позволяет — так, чтобы чернозём на аршин, а под спод глина — полтораста лет жить может.

— Значит, дерево больше человека живет?

— Разве можно человека к древу ровнять? — пренебрежительно усмехается Ханов. — Древо, ваше благородие, крепче железа будет: его ржа не берет. Оно ни холоду, ни воды не боится. В ём самом жар какой согревает. Без древа и житья бы нашего не было. А человеку смертный удел положен. Древо засохнет, рассыплется и духу от него никакого. А человек и живой-то смердит, а как помрет — подступить к нему невозможно. Разве может человек против дуба?

— Однако же, Ханов, ты не на дереве женился, а на бабе.

— А какая от ей польза, от бабы? — мрачно воодушевляется Ханов. — Весь век голосит — причитает, ревет белугой, а работу взять — хвалить не за что. Древо и тень дает, и цветочки, и фрукту, и жар какой. Вот за что я до древа любовь имею. Без бабы лучше. От бабы всегда смерти ждешь.

За обедом Старосельский, пристально глядя мне в глаза, спросил:

— Вам Базунов ничего обо мне не рассказывал?

— Рассказывал... Рассказывал о вашем поведении во время еврейского погрома в 1905 году.

Старосельский налился кровью.

— Это все ложь! — загорячился он. — Я расскажу вам, как это все произошло. Я служил тогда в Саратове — в 1-м дивизионе 3-й запасной бригады. Командиром дивизиона был Зворыкин, нынешний губернатор в Ростове. Человек твердый, решительный и смелый. Пока шла борьба с забастовками, офицеры всячески уклонялись от несения караульной службы. 17 октября после объявления манифеста был устроен в общественном собрании митинг. Пошел я с одной знакомой девицей. На митинге ко мне подошел неизвестный господин, посмотрел на меня и сказал:

« — И вы явились сюда? Смелый вы человек.

« — Что вам угодно? — обратился я к нему довольно грубо.

« — А о существовании боевой организации вам известно?

« — Известно.

« — И вы все-таки пришли? Ведь вы командир пулеметной роты?

« — Вы ошибаетесь. Я артиллерист. Моя фамилия Старосельский.

«Назавтра я узнал от Зворыкина, что ему донесли о моей встрече на митинге. Кто был этот господин, я и сейчас не знаю. Вероятно, переодетый жандарм. Тут же я услыхал от Зворыкина, что в городе начался разгром интеллигенции и еврейских квартир. Все артиллеристы начали проситься в наряд. Я тоже получил патруль из 25 человек и пошел по городу. Громили еврейские дома. Громил было

человек двести. Я принялся уговаривать толпу, которая лениво швыряла камни в стекла домов. Спрашиваю:

« — Для чего вы это безобразие делаете?

«Выступила чуйка с козлиной бородой:

« — А зачем жиды царя обижают?

« — Тебе-то какое дело? — говорю. — Для этого армия существует.

« — Коли войско не заступается за царя, мы и без войска обойдемся.

«И продолжает швырять булыжники.

«Тогда я сказал солдату:

« — Дай ему в ухо!

«Солдат развернулся и ударил. Чуйка скрылась. Но через минуту из толпы полетели новые камни. Я отдал приказание патрулю обнажить шашки. Но ко мне подскочил пристав, который до того оставался безучастным зрителем безобразия, и сказал внушительным тоном:

« — Господин офицер, губернатор запретил пускать в ход оружие!

« — В таком случае мне здесь делать нечего, — сказал я. — И ушел.

«Когда я возвращался в дивизион, то видал, что в разных местах города повторилась та же история.

«На следующий день Зворыкин выставил на площади две пушки, и хотя стрелять из них, конечно, нельзя было, но это произвело устрашающее действие на хулиганов. Нам, офицерам, Зворыкин объявил:

« — Берите патрули и действуйте по своему усмотрению, не считаясь с требованиями полиции.

«Будучи уверен, что полиция все равно не позволит нам действовать оружием, я отказался от несения караульной службы. Между тем в тот же день прапорщик нашего дивизиона застрелил босяка, ударившего еврея, и наши артиллерийские солдаты, не дожидаясь распоряжения, обнажен-

ными шашками разогнали громил. Погром моментально прекратился.

Через неделю офицеры нашего дивизиона, не знаю по чьему наущению, предъявили мне обвинение в активном содействии погрому. Меня оклеветали, будто в качестве члена боевой организации я науськивал толпу на евреев в первый день погрома и потом, на другой день, отказался итти в наряд, так как знал, что войска будут действовать оружием. Разумеется, обвинение было ложное».

— А что это за боевая организация?

— Союза русского народа.

— Вы знали о ее существовании до погрома?

— Все офицеры знали.

— Но вы по своим убеждениям — антисемит?

— Ничего подобного. Здесь, на войне, совсем недавно я прекратил еврейский погром в местечке Люшнове. Это было 9 августа. Мы только-что перешли через границу. Вошли в местечко — жителей ни души. Посреди базарной площади — коновязь мортирного дивизиона. Площадь — вся белая от пуха. Куча рваных перин. Лошади нервничают, от малейшего ветерка подымаются тучи пуху и залепляют им глаза. Лошади, люди, вещи, возы все покрыто пухом, который носится в воздухе и буквально мешает дышать. Вместе с пухом в воздухе стелется едкий дым от сожженного винокуренного завода. Из всех домов выволокли мебель, обломки которой валяются тут же, на площади. В большом, мягком кресле, утопающем ножками в пуху, сидит бородатый дядя — дневальный. На другом кресле, рядом — хомуты и сбруя.

«Я приказал застлать площадь сеном и пошел отыскивать помещение для офицеров. Но куда ни войдешь — груды битого стекла, обломки и человеческие испражнения. Вдруг вижу большой каменный дом с высокими полукруглыми окнами, довольно красивое здание. Вхожу — синагога. Внутри солдаты ковыряют штыками массивный амвон. Дру-

гая кучка силится сломать тяжелую дубовую скамью. Со всего размаха они колотят по дереву обломком люстры и литым металлическим подсвечником. На полу изорванные свитки торы. Так досадно сделалось. Обращаюсь к солдатам:

« — Для чего вы это делаете?

«Смотрят бараньими глазами и молчат.

« — Убирайтесь вон!

«Вышли.

«Минут через 20 прихожу с двумя другими офицерами в синагогу и застаю за тем же занятием кучку пехотинцев; несколько человек с трудом приподымают тяжелую скамью и с грохотом швыряют ее об каменный пол. Но скамья прочная, как железо: не поддается... Пришлось выставить караул у синагоги».

— А остановились вы где, в синагоге? — спрашиваю я.

— Говорю ж вам, других помещений не было.

Болконский и Кириченко хохочут.

— Значит, вы потому синагогу от солдат очистили, что вам квартира нужна была?.. Ах, забодай его лягушка...

...С утра осаждают меня жители окрестных деревень, узнавшие о приезде доктора в Шинвальд. Входит с докладом Ханов:

— Там до вас бешеная девочка пришла.

— В чем дело? Какая там бешеная девочка?

— Так что собака бешеная девочку искусала.

— А почему ты знаешь, что бешеная?

— Не станет здоровая собака зубами за нос хватать.

В сенях стоит растерянная баба и держит за руку девочку лет одиннадцати, у которой на месте носа зияет рана.

— Вшсьцѐклый пес? (бешеная собака?), — спрашиваю я у бабы.

— А я вем?

Промываю рану, накладываю повязку и объясняю матери,

как велика опасность, если укусившая девочку собака страдает бешенством. Мать в полном отчаянии. Ханов угрюмо вступает в разговор:

— Помрет девчушка твоя. У нас в 90-м году пятнадцать человек помёрли. Бешеный волк искусал. Человек десять детей на улице изорвал до-смерти. Потом его в городе убили.

К счастью, баба не понимает Ханова. Но Ханов не унимается.

— Не веришь? Откуда, думаешь, взялся? Из брянских лесов — верст пятьдесят или семьдесят будет от нашей деревни — с той стороны прибег. А как же!

— Ну что же, все умерли? — заинтересовывается Болконский.

— Никак нет, — с некоторым сожалением отвечает Ханов, — один и сейчас жив!

— А остальные?

— Остальные, — оживляется Ханов, — остальные все помёрли. В Харькове, в клинике. Им что-то прыскали, прыскали, — пока не помёрли.

Проходит часа два в кипучей работе. Раздаю порошки, советы, мажу иодом, бинтую, выстукиваю. Неожиданно на пороге опять вырастает Ханов:

— Тут какой-то жиденок добивается. Который день отгоняю — никак прогнать не могу.

— Зови его сюда.

Входит мальчик лет десяти, худой, полураздетый, с большими недетскими глазами. Зовет к больному отцу, верстах в шести от Шинвальда.

— Ну, если он говорит в шести, значит верных десять считайте, — вмешивается Болконский.

— Едем со мною? — говорю я ему.

— Едем! — соглашается Болконский и отдает распоряжение Ханову:

— Вели седлать лошадей.

Расспросив о дороге, мы поехали крупной рысью.

Гремели пушки, играло солнце, и ветер вздувал наши мохнатые бурки.

В местечке нам указали квартиру Изэоля Гельдмана. На довольно чистой постели лежал больной, кудлатый, черный еврей с лихорадочно-воспаленным взглядом. Не обращая внимания на нас, он выкрикивал, как в бреду, по-еврейски:

— Мамэ, зинг! (мама, пой!)

У кровати сидела согбенная, морщинистая старушка с черным платком на голове и дрожащим голосом напевала печальную еврейскую песенку. Она повторила ее раз десять, а больной все кричал:

— Мамэ, зинг!

Слова и мелодия этой меланхолической песенки крепко врезались в память:

Унтэр ди бэрглах, вен ир золт зейен,
Шитн зах бэйнер гур ун а шир.
Зей зонен гевезен ойх азой шейен,
Эфшер нох шенер, ви ир...
Айнт махен ди верем фин зей махулем,
Азой ви ди бридер гешвойрен...
Бридэр! дас лебен из нур а хулем:
Дэр менч из цум штарбен гебойрен.

Я тут же набросал перевод для Болконского:

Там под землею, безгласны и немы,
Сыплются кости в могилках сырых.
Некогда были те кости, как все мы,
Даже прекраснее многих живых...
Ныне в них черви живут на постое,
Правят во мраке торжественный пир...
Братья! вся жизнь — сновиденье пустое:
Только для смерти приходим мы в мир.

7.

... Вечерело. Я шел по размякшему шоссе в направлении Тухова.

Мягкие вечерние сумерки обволакивали небо и землю всепроникающей таинственной грустью. Все вдруг затихло. Затихло движение обозов. Затихли выстрелы. И люди шли по дороге какие-то прозрачные и затихшие.

Когда я отошел версты на две от деревни, я увидал, что с горы мне навстречу спускается лазаретный священник. Это высокий, плотный старик, монах киево-печерской лавры, с душой простой и открытой, с лицом деревенского мужика. Большая белая борода на черной рясе придает ему красивую строгость.

Он шел усталой походкой, плотно прижав руки к рясе, и в его опущенной голове читалась смиренная покорность.

— Над чем задумались, батюшка? — сказал я, поровнявшись.

Он приоткрыл глаза, и, медленно отрываясь от размышлений, сказал с печальной улыбкой:

— Над делами мирскими думаю.

И, как будто растроганный красотой грустящего неба, добавил задумчиво и строго:

— Трепетание души человеческой, смертной тайной одетой, постигаю.

Я почувствовал, что в душе опечаленного монаха рождается какое-то тревожное смущение, и, не желая выводить его из раздумья, хотел попрощаться. Но он поспешно остановил меня и тихо заговорил:

— Позвольте беспокойством своим отнять у вас толику времени... Хочу поделиться с вами большою тайной, которую господь и начальство доверили мне. Если никуда не торопитесь, послушайте меня, старика.

«Дней семнадцать назад приказало мне начальство явиться в Клодницу или в Кленовицу — не помню здешних названий — исповедывать солдата, присужденного к смертной казни. Напал он на жителя с целью грабежа. А тот с вооружением был. Оказал сопротивление. Солдатик возьми и пырни его ножиком в живот. Житель и скончался назавтра.

«Приказали мне явиться в два часа. Только шло тогда отступление от Тарнова: по дороге госпиталей и обоза масса. Простоял я часа четыре на месте. Приехал об эту пору.

«Вошел я к солдатику. Человек молодой, действительной службы. Руку вперед протянул: кругом, говорит, виноват. Плачет-разливается. Ну, совершил я духовную требу. Думаю уходить. Нет, — приказали мне в епитрахили с крестом итти впереди солдата...

«Пришли мы в поле... Об эту пору было... Рота солдат стоит. Комендант. Офицеров много. Тишина-а-а...

«Вырыта среди поля могила, а впереди могилы столб стоит...

«Подвели солдата к столбу. Показали ему яму и лицом к солдатам повернули. Еще горше заплакал...

«Вышел комендант. Прочитал приговор. 12 человек грабителей было. Кого в дисциплинарный батальон, кому каторга вышла, кому смертная казнь... Других раньше казнили. Моему последняя очередь...

«Плачет-плачет солдатик. Упав поклонился миру. Крестное целование принял. Просит прощения: виноват... кругом виноват...

«Подошел я к нему, а у самого у меня руки трясутся, глаза закрываю...

«— ...Благословен господь в небесах. Тело твое виновно, а душа праведная есть...

«Привязали солдата к столбу, руки и тело веревкой перетянули...

«Перестал он плакать и сказал громко так:

« — Одна минута — и всей жизни конец...

«Потом на глаза повязку надели. Скомандовал роте офицер. И... как выпалили — все тело в кашу обратилось... Брызнула кровь на пять-шесть саженей кругом... Повалили тело со столбом в яму (столб подрубленный был) и засыпали.

«Пошел я к коменданту чай пить. Жалко так. Отчего бы, — говорю, — если положена человеку смерть, не послать такого в первые ряды боя... И его убили бы, и он бы скольких убил: отечеству польза.

«Нельзя говорит. — Тогда сотни таких нашлись бы: все равно в бою помирать, так чего им бояться?

«Потом говорю коменданту: просил меня солдат перед смертью — забрали у него денег 16 рублей. Хочет, чтобы жене отослали. Жена у него и ребенок дома остались. .

«Обещал: сделано будет.

«И вот, знаете: две недели прошло... И такое впечатление, что никак забыть не могу. Сижу — он предо мной. Лягу — тем более...»

Я молчал, потрясенный.

Мы шли тихим шагом. Наполненные туманом и талым снегом котловины и балки отблескивали умирающим светом. Небо потухло и почернело.

Мы шли тихим шагом и оба чувствовали себя ослабевшими и потухшими.

Справа, из придавленных сумерками домиков, неслась знакомая печальная песня:

... Нам не надобно ни сеять, ни пахать,
Ни цепо́м, ни ко́сынькой махать.
Уж как подати казенные все сполнены:
Солдатьём-то все могилки переполнены...

Прийми, господи, ты душеньки крещеные,
Прийми, мать-сыра, — ты слезыньки соленые...

... Сегодня у нас гостят командир 3-го парка Джапаридзе, адъютант бригады Медлявский и доктор Костров. За чаем я рассказал о встрече с монахом, который напутствовал растрелянного за грабеж солдата. Задумались.

— Но как же быть? — неуверенно произнес Медлявский. — Надо же наказать грабителей.

— А по законам военного времени — расстрел, — добавил Старосельский.

— Я сам чуть-чуть не предал одного солдата суду за кражу шубы у жителя, — задумчиво сказал Джапаридзе. — У меня так уж и было решено. Только избегал с ним встречаться. Вдруг столкнулись лицом к лицу. Хотел уклониться от разговора. А он перехватил мой взгляд и каким-то совсем не солдатским голосом, тихо-тихо сказал:

— Простите...

Не выдержал я характера и простил. Он-то в другой раз не сворует, но другие... других это развратит. Как офицер, я сознаю, что прощать не надо.

— Оттого-то иной раз лучше по морде дать, — заметил Старосельский.

— Ну, вы, конечно, за плетку, — едко бросает Костров.

— Да, без плетки нельзя, — запальчиво подтверждает Старосельский. — Может быть, имея в своем распоряжении человек пять или десять вы еще добьетесь чего-нибудь миндальничаньем. Но мой десятилетний опыт меня научил: чтобы быть командиром, нужен решительный тон, властность, железная дисциплина, а иногда удар по лицу. Два года я хотел действовать на солдата лаской и уговорами — и два года солдаты сидели у меня на шее. В моей батарее был форменный кабак. Теперь я считаюсь одним из лучших офицеров в бригаде. В батарее у меня порядок, знание дела, исполни-

тельность. И я знаю, что я достиг этого только страхом. Наш солдат привык и дома к страху, и только страхом можно понудить его к исполнению долга. Дополняй пощечиной приказание, — таково мое правило, чтобы солдат сознавал, что ты сила, которая распоряжается им всецело.

— Бить в сердцах, — брезгливо вставил Джапаридзе, — позор для офицера. Но ударить — часто необходимо. Ударить открыто, перед всем фронтом. Как необходимо иной раз расстрелять.

— Дело совсем не в этом, — говорит Медлявский. — Меня интересует, почему тысячи убитых на войне уже мало нас трогуют, а расстрел одного солдата произвел огромное впечатление и на меня, и на всех?

— Очень просто, — отозвался Костров, — надо отличать наказание смертью и смерть от простого убийства. На войне мы сражаемся, т. е. выступаем в открытом поединке, и притом сражаемся во имя идеи. Отправляясь на войну, мы идем не убивать, а защищать свободу, родину, порядок и пр. И если мы убиваем, то это убийство освящено требованием всего народа и участием в нем миллионов таких же невольных убийц. Оттого там, где участвуют массы, т. е. в войне народов и классов, убийство врага перестает быть актом личной мести и злобы, а превращается в казнь по требованию массовой совести, во имя блага народного. А здесь, в этой казни солдата, человека, который за час до казни, быть может, десять раз рисковал своею жизнью «во имя родины» и тех самых начальников, которые осудили его на смерть, слишком чувствуется фальшь этого осуждения. Сколько жителей ограблено и убито офицерами в Галиции, а попал ли хоть один из этих офицеров под суд?

— Чепуха! — резко бросил Старосельский. — Конечно, если смотреть на войну глазами шестидесятилетнего монаха, то всякий выстрел — стыд и позор. А по-моему так:

убил мирного жителя, как разбойник, — становись под расстрел. И кончено! Туда ему и дорога.

— Но почему же смерть этого солдата так взволновала меня? — спрашивает Медлявский.

— Очень просто: потому что вы тряпка; адвокат, а не офицер. И вы, и доктор Костров, и другие — вы все хорошие люди, но в офицеры вы не годитесь.

— Значит, по-вашему, чтобы быть офицером, нельзя быть хорошим человеком? — смеется Кириченко. — От — то, забодай его лягушка!

. . . С соседней батареи завернул к нам на часок капитан Герасимов. Молодой, статный, сильный. Он пользуется репутацией поразительно смелого человека. Имя его известно всем солдатам нашей дивизии. От доктора Железняка, у которого он лежал в лазарете, после ноябрьских боев, я слыхал о Герасимове как об интереснейшем собеседнике. Разговор завязался немедленно. Окинув быстрым взглядом столы, Герасимов небрежно указал на пачку газет:

— Неужели читаете? . . Я не могу: противно. У меня такое чувство, будто все лжесвидетели по консисторским делам подрядились в газетные писаки. Что ни бой, то картина из Верещагина. Гремит музыка боевая. Знамена реют в небесах. . . А знамена-то несут позади, чуть не в обозе держат. Музыки никакой. Противника и в лицо не видишь. Ружье бьет на две тыщи шагов. В бой идут рассыпным строем. Вообще никаких парадов и фейерверков. Только зубами от страха клацаешь. В течение пяти дней и пяти ночей мы наблюдали издали наступление брусиловской армии. Канонада шла беспрерывная. На небе ни звездочки. Мы могли наблюдать, как полыхают молнии из пушек и танцуют в небе шрапнели. Это было очень красивое зрелище. Но хотя я был в полной безопасности, я думал, конечно, не об эффектах танцующих огней. Я думал о возможном исходе

этого боя, о тех путях, которыми достигается победа, о последствиях поражения. И уж, конечно, все эти мысли исключали вопрос о пушечных фейерверках. Кто с беззаботным сердцем прислушивается к грохоту сражений и не стыдится кричать об этом в газетах, тот либо плут, либо нуждается в помощи психиатра.

— Как, удивляется Болконский, — вы отрицаете геройство и храбрость? Энтузиазм, экстаз, опьянение боем — это все, по-вашему, газетная ерунда?

— Конечно, бывают минуты страшного возбуждения, когда гневно раздуваются ноздри, и ты готов кричать и метаться. Но это совсем не то великолепное чернокнижие, которое описывают газетные Гинденбурги. Просто дикий порыв. Кидаешься в бой, как кидается бешеная собака, которая охвачена яростью и впивается зубами в первый попавшийся предмет. Но ведь к этому сводится вся военная подготовка. Когда офицер командует: пли! — то солдат уже чувствует перед собою врага, уже готов колоть, разрушать и драться. Война на том и построена, что она идет по бессознательным рельсам. Солдаты смотрят на взводного, взводный на фельдфебеля, фельдфебель на офицера. От одного к другому тянутся воинские нити, которые связывают всю армию с командным составом. Дернули ниточку в Варшаве, и по всему галицийскому фронту загремели тяжелые орудия, засверкали ружейные огни и сотни тысяч солдат пришли в боевую ярость.

— Вы исключаете всякую инициативу в бою?

— Совсем нет. Чем больше личной инициативы, тем лучше для армии.

— Т. е. вы хотите сказать, что все зависит от личного мужества сражающихся?

— Вы опять не так меня понимаете. В том-то и дело, что никакого мужества нет!

— Ну, это, батенька, парадокс, — хохочет Костров.

— Господа, вы знаете какую-то театральную храбрость, которая существует только в воображении газетных писак.

— Позвольте, но признаете же вы чувство храбрости у людей?

— Такого чувства не существует. Прошу меня выслушать. Храбрость не чувство, а результат многих чувств. Т. е. есть храбрые люди, но их отважные поступки подсказываются не какой-то врожденной храбростью или чувством безграничного мужества. Такого чувства не существует. Люди храбры не оттого, что в груди их обитает какая-то природная благодать, которая повелевает громовым голосом: будь отважен и смел! А потому, что гнев, или ненависть, или сознание долга, или профессиональное самолюбие подсказывают им такие решения и такие поступки, которые мы определяем как храбрые, смелые, героические.

— Но ведь это чистый софизм, — вставляет Болконский. — Не все ли равно, чем вызвано геройство? Вы говорите так: геройство вызвано гневом, а я утверждаю: гнев вызван геройством. В конце концов это сводится к схоластическому спору: кто явился раньше на свет — яйцо или курица?

— О, нет, мои милые. Это совершенно не так. Храбрость из ненависти это — одно. Храбрость из чувства долга — другое. Храбрость из преданности народу — третье... Есть разные храбрости. И гнев, и ненависть это плохие советчики. Их храбрость дешевая, лубочная, газетная. Но это, впрочем, неважно. Важно то, что врожденной храбрости нет!

— Что вы этим желаете сказать?

— Что храбрость это не вдохновение, а трезвая математика, сухой расчет. Да, храбрость часто соприкасается с осторожностью. Храбр по-настоящему тот, кто может

себя заставить быть храбрым. А безрассудная, стихийная храбрость не стоит ничего на войне.

— Я все-таки не понимаю, — говорит Медлявский, — почему вы так много значения придаете происхождению храбрости? Храбрость есть храбрость, из какого бы источника она ни происходила.

— Вот в том-то и дело, что вы знаете какую-то одну — фиктивную, театральную — храбрость. Из всех видов храбрости это самая лицемерная. Тогда как в действительности храбрость имеет тысячу ликов. Разрешите мне рассказать вам для пояснения несколько отдельных эпизодов из моего собственного опыта на войне.

«Припоминаю такой, например, случай. Нас стояло восемь офицеров третьей батареи. Вдруг шагах в сорока от нас разорвался снаряд. Пули взвизгнули и рассыпались. И было слышно, как кружится и воет в воздухе шрапнельная трубка и летит прямо на нас. Мы все продолжали разговаривать: и виду не хотелось подать, что мы боимся. Но разговор не клеился. Я все время думал: куда? в живот или в ноги?.. Трубка упала в шести шагах от нас. Все вздохнули.

« — А ты обратил внимание, какие у нас лица-то были? — спросил меня товарищ, когда мы возвращались в халупу».

— Вы хотите сказать, что рисковали из простого самолюбия?

— Какое тут самолюбие? Просто глупость. Вот как сестры милосердия ездят на батареи или в окопы лезут, чтобы показать офицерам, что и они не боятся. Офицер Бендерского полка рассказал мне такой эпизод.

«Отчаянным натиском были взяты австрийские окопы. В шестистах шагах от окопов стояла неприятельская батарея. Охранения никакого. Прислуга в панике билась и пута-

лась с лошадьми. Двух залпов пятидесяти пехотинцев было совершенно достаточно, чтобы захватить все орудия. Офицер кричал, звал — никакого внимания: солдаты шарили в неприятельских ранцах и жрали австрийские консервы. Офицер добавил:

« — Эх, кабы не подлецы-солдаты!»

— Но ведь виноват-то он сам.

— О прапорщике Сибирякове слыхали? Вы знаете, как он обучает необстрелянных новичков? — Бояться пули не надо, — говорит он им. — От пули не убежишь. Думай не о пуле, а о том, что сказал тебе командир. Исполняй свое дело. Ты вот с меня бери пример!

«И он спокойно выходит из окопа и идет ровным шагом до заграждений. И так же обратно. На солдат это производит огромное впечатление. Но когда кто-нибудь из них тут же выскакивает из окопа, чтобы проделать то же самое, он топает ногами: «Дурак! ты не имеешь права рисковать жизнью; она принадлежит не тебе, а полку! . .»

«Такую храбрость я понимаю. Человек обдуманно рискует головой ради известного решения. Ему поручили сделать солдата храбрым — и он делает свое дело, не считаясь ни с опасностью, ни с риском».

— А много у нас таких храбрецов, как Сибиряков? — интересуется прапорщик Болконский.

— Нет, немного. Я знаю еще одного такого — полковника Нечвалодова.

— Ну, этого мы все знаем!

— И у себя на батарее я знал такого телефониста.

— Солдата? — спрашивает Костров.

— Да, солдата, и, как ни странно, — еврея. Худой, лопоухий. В разговоре растерянный какой-то. А в бою удивительный молодец. Два Георгия получил.

— Расскажите о нем, — просит Медлявский.

— Извольте, расскажу.

«Это было ночью. Я сидел на наблюдательном пункте. Ночью... Канонада ужасная. Шел обстрел переправы. Прожектор нащупывал мосты, а наша батарея стреляла. Вдруг — перерыв на телефоне. Нажимаю на Зуммер (телефонная кнопка) — никакого ответа. Нажимаю раз, другой, третий... Знаю, что дежурный телефонист иногда засыпает; но они ложатся ухом на трубку и просыпаются мигом... Ну, ясное дело: перерыв! Надо послать телефонистов осмотреть провода. А канонада страшнейшая. Нехватает духу сказать: ступай на верную смерть!.. И вот совсем неожиданно подходит ко мне солдатик, лопоухий Мошка, как прозвали его наши артиллеристы:

« — Ваше высокородие! Надо проверку сделать.

«Посмотрел я на него: худой, лопоухий; бородка жидкая; глаза черные, спокойные, светятся как жуки.

« — Твоя очередь? — спрашиваю. — Ну, ступай!

«Отсутствовал он минут 20. Как ахнет очередь, я все прислушиваюсь — не ранен ли? не кричит ли?.. Ну, пришел. Вид такой же. Даже не побледнел. Докладывает спокойно:

« — Ваше высокородие, в шести местах провода испорчены. Надо ждать до рассвета: ночью никак исправить нельзя.

«Посмотрел я на него и подумал: — Врет! Никуда он не ходил и ничего не видел.

«А он тем же спокойным голосом продолжает:

« — Дозвольте пойти на соседнюю батарею: оттуда передать можно.

« — Ступай.

«Утром неприятель ушел. Канонада затихла. Осмотрел я провода: действительно шесть разрывов, и как раз в тех местах, о которых докладывал мне Мошка. У меня сердце так и дрогнуло. Ведь, вот какой подвиг. И так спокойно, просто, не по-газетному».

— Как имя солдата? — спрашивает Болконский.
— Шулим Бельзер.
— А где он? У вас же на батарее?
— На батарее его нет.
— Убит?
— Нет... арестован.
— За что?
— Не знаю... как будто за пропаганду.

СОДЕРЖАНИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

От Холма до Ниско.

1914 г.

стр.

Август 8
Сентябрь 53

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

По тыловым дорогам.

1914 г.

Октябрь 157
Ноябрь 189
Декабрь 212

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

В завоеванной Галиции.

1915 г.

Январь 247

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Под Тарновом.

1915 г.

Февраль 303

СОДЕРЖАНИЕ II и III тт.

По следам войны, том II. Разрыв на Дунайце. Сдача Бреста. По полесским болотам.

По следам войны, том III. Между Молодечно и Двинском. Брусиловский прорыв. Революция на фронте.

Государств. Центральная Книжная
БЮРО
МЕЖДУНАРОДНОГО
КНИГООБМЕНА.
ПАЛАТА

LBJ.'30

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00018336276